ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[10] 2010

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

"...В ПРОЗРАЧНОЙ, КАК ЛУЧ, АРГЕНТИНЕ"

Основан в 1955 году

Номер, лежащий сейчас перед читателем, посвящен литературе Аргентины. Но, говоря строками Борхеса, "...этого всего могло не быть // и, в общем, не было". Именно так. Всего лишь шесть десятилетий назад такой страны, как Аргентина, на литературной карте мира, можно сказать, не существовало. Фактически аргентинская интеллектуальная жизнь если и соприкасалась тогда с "большим" миром, то разве что в единственной точке — международном журнале "Sur" ("Юг"), который с начала 1930-х выпускала в Буэнос-Айресе Виктория Окампо и в котором, кроме аргентинцев Борхеса, Сабато, Кортасара, печатались Рабиндранат Тагор и Хосе Ортега-и-Гассет, Вирджиния Вулф и Т. С. Элиот, Андре Жид и Жан-Поль Сартр, Хайдеггер и Генри Миллер. Кроме того, для сближения аргентинской литературы с Европой немало сделала, страшно сказать, Вторая мировая война, накануне и во время которой в страну эмигрировали многие европейские интеллектуалы — аргентинская культура и вообще создана иммигрантами из Европы, такова одна из парадоксальных "традиций" Аргентины, пожалуй, самой европейской республики латиноамериканского континента.

Так или иначе, известность в Европе и США пришла к Борхесу и Сабато лишь со второй половины 50-х годов. Интерес интернациональных читателей к Кортасару — на волне латиноамериканского романного "бума" — это уже вторая половина 60-х, а имя Мануэля Пуига стало расходиться по миру еще десятилетием-полутора десятилетиями позже, уже в 70 и 80-е. И теперь представить себе историю и географию мировой литературы без названных имен решительно невозможно. Буэнос-Айрес становится сегодня одной из столиц мирового искусства и словесности наряду с Лондоном и Нью-Йорком, Парижем и Берлином, Рио-де-Жанейро и Барселоной (кстати сказать, многие из аргентинских интеллектуалов — по обстоятельствам кровавой истории страны в XX веке — прожили жизнь, а некоторые и сейчас живут за пределами своей страны, в других мировых столицах, такова еще одна "традиция" аргентинцев).

На страницах нынешнего номера представлены писатели четырех поколений — от родившихся в позапрошлом веке Борхеса и Антонио Порчиа (Поркьи) до самого молодого из печатающихся здесь Андреса Неумана, появившегося на свет в последней четверти века XX (замечательный чилийский писатель и авторитетный критик Роберто Боланьо незадолго до своей смерти выразил в 2004 году уверенность, что "литература XXI века будет принадлежать Неуману и горстке его братьев по крови"). Среди публикуемых авторов — несколько известных российской публике имен, но большинство их — и совсем молодых, и более зрелых — станут для читателей новинкой. А кто-то, нам хотелось бы надеяться, открытием.

Борис Дубин

[10]
2010

Ежемесячный литературно-художественный журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

“...в прозрачной, как луч, Аргентине”

3 Мануэль Пуиг *Падает тропическая ночь.* Роман. Перевод Александра Казачкова

132 Леопольдо Брисуэла *Счастливые беглецы.* Повесть. Перевод Надежды Беленькой

156 Андрес Ривера *Рассказы из сборника “Mitteleuropa”.* Перевод Татьяны Ильинской

165 Густаво Ньельсен *Марвин.* Рассказ. Перевод Александра Казачкова

176 Андрес Неуман *Из сборника “Свечение”.* Перевод Татьяны Ильинской

181 Хуан Хельман *Звезда и жизнь аргентинского поэта.* Стихи. Перевод и вступление Натальи Ванханен

191 Антонио Порчиа *Голоса.* Перевод и вступление Павла Грушко

Из классики XX века

195 Хулио Кортасар *Рассказы и эссе из книги “Найденные рукописи”.* Перевод Людмилы Синянской. Вступление Бориса Дубина

Статьи, эссе

240 Беатрис Сарло *Потаенный Буэнос-Айрес. Торговый центр.* Два эссе. Переводы Бориса Дубина, Светланы Силаковой

256 Мигель Витаглиано *Десять тысяч шепотов с Борхесом.* Эссе. Перевод Юлии Лариковой

Письма из-за рубежа

264 Наталья Ванханен *Аргентина манит негра*

Библиография

280 *Аргентинская литература на страницах “ИЛ”*

Авторы номера

283

© “Иностранная литература”, 2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция:

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
Е. А. Полякова
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Мануэль Пуиг

Падает тропическая ночь

Роман

Перевод Александра Казачкова

Глава первая

— О чего грустно в этот час, почему так?

— Это вечерняя тоска, Нидия, она приходит, когда темнеет. Лучше найти какое-нибудь дело, занять себя чем-то в такое время. Потом, ближе к ночи, уже по-другому, это ощущение уходит.

— Особенно, если можешь легко заснуть. Тогда не думаешь обо всем, что было ужасного.

— Тут тебе повезло, ты даже не представляешь, как это помогает. Когда сон не идет, в голову лезет самое жуткое. Не будь этих чудных таблеток, я бы столько времени не продержалась.

— Тебе грех жаловаться, Лю́си, ты не пережила такого горя, как я.

— Знаю, Нидия. Но у меня жизнь тоже была не сахар.

© Manuel Puig, 1988
© Александр Казачков. Перевод, 2010

— Когда умерла мама, бывало так же, помнишь? В этот час воспоминания одолевали особенно сильно.

— Помнить-то мы помнили о ней всегда; первое, о чем я думала, проснувшись, — что мамы больше нет. Но в этот час сильнее всего ощущалось ее отсутствие. Правда тогда, среди стольких дел, в голову не лезли, как теперь, одни грустные мысли. Ну да, столько было обязанностей.

— Приготовить поесть.

— А с детьми какая ответственность, Нидия. Вывести их в люди.

— И потом случается такое — тебя лишают самого дорогого.

— У верующих хоть есть утешение. Но я не могу себя обманывать, никак не могу. Великое дело — вера. Правда, завидую тем, у кого она есть.

— Да, Люси. Я им тоже завидую.

— Простым людям намного легче, они утешаются верой. А если не можешь себя обманывать, видишь жизнь, как она есть?

— Когда умер Пепе, было иначе, я словно соображение потеряла. И плакала-рыдала дни напролет. Но в этот раз все совсем по-другому.

— Одно дело муж, другое — дочь, Нидия. Твоя дочь. Что же такое творится, просто ужас.

— Люси, не могу сидеть взаперти, пойдем погуляем.

— Исключено, дождь собирается.

— Люси, ты не рассказала про эту, из соседнего дома. Чего это она больше не заходит?

— Из-за твоего приезда, наверное. Она заходила, в основном, излить душу, но при тебе не решается.

— Женщина она молодая, ей, должно быть, интересней в компании сверстников.

— Ну зачем ты так? Да нет! Она частенько заходила, сразу видно, охотно человек приходит или нет. Сначала она мне не нравилась, потом я привыкла. Она ведь приятная, по-своему, тебе не кажется?

— Знаешь, Люси, мне она показалась странной, но не вредной. Хотя держит дистанцию, с тобой тоже? Может, только со мной.

— Думаю, она не ожидала тебя здесь встретить, шла рассказать о наболевшем, а тут увидела тебя и не смогла.

— И поэтому больше не приходит. Люси, она же с тобой хочет поговорить, слегка излить душу.

— Знаешь, Нидия, просто невероятно, что вообразила себе эта женщина, даже не сомневалась, что он ее тоже любит.

— Но она ведь не девочка, должна понимать что к чему, призналась хоть, сколько ей лет?

— Нет, но судя по возрасту сына и по тому, что она училась до замужества и получила этот свой диплом, ей никак не меньше сорока пяти.

— Почти как Эмильсен.

— Сколько ей исполнилось бы в августе?

— Сорок восемь, Люси.

— Вот подлость!

— Да уж...

— Но у тебя есть сын, и он тебя обожает.

— Бедный Масик. Добрая душа, но дочь — другое дело, Люси. Тебе не понять.

— Ты ненормальная, мужчине пятьдесят, а он все у тебя Масик.

— Само получается. Мы всегда звали его Масиком.

— Пора зажигать свет. До чего уныло в домах с тусклым светом; ты, может, замечала: в домах одиноких стариков всегда мало света. Поэтому я люблю, когда все ярко освещено. Никогда не обращала внимания?

— Эту тоже зажечь?

— Да, чтобы не смахивало на стариковский дом.

— А как она с этим типом познакомилась?

— Я тебе говорила, что она серьезно болела, да?

— Да, Люси, но не сказала чем. Тем же, чем Эмильсен?

— Нет...

— Я думала тем же, почему-то так себе это представляла.

— Нет... Там было другое, Нидия.

— Ты говорила, она страшно перепугалась.

— Да, но вовремя спохватились.

— Значит, опухоль.

— Нет... Как это называется? Что-то вроде вируса. Она все по-португальски объясняла и повторяла термины здешних врачей.

— Без конца мешает португальский с аргентинским, то есть с испанским. Я не сильно ее понимала.

— Она столько лет в Рио. Я тоже, когда говорю с теми, кто здесь давно живет, вставляю много португальских слов, непроизвольно.

— Так что там за болезнь?

— Ну это... вирус. И никак не могли попасть в точку, ну эти врачи, но потом наконец определили, и она сразу пошла на поправку. А в санатории познакомилась с ним.

— У него-то что было?

— Там его жена лежала. Она умерла, бедняжка.

— От чего, Люси, от того же, что Эмильсен?

— Нет, вроде у нее было кровоизлияние, долго болела, но было ясно, что она умрет.

— Странно — кровоизлияние у нестарого человека.

— Об этом она особо не распространялась. У нее одна тема: он.

— А он уже поглядывал на других женщин, в такие минуты?

— Нет, он вроде расчудесный, только и думает, что о доме. И за женой ухаживал, не жалея сил, пока она болела.

— И как же так получилось?

— Она видела его мельком в санатории, мимоходом, в коридорах, когда ее водили из палаты на процедуры.

— И в такие моменты ее тянуло заглядываться на мужчин?

— Не забегай вперед, девушка не из тех, кто заглядывается. С ней случилась очень странная вещь, Нидия.

— Какая?

— Когда она его увидела, ей показалось, что это другой, ну в смысле, что он очень похож на того, другого мужчину, которого она сильно любила много лет назад и с тех пор больше не видела, это ее крайне поразило. И она подумала, что этого, из санатория, тоже никогда больше не увидит.

— Судя по твоим словам, этот из санатория не был похож на ее бывшего мужа.

— Нет.

— Значит, она вертихвостка, Люси.

— Нет, по-моему нет. Она по многу часов работает, и много занимается. И вовсе ей не до того, чтобы за кем-то бегать. Нет, Нидия, что ты. Иначе она бы не кинулась к нему очертя голову, когда он попался ей на пути.

— Ну, я к тому, что их уже трое: бывший муж, этот, с кем она познакомилась в санатории, и тот, на которого он так похож.

— Судя по ее намекам, после развода она сильно увлеклась тем типом из Мексики и теперь этим, здешним, и все.

— Конечно, аргентинец, мексиканец и бразилец, они очень похожи.

— Да, муж был аргентинцем, я тебе говорила?

— Был? Он что, умер?

— Нет, жив.

— Знаешь, Люси, никак не могу привыкнуть говорить: Эмильсен была тем-то и тем-то. Что ее больше нет.

— Но она живет в твоей памяти, в воспоминании всех, кто ее любил.

— Это дела не поправит. Конечно, она всегда будет жива в моей памяти, но что мне с того? Я хочу поговорить с ней, потолковать о том о сем, и не могу! Тоскую, а ее в живых нет как нет.

— Нидия, иначе и быть не может, понятно, что горько, как не горевать, если теряешь дочь? Да еще такую, что всегда была тебе подругой.

— Как бы я хотела привыкнуть к мысли, что ее больше нет. И послушать ее совета, она ведь, как заболела, видя мое беспокойство, когда ей становилось хуже, смотрела мне пристально в глаза и говорила: "Ты себя береги".

— Помню ее еще здоровой. Так жаль, что я не могла быть с вами, когда вы столько всего пережили, от Рио до Буэнос-Айреса так далеко

— Хорошо, ты не видела ее во время болезни. Она никогда не жаловалась, но сильно сдала.

— Какая девочка, какая сила духа!

— Люси, скажу честно, она ведь ни разу не намекнула, что знает, что с ней. Ни разу не пожаловалась при мне, никогда.

— Просто берегла тебя.

— Я не хотела сейчас ехать в Рио, не было сил, но вспомнила, как она говорила, что надо себя беречь, и поехала.

— Знаешь, Нидия, тебе это пойдет на пользу. Пляж, вечерняя прохлада — будешь хорошо спать, в прошлый твой приезд у тебя снизилось давление, и теперь будет так же, вот увидишь.

— Но тогда мне было семьдесят восемь лет, а теперь восемьдесят два.

— Ах, пожалуйста, не произноси эти цифры, звучит как шутка.

— Какие тут шутки...

— Нидия, сядем на диету построже, и давление у тебя снизится. Немного сбросишь вес, и тебе станет лучше.

— Не готовь больше мучного, не могу устоять перед твоей лапшой.

— Соседке так понравилось, а она ведь из семьи испанцев, там больше готовят из риса.

— Почему она переехала в Рио?

— Она уехала из Аргентины во времена Исабелиты и "Тройного А", когда пошла эта кампания против психоаналитиков, мол, все они из левых. Она-то не психоаналитик, у нее диплом психолога.

— Этого я никогда не понимала, раньше таких дипломов не было.

— Когда я училась, не было такой специальности, а то бы я выбрала ее. Надо было пройти всю медицину, а потом специализироваться в психиатрии.

— Да, это я помню, Люси.

— Вот, а потом ввели специальность "психология", изучать медицину стало не обязательно, отсюда и пошли все эти шарлатанки, да простит меня бедняжка Сильвия, ведь она со мной всегда так любезна.

— А о психоаналитиках-женщинах ты ни словом не обмолвилась.

— Понимаешь, в дипломе писали "психолог", психиатр звучало слегка старомодно, а те, кто изучал медицину, окрестили себя психоаналитиками, по словам этой самой Сильвии. Как-то так.

— Вроде поняла. Значит, психиатры — это те, кто сначала изучал медицину, психологи же не изучали ничего. А психоаналитики — не мытьем так катаньем присвоили себе это звание.

— Приблизительно так.

— Видишь, что-то я понимаю? Хотя объясняешь ты не ахти... Только вот память начинает подводить, но, если мне хорошенько объяснить, я пойму.

— Просто у тебя слух отличный. А я, если два-три человека говорят одновременно, уже не понимаю.

— Зря ты сердишься на сына, когда он тебя поправляет, Люси.

— Почему?

— Потому что ты можешь ляпнуть наобум, не дослышав, отвечаешь, как Бог на душу положит, наугад, как придется.

— Знаешь, Нидия, когда дети становятся родителями, по-моему, это очень плохо.

— Бедный мальчик, до сих пор беспокоится, поправляет тебя.

— Знаешь, Нидия, я не собираюсь взвешивать, что сказать тому или другому, говорю, как есть, и баста.

— Ладно, не сердись, расскажи про соседку, почему она уехала из Аргентины?

— Я же тебе сказала, из-за угроз "ААА", помнишь? "Тройной А".

— Как не помнить...

— Ты ж говоришь, у тебя дырявая память. Видишь, тоже не любишь, когда тебя поправляют. В общем, она уехала, потому что однажды ночью позвонили и сказали, чтобы убиралась из страны в двадцать четыре часа, а то убьют.

— У Эмильсен была подруга, ей тоже пришлось уехать. Но та преподавала на факультете.

— Пол-Аргентины вынудили уехать. Короче, она оставила сына у бывшего мужа, они уже жили врозь, а, когда закончился учебный год, послала за ним. И он остался с ней в Мексике — мальчик. Мальчику очень понравилась Мексика, всегда говорил, что хочет там жить.

— Я так и не съездила. Собирались туда с бедной Бланкитой, но жизнь отпустила ей мало времени, бедняжка, добрая душа.

— Нидия, что мы все о мертвых? Вот невеселый возраст.

— Не ной, Люси, прошу тебя, не жалуйся.

— Ты права. В общем, там она познакомилась с этим человеком, жутко в него влюбилась, а потом ей пришлось пере-

ехать из Мехико сюда, так плохо она переносила высоту. И теперь живет здесь уже много лет.

— А тип, который так ее любил, не поехал с ней? Почему?

— Нет, это она его сильно любила, он вроде сначала ее любил, а потом нет.

— Вот она и стала страдать от высоты. Я не психолог, и то понимаю. Когда я видела, что Эмильсен лучше, у меня и давление улучшалось; поистине, все хвори от печали. Но продолжай, что там дальше?

— В общем, несколько месяцев назад она познакомилась в клинике с этим другим мужчиной, поразительно похожим на того, из Мексики. Однако ей и в голову не приходило, что она снова с ним столкнется, ну с этим, который здешний. И в один прекрасный день идет она в аргентинское консульство выправить бумаги и встречает его. Приветствует по-испански, а он смеется, он же не аргентинец. Просто в этой клинике раньше работал очень известный доктор, аргентинский профессор, и он привел туда много клиентов из наших. Из аргентинской колонии. Он был очень пожилой и, как ты догадываешься, уже умер. Ну ладно, в общем, там, в консульстве, она встретила этого и, думая, что он аргентинец, спросила по-испански, как поживает его жена. Они ведь раньше никогда не разговаривали. И жена тоже оказалась бразильянкой.

— А он, что делал в консульстве?

— Что-то оформлял для клиента. Явно судьба. По ее словам, человек этот — красавец каких мало, в ее вкусе. Показала фото, но мне он не понравился, сильно лысый и довольно полный. Она говорит, ей такие нравились всегда, именно с такой внешностью, домашние, без лоска, и совсем не важно, говорит, что у него брюшко.

— И чем он похож на того?

— Не спеши. Понять это ей было непросто. Много времени заняло.

— Но чем похож-то?

— Взглядом. Тот же взгляд. Глаза черные, немного детские, чуть пугливые, смотрит все больше в сторону.

— Взгляд человека, говорящего неправду.

— Нет-нет. Она говорит, взгляд человека, который нуждается в защите, как ребенок, потерявший мать. Я ей сказала: только у детей, особенно у мальчиков, есть что-то такое во взгляде, когда они маленькие, лет до двенадцати-тринадцати, потом это проходит, и тогда уже не тянет их потискать, прижать покрепче, почти сдавить, они уже не такие нежненькие, как раньше.

— Девочки другие, ты права. Или не знаю, может, это только Эмильсен всегда казалась взрослой. Одного я не выносила, даже злилась страшно — когда она не могла спокойно

посидеть в кино. Вечно ей то в туалет, то еще чего, не давала спокойно фильм посмотреть. Но это было единственное. Я с ней никогда хлопот не знала.

— А с моими детьми просто беда была, но в кино они сидели тихо.

— Продолжай. Там она спросила, как поживает его жена.

— Да, Нидия. Он ответил, что жена умерла. И они заговорили об этой болезни, о других людях, которые там лежали, она ведь тоже провела там пару недель, и до этого еще лежала какое-то время — то ложилась, то выписывалась, и была в курсе болезней целого этажа, клиника помещалась в трехэтажном доме, прежде принадлежавшем одной семье, так-то. Он принялся рассказывать, и они увлеклись беседой. По ее словам, в глаза он почти не смотрел, больше по сторонам, и она тоже стала отводить взгляд, так ей это действовало на нервы. И он напоминал ей другого, хотя она этого еще не сознавала, все спрашивала себя, как идиотка, почему всегда, с самого начала, этот человек привлекал ее внимание. В санатории она часто думала, что в этом человеке из коридора есть что-то необычное, очень привлекательное, но непонятное. А в консульстве он смотрел на людей, которые сновали туда-сюда с бумагами, и не глядел на нее, пока они разговаривали, и тогда она тоже перестала смотреть на него и вдруг почувствовала его взгляд. Он собрался с духом и посмотрел на нее, пока она ему что-то говорила, глядя в другую сторону. Она ощутила, как взгляд его скользит по ее лицу, волосам, губам, рукам, декольте. А когда она решилась взглянуть ему в глаза, он их отвел. Она воспользовалась этим, чтобы рассмотреть его получше, и увидела, что на нем неглаженая сорочка. Не из тех, что постираешь, повесишь, и они разглаживаются сами, нет, а такая, что надо гладить, и она была неглаженая. И тут она не удержалась, слова сами сорвались с языка, и она предложила ему пойти выпить кофе внизу, в новом здании консульства, таком шикарном. Ведь она, по ее словам, женщина очень сдержанная, мол, это и плохо, что слишком сдержанная.

— Именно это мне в ней не нравится, теперь понятно. Она долго все обдумывает и не говорит ничего лишнего.

— Да уж, непосредственной ее не назовешь. Я сказала об этом сыну, а он говорит, что современные аргентинские женщины все такие, черствее, что ли. Это оттого, мол, что их матери были слишком словоохотливы, но неискренни, всех старались к себе расположить, такие вроде приветливые.

— То есть мы были фальшивые.

— Не фальшивые, но такие — профессионально приветливые, как говорит мой Кука. А эта из новой волны.

— Нет, "новая волна" говорят про молодых. Эта старше.

— Я хочу сказать — нового сорта. Но в тот день он ее потряс, что-то ей от него передалось, и она стала говорить не задумываясь — вроде предложения посидеть внизу. Он ответил, что у него с собой мало денег, а она сказала, что угощает, приглашает выпить чего-нибудь прохладительного, от кофе у нее перевозбуждение, кофе она пьет, только когда пациенты идут один за другим и глаза слипаются и клонит в сон. В общем, тип согласился.

— Люси, ты будто вчера родилась.

— А что? Думаешь, неправда?

— Думаю. Она постоянно с кем-нибудь крутит. Тебе рассказывает только эту историю, а у самой роман за романом.

— Почему ты всегда плохо думаешь о людях?

— Убеждена, что это так.

— Нет, Нидия, в таких вещах она откровенна. Постоянно твердит, что очень старомодна, это ее недостаток, и с мужчиной у нее ничего не будет, если она не увлечена им по-настоящему.

— Продолжай.

— Но если ты не веришь ее рассказам, зачем тебе знать дальше?

— А она уже совсем выздоровела?

— Говорит, что да.

— Выглядит она неплохо, значит, хоть это правда.

— Она рассказывала, что считала себя безнадежно больной, ей было так плохо, что казалось: это неизлечимо. И когда врач ее выписал, она словно впала в исступление, в эйфорию, ощутила жажду жизни, как никогда раньше. И, вернувшись к себе в квартиру, стала думать об этом человеке из санатория, и чем он так ее поразил. Единственное, говорит, о чем просила в те минуты, это о великом даре рисовальщика. Тогда она смогла бы набросать по памяти его портрет, изучить и понять, чем он так ее потряс.

— Скажи, как он выглядел на снимке?

— Не киногерой. Лысый, очень крепкий, широкие плечи. Полноват, хотя нет, не рыхлый толстяк, а такой, крепкий. Небольшой животик. Но из ее рассказов у меня сложилось о нем другое впечатление. Я представляла себе его высоким, здоровым, но совсем не толстым. По ее словам, все дело во взгляде и в голосе.

— Люси, ты была права, дождь начинается.

— У него взгляд человека очень чувствительного, его легко впечатлить, или поразить, да, именно это слово, и даже ранить. А голос, по ее словам, такой низкий, благозвучный, как когда разговаривают в церкви. И еще он будто слегка дрожит.

— Значит, в санатории она уже с ним говорила. Болела, а уловки свои не забывала.

— Нет. Она без конца твердит, что он понравился ей сразу, еще издали, непонятно почему, он ведь не из тех, на кого оглядываются. А после санатория она все думала о нем, правда, как о чем-то утраченном навсегда. Нет, не так. Думала, чем этот тип ей так понравился и почему не идет из головы. Еще не сообразила, что он похож на другого. Но, встретив его случайно в консульстве, уже почти догадалась. Словно ей дали карандаш, и она рисовала его, того, из Мексики, которого очень любила, рисовала, как самый искусный рисовальщик, и он оказался похож как две капли воды на этого, с тем же взглядом нежного создания, но без изъянов себя тогдашнего — белобрысого, тщедушного, заурядного. Этого так просто с ног не собьешь, как бы сильно ни дул жуткий ветер, ветер невзгод и печали.

Глава вторая

— Это она звонила, да?

— Да, шлет тебе привет. Спрашивала, как ты.

— Знала бы она, как я ее критикую, бедную... Чего только с языка не сорвется.

— Столько времени не звонила, так еще ни разу не было. Вроде собирается зайти, что-то расскажет или опять затянет старую песню. Ведь от него никаких вестей.

— Наверняка звонила проверить, может, я куда-то вышла и ты сейчас одна.

— Возможно. Видно, совсем зациклилась на этом.

— Но, Люси, сейчас ведь у нее прием пациентов?

— Да, но одна из записавшихся позвонила, сказала, что не сможет прийти. У нее выдалось сорок пять минут, и она решила ненадолго прилечь. Вот из этого окна видно ее окно. Гляди, там, наверху, на четвертом этаже окно спальни. Консультация выходит на другую сторону. Я всегда вижу ее жалюзи, подняты они или опущены, встала она в воскресенье рано или спит до двенадцати. Теперь жалюзи всегда подняты спозаранку, ей и с утра не спится, и по вечерам она колобродит допоздна, когда не работает. Из-за нервов.

— Но со здоровьем все нормально, она ничего не говорила?

— Нет, здоровье в порядке. Просто она головой много работает. Человек она, по-моему, неплохой, оттого у нее столько пациентов, людям она умеет помогать, всерьез вникает. Думала, и этому человеку сумеет помочь. Ведь там внизу, в новом баре консульства, она пережила особенные минуты. В Рио не принято сидеть в барах, здесь скорее пропустят стаканчик на ходу, у стойки, и в новом баре этого шикарного здания почти никогда никого не бывает. Дивная тишина, свежий ветерок, никто не снует взад-вперед, как в адской суете

консульства. И он уже не мог отводить взгляд, да и она тоже, они ведь сидели за чудным столиком.

— Снаружи или внутри, как в кафе Буэнос-Айреса?

— В Буэнос-Айресе есть кафе и со столиками на тротуаре. Мне здесь этого не хватает — чтобы бар на каждом шагу и можно было посидеть.

— Люси, наконец ты хоть что-то признаешь за Буэнос-Айресом. Тебя послушать, так на свете ничего, кроме Рио-де-Жанейро, не существует.

— Не преувеличивай, Нидия. Просто Буэнос-Айрес навевает тяжелые воспоминания. Подумай, у меня там был роскошный дом, и я его потеряла. Ты такого не пережила — потерять дом и вообще все до последнего сентаво.

— Многие всё потеряли в те годы.

— Но иностранцы от Буэнос-Айреса в восторге. Им особенно по душе, что столько кафе, где можно посидеть. Сиди хоть часами за чашечкой кофе, и официант слова не скажет, мол, пора освободить столик или заказать что-то еще. Такой обычай только там — часами сидеть, разговаривать.

— Помнишь, сколько в Италии стоило посидеть в кафе? Роскошь несусветная.

— Эту нашу привычку мы унаследовали от Испании. Они всю жизнь проводят за разговорами, непонятно, откуда в стране такой прогресс, если они только и делают, что болтают.

— Своди меня как-нибудь в кафе, я в Рио ни одного не знаю.

— Свожу, но это не то. У них там больше пиво пьют, и кругом все молодежь, либо одинокие мужчины. А женщины туда не ходят, и гвалт стоит жуткий. Рио не для пожилых, сама видела — на пляже мы с тобой единственные.

— А куда деваются старики?

— Откуда я знаю... По домам сидят, Нидия, взаперти. Видно, думают, что я ненормальная — целый день на улице.

— Ах, Люси, будь ты целый день на улице, глядишь, и меня сводила бы подышать воздухом. А тут, внутри, я больше терзаюсь. Мне так кажется.

— Нидия, в хорошую погоду я каждое утро вожу тебя на пляж, но выходить два раза в день мне утомительно. А ты неугомонная.

— Эта девушка, по-моему, неважно выглядит, не то что прежде. Сегодня утром, на улице, она мне не понравилась. Надо надеяться, что болезнь не вернется.

— Наверное, просто плохо спит. Зря она так обольщалась.

— Но откуда эти невероятные иллюзии? Он-то, что ей обещал?

— Нидия, они поначалу так поладили, что казалось, все складывается удачно. Тогда, в баре, он рассказал ей о работе, о детях.

— Люси, как ты думаешь, мой зять скоро женится?

— Знаешь, Нидия, чем больше человека любишь, тем больше страдаешь и хочешь найти ему замену. Он обожал Эмильсен, и я искренне желаю, чтобы он поскорее нашел хорошую женщину, способную ему помочь. Ему нет еще и пятидесяти. Помнишь, как в эти годы ощущается одиночество.

— Я в эти годы уже привыкла быть вдовой.

— Но у мужчин иначе, они не могут без женщин.

— Люси, этот человек был счастлив с женой? Что он рассказал этой?

— Что был в отчаянии. В первые дни почувствовал огромное облегчение оттого, что бедняжка жена больше не страдает, но теперь сходит с ума.

— А кто смотрит за детьми?

— Она так давно болела, что по части детей у него все было налажено. Подыскал пожилую сеньору, и она все делала по дому. Потом, дети уже не маленькие, дочке лет семнадцать или около того, она младшая. И вообще, они живут у его матери. Но эта моя соседка сразу сообразила, что он очень хороший человек, она в санатории видела, как он приносит работу с собой и корпит над ней, пока сидит с женой. Ее, конечно, заинтриговало, что за бумаги? И в баре он сообщил, что работает счетоводом, или бухгалтером, она это сказала по-португальски, специализируется по налогам. И он таскал в санаторий все свои бумаги, хотя уставал после целого дня бесконечных хлопот.

— Ты откуда знаешь?

— Эта моя соседка, бедная Сильвия, потом обо всем узнала. У него туговато с деньгами, приходится работать, сколько сил хватает. Представляешь, еще мать, и двое детей учатся. Он смог положить жену в эту клинику, потому что жена состояла в кассе взаимопомощи, ей полагалось как преподавательнице средней школы. В общем, сидят они тогда в баре, и он спрашивает Сильвию, не за тем ли она его туда позвала, чтобы заказать какую-нибудь работу. Она даже растерялась, ни с того ни с сего вдруг спросил такое. Он-то думал, что она еще в санатории знала, что он бухгалтер. А она только тут спросила, что у него за работа, он и рассказал. Она говорит, мол, нет, просто хотела побеседовать, узнать про его жизнь. Тут он вроде не выдержал ее взгляда и отвел глаза. И стал объяснять, что жизнь у него самая что ни на есть обыкновенная и, что бы он ей ни рассказал, все будет скучно. Она еще больше растерялась и принялась рассказывать, что начинает жить заново, думала, никогда не поправится, а теперь решила стать гораздо общительнее, чем раньше, и хотела с ним поговорить, думала, ему тоже хочется с ней чем-то поделиться. Такое говорят, когда скрывают правду.

— Какую правду, Люси?

— Ну, помнишь, когда ты молода, пышешь здоровьем, хочется подойти к человеку, который тебе нравится. Тип ей понравился, и баста, пойди угадай причину, но ее подмывало побольше разузнать о нем, кто он, что любит. Она сказала, что, выздоровев, пообещала себе стать более открытой, не замыкаться по-глупому, жить иначе. Но, понятно, скрыла, что заговорить решила не с кем попало, не с противной тощей секретаршей из консульства, а подкатила к нему. Что-то в нем ее привлекло. Из стольких мужчин, прошедших мимо с момента ее выздоровления, она выбрала его. По ее словам, он на все отвечал, вел себя вежливо, но как-то заторможенно. Так бывает заторможен еще не совсем проснувшийся человек, полусонный, рано утром. Он разговаривал с ней, но что-то в нем еще не пробудилось, она это чувствовала. И она снова стала расспрашивать о его жизни. И жизнь его оказалась очень печальной, социальная страховка жены не покрывала всех расходов по болезни. Он убедил жену, что страховки хватает на оплату клиники с отдельной палатой для нее и очень хорошим уходом, но это было не так. Он влез в долги и теперь должен платить. А суток не хватает, чтобы переделать все дела, чем больше клиентов, тем лучше, но в сутках всего двадцать четыре часа. А в консульстве он хлопотал по делу, что-то мудреное, по налоговым соглашениям между двумя странами, для клиента-толстосума, не желающего платить в казну. Вот и вся его жизнь, работа с утра до вечера, возвращение домой, там, слава богу, все в порядке, у матери еще есть силы понемногу за всем присматривать.

— Но матери кто-то помогает, есть прислуга в доме или нет?

— Нет, та пожилая сеньора приходит ежедневно, но только до вечера, оставляет детям готовый ужин. Мать вечером моет посуду. Он застает все в полном порядке. Сильвия вообразила, как грустно ему бывает приходить домой, и заговорила об этом. И тут его понесло. Мать целый день смотрит телевизор, и в десять вечера у нее уже слипаются глаза. Он просит ее вставать попозже, тогда вечером ее не тянуло бы в сон и они могли бы поговорить. Но сама знаешь, как в таком возрасте не спится по утрам, в ранний час. А если мать выпьет кофе, то ночью страдает от бессонницы, глаз не смыкает, что ж ей, бедняжке, делать?

— Та еще ей не свекровь, а эта уже плохо о ней говорит, думаешь, правду рассказывает? Не очень-то я ей верю.

— А какая ей выгода рассказывать неправду? Он принимает душ, и усталость уходит, особенно эта тяжесть в голове, и тут ему хочется, чтобы мать рассказала о детях — как они провели день. А мамашу не оторвать от восьмичасового сериала,

а как закончится эта гадость, сын просит, чтобы она смотрела еще и последние известия и затем рассказывала ему новости. А мать слушает новости уже усталая и ничего не запоминает, карга расслабленная, нельзя так себя запускать! Запустишь себя — пиши пропало. Нидия, ты ни за что не бросай читать газету и слушать новости.

— Да, это правда, я в Аргентине всегда смотрю их по телевизору, привыкла еще с того времени, когда Пепе был жив и слушал новости по радио.

— Человек надевает пижаму, за весь день не было времени ни о чем подумать в беготне по центру Рио, от офиса к офису, а к концу дня ему даже словом не с кем перемолвиться. Главное для него — узнать, что делали дети, жена сообщала ему все подробности. И однажды он с мамашей поговорил серьезно, мол, не порть она глаза у телевизора, к его возвращению была бы бодрее, и вообще продаст он телевизор. И мать расплакалась. Он чуть не умер от раскаяния. И заметил, что бедная мать очень сдала и уже не тянет, значит, он сам должен быть сильным и держаться. И пока он ест, мать ему что-то рассказывает, но уже до смерти усталая, а он, по словам этой Сильвии...

— Почему ты все время говоришь "эта Сильвия"?

— Есть другая, из Копакабаны, журналистка, ты ее еще не знаешь, тоже аргентинка. И тут, к счастью, он чувствует, что страшно устал, не перед ужином, а потом, на полный желудок, его одолевает жуткая усталость, и бывают дни, когда он засыпает раньше матери. Но в другие дни нет, особенно по субботам, когда не встает так рано. По субботам, когда жена еще не болела и если сон его не одолевал, они старались посмотреть какой-нибудь фильм по телевизору, только реклама надоедала, но во время заставок жена успевала что-то с ним обсудить. А теперь — ничего. Они спорили, жена утверждала, что, когда смотришь телевизор, лучше не гасить весь свет, так меньше портится зрение, она в одной статье читала. А он нет, предпочитал сидеть в полной темноте, как в кино. Он рассказал этой Сильвии все в мельчайших подробностях, они ведь с женой ладили, но счастливы в полной мере не были.

— Когда он стал критиковать жену? В баре консульства?

— Не сбивай меня. Теперь-то он может гасить весь свет сколько угодно, но раньше, когда начиналась реклама, она сидела рядом, с зажженным светом — в этом она упорствовала. А он всегда просил ее приодеться вечером к его приходу, и вот начинается реклама, а жена ходит, как чумичка, и он говорит, что она смахивает на служанку, а она, может, делала так нарочно, ведь стоило ей немного привести себя в порядок, он сразу замечал и не сводил с нее глаз во время рекламы. Он как-то купил ей платье подороже, на день рождения, и она его приберегала, надевала, только когда хотела произвести впечатление.

Но больше всего ему нравилось одно платье, оно ей очень шло, он заказал его приятелю, ездившему в Нью-Йорк, но для матери, на ее семидесятилетие, и, когда платье привезли, оно ей оказалось мало и досталось жене, ясное дело. И вроде в этом платье она преображалась, так оно ей шло, в цветочках, бело-зеленое. Но его она надевала редко.

— А эта твоя Сильвия видела платье?

— Нет, он ни разу не приводил ее домой. И она говорит, что будет очень осторожна, никогда не наденет при нем белого и зеленого. На платье с изнанки было четко написано "только сухая чистка", а жена из экономии попробовала постирать его дома, самым нежным мылом, и испортила. И он никогда не мог ей этого простить, только всплывала эта тема, они всегда ссорились, она испортила ему еще и брюки, хотела сэкономить на химчистке, брюки итальянские, льняные, ну, видно, не совсем льняные, потому и просили особой осторожности при чистке, наверно, лен с синтетикой.

— Но теперь жены больше нет, ни в бело-зеленых цветочках, ни в каких. По-моему, раз он рассказал все это про жену ей, значит, как женщина она ему неинтересна.

— По-моему, тоже странно. Ему скорее нужна дружба, конфидентка, а не любовь. Но этого я не решилась ей сказать.

— Зря, лучше ей оставить иллюзии сразу.

— Нет, Нидия, ты и сама бы не решилась сказать. Из жалости. И потом, когда она рассказывает, кажется, что она права, что он ее любит. Рассказывает все в мельчайших деталях, пока не убедит тебя.

— Ты никогда не ловила ее на лжи? Она себе не противоречит?

— Нет, она мне тысячу раз все рассказывала от начала до конца. Только это ей и помогает.

— Боится, наверное, что никогда больше его не увидит.

— А для него лучше сидеть дома в гостиной с погашенным светом, правда? И когда по телевизору реклама, лучше смотреть эту рекламу, чтобы не видеть рядом с собой пустующее место. В этот час он обычно только после ванны, благоухает душистыми сортами мыла, здешними, бразильскими. Этого мне Сильвия не рассказывала, откуда ей знать, но я представляю, пижама у него не глажена, как сорочка тогда, и вот в темноте этот мужчина, одинокий, лысый, с животиком, но весь благоухающий мылом, наверно, на что-то еще в жизни надеется, в субботу вечером.

— Да, тут еще и это — такой заряд электричества в теле...

— ...молодого еще человека, Нидия.

— А детей дома нет?

— Их и в будни-то не бывает, а в субботу — тем более. Но с ними никаких забот. Вроде, прежде чем жена слегла, в доме

был полный кавардак, девочка страшная лентяйка, строптивая бразильяночка, как все нынешние девицы. Мальчик спокойнее, всё больше по спорту. Хотя он терзается, в смысле отец, что не может купить ему обещанную доску для серфинга. И знаешь? Эта моя соседка чуть не купила ему доску, но тут он пропал. Ненавижу этих, с их серфингом. Потом, живут они далеко от пляжа, не то что мы, у нас-то он под боком, — и зачем мальчику доска?

— И я их ненавижу, обрушиваются как гром среди ясного неба. Наглые, как танки. Я сижу себе в воде, в нескольких метрах от берега, а они прут, глаза нахальные, мол, посторонись, не успеешь оглянуться, а они у тебя уже на голове!

— Но, с другой стороны, они сжигают много энергии, пусть уж лучше этим балуются, чем наркотиками. В общем, детей он видит нечасто.

— А до болезни жены что было? Ты что-то начала говорить.

— Да, в доме был полный бедлам, девочка молоденькая, а уже живет как взрослая, понимаешь, о чем я. И мальчик не очень прилежный в учебе, но, когда мать заболела, семья сплотилась. Так продолжалось и после ее смерти. Бабушка уже привыкла, что внучка встречается с парнем, но хоть учебу не запускает, и на том спасибо. И вроде невестится всерьез, с товарищем по учебе. Просто человек приходит вечером домой в полном изнеможении. А мать смотрит телевизор и разогревает еду, приготовленную служанкой.

— И эта твоя Сильвия спросила про его жизнь? Как она отважилась? Или он сам рассказал?

— А что плохого в вопросе?

— Женщине нельзя так спрашивать. Тем более, она психолог. Меня в зяте именно это беспокоит, и ты, Люси, сама знаешь мужчин, какие у них проблемы. Мужчины, они не такие, как мы, особенно в этом возрасте, еще не старые.

— Но, Нидия, чем взвешивать каждое слово, лучше совсем онеметь.

— Боюсь, Игнасио женится повторно на первой встречной, мужчине ведь нужна женщина. Мужчины, они такие, Люси, это их природа, я-то знаю, стоило мне заболеть, у Пепе начинались проблемы, не мог заснуть, если проходило несколько дней без этого.

— Но твой зять правда обожал Эмильсен, большое горе, наверное, все убивает, всякое желание погулять, повеселиться, и вообще.

— Ошибаешься, Люси. Не ты ли сейчас говорила, что мужчина не может заснуть вечером в субботу? Это у них, как у нас чувство голода. В тот день, когда умерла бедняжка Эмильсен... я совсем выбилась из сил, едва стояла на ногах. Игнасио

заставил меня перекусить, и, признаюсь, мне стало лучше, когда я немного поела. В тот день я проголодалась, вышла после бдения у гроба, хотела чуть согреться дома, а то в помещении, где проходило бдение, почти не топили, еле-еле, эти ворюги из похоронной конторы. Для меня правда жизнь кончилась, когда ушла моя Эмильсен, и при этом, не поверишь, я проголодалась и замерзла. И согревшись, почувствовала новые силы, чтобы бороться дальше. Ведь на пустой желудок, почти без теплой одежды, стало так тревожно, хотелось кричать, броситься в окно, но там были дети Эмильсен, бедняжки, к чему закатывать спектакль, но кофе с молоком, с хлебом с маслом, и жакетик, мы его вместе покупали в Риме, придали мне новые силы.

— Ты права, Нидия. По сути, Сильвия, наверное, хотела узнать именно это: как он решил проблему. И здесь ни при чем любовь, которую он сохранил к жене. Или при чем. Знаешь, я вот что думаю. Если он сильно любил жену, может, он оказался полностью парализован, и никаких сил к ночи у него не остается, когда он ложится спать один в кровать. Но, может, он не любил ее так сильно, и тогда горе его пройдет быстро. А может случиться и такое: он любил ее безоглядно, ни о ком, кроме нее, не думал, отчаяние его беспредельно, он не в силах носить великое горе в своем сердце, горе рвется наружу, разрастается все больше, так вот, и здесь он может совершить любое безумство, броситься вниз с десятого этажа или пойти с первой бесстыдницей, попавшейся на пути.

— Значит, ты думаешь, как и я. Страшно за Игнасио, что он выкинет такое.

— Ну вот. В тот первый день они много говорили, о детях, но пока ни о жене, ни о том платье, ничего такого. И тут он посмотрел на нее пристально, улыбнулся и сказал, что в юности был совсем другим. Что в иные времена жил другой жизнью, ему довелось жить в Рио другой эпохи, эпохи большего изобилия. И тогда он был слегка шалопай, и даже чуточку бунтарь. Но все это давняя история, и ему стыдно, что остается рассказывать только о прошлом. Потому что настоящее для него — это... Не помню слова, сказанного Сильвией.

— Наверное, голгофа, это слово как раз для меня.

— Нет, он сказал другое... пустошь! Хотя, по-моему, Нидия, когда я говорю "пустошь", на ум приходят сестры Бронте, по-моему, пустошь — это такое место, серое, но интересное, загадочное, в белой дымке и время от времени еще, помнишь? — порывы ветра и дождя с солнечными бликами, неизвестно откуда взявшимися. А на небе очень низкие, страшные, почти черные тучи. Помнишь экскурсию в музей сестер Бронте? Вряд ли он говорил "пустошь". Наверное, сказал "пустующие земли".

– Не помню этого музея, Люси. Кажется, больше всего у меня страдает как раз это, память. Что это была за экскурсия?

– Подожди, дай закончу, а потом расскажу о той прогулке, к пустошам "Грозового перевала".

– Ах да, про "Грозовой перевал" помню, там еще что-то странное виднелось вдали, на выходе из музея.

– Ну да! как мираж, там, где начинается пустошь, вроде бы затерялся дом.

– Неправда, там ничего нет. Там никому не нужная земля.

– Вот видишь, вспоминаешь? Я всегда просматриваю брошюры по каждой экскурсии, надо тренировать память. Но она ему сказала, что знает: в его душе происходят далеко не обыденные вещи. Ей хотелось понять, каким он видит будущее, способен ли еще мечтать о чем-то.

– Она говорила вокруг да около, Люси, но выведать хотела только одно: ощущает ли он эту животную потребность дорваться до женщины.

– Вряд ли, Нидия. Это одна из сторон реальности, не отрицаю. Но Сильвия хотела узнать прежде всего другое, есть ли у него в жизни мечта? В тайной надежде, конечно, что это станет их общей мечтой. И тут она набралась смелости или ей помог большой опыт работы с пациентами, в общем, со всей решительностью она спросила, почему он отводит глаза, чего стыдится? А он ответил, что вряд ли ей будет интересно происходящее с ним, его бесцветная жизнь. И если она изучает такие случаи, как его, мужчины за сорок, вдовца со взрослыми детьми, то пусть спрашивает, что хочет. Но, ты сама знаешь, она не собиралась ничего исследовать как специалист. И четко ему это объяснила. Тут он, похоже, впервые очнулся от оцепенения. Неужели кто-то может обратить на него внимание?

– Извини, перебью. А что мы делали, выйдя из музея этих девушек-писательниц?

– Их звали Эмили и Шарлотта Бронте, это ты помнишь?

– Нет, ты забыла, что на имена я всегда была бездарной. Ты смеялась, когда вместо... что это была за актриса, я переиначила ее имя, а ты вечно смеялась?

– Барбара Стэнвик, а ты ее звала Барбара Стависки. Из-за знаменитого аферист по фамилии Стависки.

– Ну и память у тебя на имена! Нет, это не так важно, что я забываю имена. Теперь я еще забываю о том, что было. Так не хочется ничего забывать, особенно хорошее. Чудные минуты, с рождения Эмильсен до того дня, как появились первые симптомы. Как там было, мы все же пошли по тому полю, усеянному колючками, на выходе из музея?

– Нет, виднелся мираж, но было далеко идти вглубь пустоши до места, где вроде маячил дом, лежащий в руинах. Ду-

маю, дом существует. Про мираж говорят специально, чтобы люди не забредали туда и не терялись в этой бескрайней пустоши.

— Я тоже подумала: там действительно что-то есть. Но если эта земля ничего не стоит, не продается, там ничего не растет, зачем строить дом среди терновника, в глубине бесплодного участка? Лучше построить дом у границы хороших угодий.

— Говорят, Эмили Бронте проводила долгие часы, рассеянно глядя на пустошь, думая, зачем человек поставил дом так далеко, среди шипов и колючек, воображая, каким он мог быть. И ей казалось, что этот человек, видимо, много страдал, люди не приносили ему ничего, кроме разочарования, и поэтому он хотел обособиться. И она, видно, хотела сблизиться с ним, но к тому времени от дома остались одни развалины. Сблизиться и прийти на помощь.

— И эта твоя Сильвия хотела прийти на помощь человеку, но сама погорела. Нет, она не собиралась помогать, Люси, она хотела осложнить ему жизнь. Сама хотела позабавиться, и ее не волновало, что она вторгается в чужую жизнь, бередит раны, которые так трудно заживают. Она просто безответственная нахалка, пусть теперь пеняет на себя, раз дело не выгорело.

Глава третья

— Люси, у меня плохой день.

— Это погода. Если бы не дождь, могли бы прогуляться.

— Трудно будет найти такси?

— Да, труднее некуда. И улицы могло затопить, выходить в такой день, как сегодня, безумие.

— Но в четырех стенах меня одолевают воспоминания.

— Завари мате, Нидия. Себе положи поменьше сахару.

— Лучше выпью совсем горький. Только не говори, как всегда, а то вечно твердишь одно и то же, когда речь заходит об этом.

— А что я говорю?

— Горечи и в жизни хватает. Но ты, Люси, можешь быть довольна.

— Не могу, Нидия.

— Два твоих сына здоровы. Один живет в квартале отсюда, другой далеко, но ты знаешь, что он жив-здоров.

— Так хочу его видеть.

— Он этим летом не приедет?

— У него с деньгами плоховато, знаешь, как обстоят дела в Аргентине, дряннее некуда.

— Бедная Аргентина. А ты не решаешься поехать?

— Бедненький, он работает с утра до ночи, жена и того больше, что я буду делать у них дома одна целыми днями?

— А кошки у них постоянно живут?

— Работай они поменьше, я бы все равно не ступила на порог их дома, сама знаешь, до смерти боюсь кошек.

— Сколько их?

— Не знаю, штук десять. С ума посходили. Будто нарочно подстроили, чтобы я не приезжала.

— Он очень по тебе скучает, такой нежный мальчик. Я когда падаю духом, звоню ему и говорю с ним по телефону. Очень по тебе скучает, по еде, по ласке.

— У него жуткий артрит, всего сорок лет, а уже артрит.

— Люси, перестань! Бог тебя накажет, хоть его и нет. Ты сильно преувеличиваешь! Если Луисито целыми днями работает и дважды в неделю играет в теннис, вряд ли ему так плохо. Не надо сгущать краски, и всегда в худшую сторону.

— Не наливай полный чайник, вода сто лет не нагреется.

— Ты права, это я по рассеянности, задумалась о другом.

— О чем?

— Как говорила, что Бог тебя накажет.

— Бог карает без палки и кнута, помнишь поговорку?

— Соседка не звонила?

— Нет. Значит, нет новостей. Думаю, ей теперь стыдно говорить о нем. Последний раз она снова рассказала про тот уик-энд, когда они были так счастливы.

— С массой подробностей?

— И весьма пикантных, ты испугаешься.

— Нет. Пусть люди делают, что хотят, пусть живут своей жизнью, пока могут. Мне теперь важны другие вещи, не как раньше. Жизнь учит ценить то, что действительно важно.

— Она все рассказала до мельчайших подробностей. И потом, я знаю место, куда они ездили.

— Мне это не так важно. Любопытно узнать, в какой момент у него возникла эта идея — начать с кем-то встречаться. Я еще понимаю, когда у мужчины случается эта горячка, он идет в публичный дом и имеет дело с женщиной, которую не знает и никогда больше не увидит. Ведь несчастная не займет места жены. Но с этой Сильвией, не знаю, вряд ли он думал о ней, как о девке из публичного дома, для облегчения души, то есть тела. Когда они снова увиделись после кафе?

— Она говорит, что, вставая из-за столика бара, уже знала, что он ей в самом деле нравится.

— Люси, но женщины из публичного дома не...

— Нидия! Какой публичный дом? Их больше нет! Женщины теперь сами по себе обретаются, и все. Их на улицах Рио пруд пруди!

— Не кричи, я не глухая в отличие от тебя! Я просто хочу сказать, что уличной надо платить. Может, он предпочел эту Сильвию, потому что она обойдется ему недорого.

— Нет, какое там дорого. Это же она его пригласила, сама увидишь.

— Но сначала скажи, когда он заговорил о том платье в цветочках? Ведь тогда она и стала критиковать бедную, только что умершую сеньору.

— Нет, это она не для критики сказала. Ты забегаешь вперед, и я запутаюсь. Я хочу рассказать, как она мне рассказывала, Сильвия эта, ничего не упуская.

— Мне лишь одно хочется знать: когда же он дал слабину. Иными словами, когда он сказал себе: а не приударить ли за этой женщиной, попавшейся мне на пути.

— Думаю, он и не заметил, а когда опомнился, уже влип. Она мне тысячу раз рассказывала, когда потом настал кризис, все пыталась проанализировать причину его отчуждения. Странного отчуждения, наступившего позже. Итак, давай по порядку. Все началось в консульстве, внизу в баре. Прощаясь, он уже выглядел странно, словно под впечатлением, я тебе уже говорила.

— Что значит — под впечатлением?

— Она мне хорошо объяснила, но сейчас не знаю, как сказать, при встрече с ней попробую уточнить. Больше всего она любит говорить об этом. И тут ее осенило: скоро, в начале следующей недели, в центре открывается выставка живописи, и там устраивают коктейль, на который ее пригласили. Поскольку он всегда работал в центре, ей подумалось, что в семь вечера он будет неподалеку, и они могут пойти вместе. Дело было в четверг или в пятницу, коктейль намечался на понедельник или вторник. Он согласился, мол да, хочет пойти, тогда можно побеседовать еще.

— И ему не пришлось бы платить за угощение, раз бесплатно.

— Они договорились, что он позвонит и подтвердит в понедельник утром или во вторник. Но, по его словам, он почти наверняка сможет. Они попрощались, крепко пожав друг другу руки, он широко улыбнулся, губы растянул вот так, и она подумала, что он таки доволен. Вправду доволен, что повстречал ее снова.

— Только он улыбнулся, она нет?

— Не знаю, насколько я с ней знакома, думаю, нет. Она, видно, была очень сосредоточена, старалась не упустить ни одной детали: о месте выставки, времени — все убеждала его: это под боком, для него близко, рукой подать, совсем рядышком, в двух шагах от жутких контор в центре, куда он ходит вести бухгалтерию.

— Она мало улыбается. Серьезная лицом.

— И по сути тоже серьезная. На пути из консульства вроде и не заметила, как пошла пешком, и все шла, шла, даже такси не поймала. Так легко ей стало, словно выросли крылья, и ветер нес ее, и оставалось лишь расправить их хорошенько, крылья, и парить в облаках, с попутным ветром. Хотя с попутным ветром связаны недобрые воспоминания.

— Какие?

— Нет, потом расскажу. Дай продолжу об этом. Она не могла понять, почему ей так хорошо и так хочется жить. В чем сила этого человека? Почему он так мощно действует на нее? И не сказал ничего такого уж утонченного или умного, ничего, но ей страшно захотелось снова его увидеть. Почему?

— Но она уже догадалась, что он похож на другого.

— Не совсем, погоди. И в тот же вечер... эффектная сцена! Уже часов десять или больше, у нее звонит телефон, она подходит — а это он! Извиняется, мол, не уверен, что правильно записал номер. И проговорили часа два. Никак не могли расстаться. Он звонил из дома, мать уже пошла спать. И тогда он рассказал про платье в цветочках, все, что я уже говорила. Но он пока не был уверен, что сможет прийти на свидание. Перезвонит такого-то числа, в такой-то час.

— Очень плохо сделал, что обнадежил ее.

— Выходные она провела дивно, переставила кое-какую мебель, занялась другими делами, давно собиралась за них взяться, да не было времени, или сил. Скажем, выбросить горшки со старыми, пожухлыми растениями. Здесь в тропиках есть растение, типа горного папоротника, и такой он становится неприглядный, до конца не высыхает, просто делается неказистый, выбросить жалко — и не засох вроде, но такое уродство, что прямо тошно, и вот найдет на тебя, выкинешь, и сразу на душе легче! За пару монет купишь новое — и будто юность в дом вернулась.

— Тебе пора выбросить одно такое, на окне, оно наполовину завяло.

— Все руки не доходят. Нет! Не выброшу, пока не принесу из питомника новое, такое, чтобы нравилось по-настоящему. В общем, наша Сильвия в эти дни была полна энергии, вся в делах, и страшно заинтригованная, не могла понять, что в нем так на нее действует. И вот наконец наступил день, утром, точно в час, когда они условились... он позвонил. Но, держись крепче, позвонил сказать, что не сможет пойти, потому что в этот вечер закончит работу очень поздно. Она не подала виду, мол, ничего страшного. И тут он снова пустил в ход этот тембр голоса, который так ее поразил.

— Какой тембр?

— Потом к этому вернусь. Но ты не теряй нить: до этого был взгляд, он навевал воспоминания и переворачивал все внутри. Теперь добавился голос. Он сказал, что надо обязательно встретиться в другой день, на этой неделе, и предложил четверг. А она не могла, причем не ломалась, действительно не могла, но сказала, что, если он хочет, может все равно позвонить в четверг, вдруг последняя пациентка отменится. Во всяком случае она сказала, что свободна в субботу, во второй половине дня. Но, не успев сказать, сразу пожалела, "суббота" ведь звучит плохо. Суббота — день свиданий для влюбленных и всегда звучит подозрительно.

— День не для бесед, ты права. Я в субботу люблю дела поважнее, начинаю сложное шитье, скажем, пальто перелицевать, взяться за причудливую вышивку, или пойти с визитом, когда сложно, когда человек болен и его надо подбодрить, хотя знаешь, что он неизлечим. Или выразить соболезнование. Суббота — день, когда у меня больше сил для такого, что действительно требует усилий.

— Единственный день, когда твой муж бывал дома, проводил время с детьми, да еще и гости заходили. Наверно, поэтому.

— Ну и память у тебя. Жаль, не используешь ее на что-нибудь более полезное.

— Зря ты так говоришь, Нидия. Мне хоть за себя перед людьми не стыдно, особенно перед детьми. Видно, благодаря гимнастике, она помогает обращению крови, улучшает ее приток к мозгу.

— По воскресеньям Пепе ходил на футбол, днем было легче. Но в субботу надо и с ним возиться, и с детьми, а если приходил кто из гостей — тоже. Обо всех позаботиться, чтобы все были довольны. И почти всегда все бывали довольны, Люси. Для гостей я всегда припасала импортное печеньице, в жестяных банках, английское. Тогда все из Европы было такое дешевое.

— До войны.

— Этого я не помню. А детям я разрешала играть после школы, уроки они делали в воскресенье утром, пока Пепе спал. Главное, чтобы суббота прошла без ссор. А для детей у меня всегда было что-то особенное, не просто хлеб с маслом к кофе с молоком. Либо булочки, либо бисквит, либо гренки, если оставалось много черствого хлеба.

— Нидия, так хочется хлебного пудинга.

— Люси, вот живешь счастливо и не замечаешь этого.

— Хорошие были годы, и ты их прожила, прожитое — не нажитое, его не отнять. Вспомни поговорку.

— Люси, если кончится дождь, сходим снова в тот обувной, пожалуйста. Сегодня же.

— Продавец сказал: получат коричневые той же модели, но на следующей неделе.

— ...

— Нидия, ну не надо так! Хорошие воспоминания помогают людям жить, не грусти.

— Люси, грусть внутри, она сильнее меня.

— Подумай о тех женщинах, у которых ничего не было в жизни, и замуж они не вышли, и детей не родили.

— Люси, расскажи дальше про соседку.

— Ладно, только не помню, на чем мы остановились.

— Как она нагло предложила ему встретиться в субботу вечером.

— Нет, Нидия, она не сказала "вечером". Сказала в субботу, но днем. И в понедельник или вторник не пошла на вернисаж, чего она там забыла? Вот еще, ехать отсюда до центра в самый час пик, смотреть выставку, до которой ей дела нет. Если бы он пошел, тогда понятно. Но разозлилась она не на шутку, хоть он вроде и хотел встретиться с ней снова. И еще пожалела, что сразу не отменила последнюю пациентку в четверг, для свидания с ним, раз он в четверг может. Она всегда жалуется на замедленную реакцию, вечно ее осеняет, когда момент уже упущен. Но с пациентами ей это не мешает, пациент говорит, она слушает, и, только когда ясно, что сказать, открывает рот. В общем, худо-бедно наступил четверг, она надеялась, что последняя пациентка отменится, но та в течение дня не позвонила. А она, во время приема пациентов, ставит телефон на автоответчик, но в тот день, между пациентами его отключала, чтобы самой брать трубку, и после обеда один из первых пациентов задержался, и тогда она в перерыве спустилась проверить, нет ли у консьержа сегодняшней почты. Глупость, сын-то никогда ей не пишет. Но консьержа внизу не было, она даже выглянула на улицу. И тут услышала, что у нее звонит телефон, с первого этажа слышно. И как оглашенная бросилась наверх, пробежала два этажа, но, когда добралась, звонки уже прекратились. Неужели он? Дело было в четверг, в это время он вполне мог позвонить. Конечно, наверняка это был он, подумала она. И была готова биться головой об стену: надо же, спуститься за письмами именно в этот момент. Окажись консьерж на месте, такого бы не случилось, вот несчастный, видать, спустился в подвал, или еще куда, и этого хватило. К счастью, сразу пришел пациент, это ее отвлекло. Сильвия говорит, если бы пациенты знали, они бы не платили, ей самой пришлось бы им приплачивать, так ей нравится работа, снимает нервную нагрузку, ей без такого заземления плохо. В ту ночь она заснула, ничего страшного, встреча в четверг казалась маловероятной, и тогда стал важен субботний звонок, предположитель-

но утром или, самое позднее, в полдень. На субботу у нее всегда куча дел, раньше она ходила с сыном покупать одежду, когда тот был в Рио, теперь нет, сама ходит за покупками. Но в то утро она всё отменила и осталась ждать звонка. Шли часы: десять, одиннадцать, двенадцать. Ничего. Светило чудное солнце, и, когда живешь в квартале от пляжа, как мы, нельзя не поддаться искушению пойти к морю хоть ненадолго. Но она предпочла остаться дома. Постаралась не нервничать и немного поесть.

— А сын, уже уехал в Мексику?

— Да, это было в прошлом году. Уехал насовсем, учиться и работать, уже больше года назад.

— До того, как она заболела.

— До того.

— Значит, Люси, от этого она и заболела, бедняжка.

— Тут она позвонила мне, пригласила поболтать. Меня это удивило, она вечно норовит выйти из дома, где сидит целыми днями взаперти с пациентами. Всегда приходит сюда поболтать, не зовет к себе. Я спросила, что случилось, а она ничего не хотела объяснять по телефону, сама понимаешь почему, боялась занимать линию. Я пошла и застала ее в сильном возбуждении, но в приподнятом настроении, она сказала, что не может выйти, ждет звонка. От кого не сказала. Было около трех часов дня. Мы выпили кофе, потом, позже она принесла печенье, очень вкусное, но чуть подсохшее, и даже винца. Она никогда не пьет, но тут выпила два бокала почти подряд, я заметила, что она становится какой-то странной. И задавала вопросы, а я отвечала, обо всем понемногу, но сосредоточиться на моих словах она не могла, смотрела по сторонам, вроде что-то искала глазами, не меня, понятно. И если возникала пауза, задавала новый вопрос. Тут мне почудилось, будто я у нее на приеме, типа как пациент, но слушает она вполуха, без особого интереса к моим словам, и взгляд такой рассеянный, смотрит по сторонам, но ни на чем глазами не останавливается. У нее привычка — проводить рукой по волосам, и она вся лохматится. Зная об этом, она иногда встает, подходит к зеркалу и поправляет прическу. Но ни разу в тот день не поправила, так ей было худо, мешки под глазами с каждой минутой становились все заметнее. И тут зазвонил телефон. Она аж подпрыгнула, точно ей нерв булавкой укололи. Кинулась к телефону, но подождала, пока прозвенит еще раз, не знаю зачем, видно, показать, что она не сидит в ожидании звонка. Ошиблись номером, в Рио такое часто бывает, ты, наверно, заметила. В пять я вернулась домой, она ничего не рассказывала, но я догадалась, что с ней что-то неладно.

— Он не позвонил.

— Нет. Вечером в полдесятого звонит она. Я уже смотрела фильм, взяла в видеопрокате, не помню какой. Я, разумеется, была в тот час одна. Ну и она заходит, я, конечно, останавливаю фильм. Она спрашивает, нет ли у меня другого, посмотреть. Я говорю нет. Ей хотелось в тот вечер что-нибудь погрустнее. Так хочется плакать, говорит. Предложила поехать на такси и взять другой фильм, надо было спешить, прокат закрывался в десять. Я не знала, что в выходные он до двенадцати ночи, и она вызвала радиотакси, дорогущее, и мы понеслись во весь дух и привезли... не помню точно, то ли "Леди Гамильтон", то ли "Мост Ватерлоо", в общем, с Вивьен Ли. Очень грустные.

— Оба грустные?

— Оба. Так нам понравился один, что потом взяли в видеопрокате другой. Только не помню, какой из двух был первым.

— Хорошо бы снова посмотреть, я их подзабыла.

— Ты будешь плакать, думаешь, поможет? Хуже не станет? Сильвию впечатлила Вивьен Ли, особенно в "Мосте Ватерлоо", такая она там красивая, молодая, лет двадцати с небольшим, но что-то в душе ее темно, это потрясает, особенно в минуты, когда рок встает на ее пути. Сильвию как психолога поразило, откуда Вивьен Ли, снимаясь в этих фильмах, не нуждаясь ни в чем, знает, что жизнь, если захочет, может лишить тебя всего в одно мгновенье? Есть минуты, когда она словно заглядывает куда-то, неизвестно куда, и там видна пропасть, бездонная, или какая-то бездна, глубокая, у самых ног.

— Это показывают в фильме?

— Нет, тебе передается ее настроение, она видит бездонную пропасть, или черную тучу, та накрывает все вокруг, накрывает дом, детей, мужа, и их больше не видно.

— Но она ведь не выходит замуж, в "Мосте Ватерлоо" она умирает незамужней.

— Знаю, но это так, к слову, не помню точно, как там, но речь об этом, ты стоишь одна перед черной тучей и не знаешь, углубиться ли в эту тучу, пытаться найти свой дом снова и все, что ты утратила, найти детей, они уже выросли и ты им не нужна, и мужа, на нем раньше держался дом, стоявший незыблемо, будто прочно вбитый в землю одним лишь тем, что хозяин вошел внутрь твердой, уверенной поступью. Но того некогда сильного человека уже нет на свете, а сделаешь шаг во тьму и, глядишь, посчастливится, и найдешь многое из утраченного, кто знает. Ведь, может, буря прошла и не унесла дом, как все полагали. Но она в фильме видит тучу как угрозу и сильно пугается, а много лет спустя в реальной жизни она потеряла здоровье, навсегда, и остаток жизни прожила в страданиях, из-за проблем с нервами, и умерла молодой, в пятьдесят с чем-то.

— Я в юности даже не представляла, сколько всего может с нами произойти, а ты?

— Нет, Нидия, вроде нет.

— А потерять мою девочку — этого я не могла вообразить даже в кошмарном сне.

— Я тоже не думала, что произойдет столько всего плохого.

— Просто мы дожили до такого возраста, Люси, что успели многое увидеть.

— Я бы в эту тучу не полезла.

— Не думай о таких вещах, Люси.

— По-моему, если залезть в темноту, ничего не найдешь, и не видно, куда ступаешь, даже своих ног. И рук.

— Люси, у тебя оба сына здоровые, пожалуйста, не выдумывай лишнего. Довольно реальности.

— Я просто вспомнила все, что говорила Сильвия, когда мы смотрели фильмы. Второй фильм исторический, она играет Леди Гамильтон, совсем другую женщину, беззаботную, но судьба против нее, и всякий раз, как что-то происходит, она не сгибается и с трудом может поверить, что это ее постигло несчастье. Но в конце она все же сломлена, и все последние годы это просто живой труп, даже есть не желает, прозябает в крайней нищете, и, когда ей удается украсть бутылку вина, она вспоминает о своем прекрасном прошлом, но чудится ей, что все это было не с нею, она уже не в силах поверить, что ей когда-то выпало столько счастья.

— Минуты, когда жизнь ей улыбалась.

— Но это, думает, было уже не с нею.

— А твоя девушка сильно плакала, когда смотрела фильм в субботу?

— Всплакнула немного. И, говорит, помогло. Хотя, думаю, ей пошло на пользу, что она мне все рассказала. Впервые поведала, что с ней происходит. Потом снова пересказывала, не знаю сколько раз, все пыталась понять, почему он отдалился. Ну, все, что я тебе сейчас рассказала.

— А в воскресенье что было?

— Она решила провести день на пляже, в двух часах отсюда, и не сидеть у телефона — это ее измотало — целый день в ожидании звонка. Но она оставила включенным автоответчик, чего не делает в дни отдыха, чтобы пациенты не оставляли записей с сигналами SOS, а то у них по выходным депрессия, там такие истории.

— А в понедельник?

— В будни она включает автоответчик, и вечером в понедельник прослушала сообщения, было два звонка без записи, человек повесил трубку, ничего не сказав.

— Могли ошибиться номером, здесь это не редкость.

— Но сомнение всегда остается. Не помню, во вторник или среду она попросила о большом одолжении. Чтобы я, когда у меня нет никаких дел, приходила к ней домой и отвеча-

ла на звонки, пока она работает, тогда этому типу придется назвать себя, если он позвонит. Я стала ходить, видя, что ей это действительно нужно. Стояли чудные солнечные деньки, но я все равно ходила каждый день в течение той недели, дня три, что ли, вставала пораньше и в семь шла в клуб заниматься гимнастикой. А в девять уже была там, как штык. Люблю, когда есть занятие, ты знаешь. Но тип не позвонил. И в следующую субботу она не знала, то ли ей сидеть дома и ждать чуда, то ли нет. Осталась дома, не могла удержаться, но попросила составить ей компанию.

— Ты обещала объяснить, что у него за голос, что он так ее поразил.

— В ту субботу она была гораздо спокойнее. Почти довольная. Для нее это оказалось приятным сюрпризом, она-то думала, такого в жизни больше не будет, чтобы так увлечься мужчиной. И теперь ей хотелось знать почему. Ощущала себя пятнадцатилетней.

— Скажи про голос.

— Ее, прежде всего, поразил взгляд, но это меня отвлечет, не хочу терять нить. А насчет голоса она сразу поняла. По ее словам, это был, в общем, она мне столько раз рассказывала, миллион раз объясняла и все разными словами, но я не могла уловить, о чем она. Но тебе скажу в двух словах, главное...

— Ну...

— Как бы это сказать?

— Как-то у него дрожал голос, ты так сказала.

— У него вроде как в груди было...

— Это просто от горя, Люси. Как у всех нас, потерявших близких.

— По ее словам, у него в груди сохранилось что-то странное, и время не затронуло это. Он повзрослел, слегка постарел, но в душе он прежний, как раньше, молоденький парень, которому не дают сказать ни слова. Молчит, стоит в углу, наказан, идет время, а он, бедняжка, всегда там, забытый, но не стареет, в душе остался юношей, он наказан, не решается открыть рта, пожаловаться на что-то. Но предчувствие ей подсказало: он там, прелестный юноша, могучий, как сейчас, только без живота, всеми забытый, и она с ним заговорила. Юноша еле осмелился ответить, поэтому так звучал его голос, запинающийся, хриплый, он все не мог поверить, что кто-то наконец к нему обратился. Понимаешь, о чем я?

— Да, конечно, но почему ты не понимала, если все так просто?

— Она по-всякому рассказывала. Видно, они с пациентами часто занимаются этим, объясняют на разный манер всякие вещи, чувства. Это у них даже как-то называется.

— А ты почему не понимала?

— В конце концов, Нидия, поняла. Называется — что-то там образов, игра образов или в этом духе. Еще она говорила, знаешь: голос был, точно человек упал в глубокую пропасть, но тот, кто снаружи, слышит его и отвечает, неизвестно только, подоспеет ли вовремя помощь, чтобы вытащить его оттуда. Его жена уже навечно погрузилась во мрак бездны, глубиной в тысячи метров, это как вход в заброшенную угольную шахту, или хуже, подземный грот, где местами вода, и она тебя затягивает. А он, по сути, о помощи и не просит, уже не верит в возможность спасения, и говорит об этом слышащему его человеку, пусть не внушает напрасных ожиданий, если не уверен, что команда спасателей вовремя успеет.

— Но она-то мечтает спасти его в одиночку, без команды спасателей.

— По-моему, она хотела его уверить, что спасение есть, в одиночку или с чьей-то помощью, неважно, главное — чтобы он не сорвался оттуда, где зацепился, не соскользнул еще глубже, ведь знатоки подземного грота понимали, что он находится в надежном месте, впотьмах, но вне рокового ледяного потока, который унес его супругу. В общем, как говорит Сильвия, обо всем этом она догадалась в кафе, но, когда он последний раз звонил, предчувствие ей подсказало, что он в опасности, ведь положение дел ухудшилось.

— Бедный, он грустил, но был вне опасности. Она много придумывает, по-моему.

— Она догадалась: бедняга не может поверить, что из стольких людей, нуждавшихся в помощи, она выбрала именно его, чтобы вызволить из этого холодного, темного грота. Понимаешь?

— Не знаю, что и сказать...

— Ни разу я не видела ее такой ошалелой, а ведь шесть лет знаю. И женщина она скорее скрытная. Во время болезни ничего не сказала, про весь этот ужас. Я потом узнала, когда все анализы оказались отрицательными и с ней случился приступ радости.

— Какой приступ радости?

— Я тогда впервые видела ее такой взбудораженной, даже неуправляемой. Она не могла поверить, что спасена, была вне себя от счастья, что может дальше слать сыну деньги на учебу. И впредь зареклась волноваться по пустякам, обещала наслаждаться жизнью. Принесла мне огромный букет цветов, полевых цветов, и пригласила домой, отметить, когда она закончит с пациентами, но в итоге было уже поздно, и я села смотреть фильм.

— Она всегда подбирает тебе фильмы?

— Да.

— Не слишком ли много она себе позволяет?

— Нет, Нидия, у нее мало времени, это я, если захочу, смотрю по два-три в день, у меня времени полно. В тот вечер она выбрала про ужасы, обожает их. Я их на ночь смотреть не люблю, сильно действуют, но день был для нее особый, и я согласилась.

— Она, значит, своевольная.

— Нет, Нидия, это был уникальный момент в ее жизни, неужели ты не понимаешь?

— Скажи честно, Люси, она думала, у нее рак, правда?

— Да, я не хотела говорить, чтобы не напоминать тебе об Эмильсен.

— Об Эмильсен я ни на секунду не забываю. Иногда по ночам снится, что она жива, и мне становится легче, снится всегда одно, будто я зря испугалась насчет болезни, она оказалась не тяжелой. Потом просыпаюсь и первым делом думаю об этом, что она умерла. И всякий раз снова должна привыкать к этой мысли, и с каждым днем все труднее привыкать.

— Так странно получается, одним выпадает спастись, другим нет. Кто это решает? Никто, лотерея. Так и здесь, у этой были худшие симптомы, злокачественная опухоль матки. А все вышло как нельзя лучше. Удалили без труда, а метастазы, что были вначале, под конец вообще исчезли, наверно, их придумали, чтобы сделать вторую операцию, штучки врачей. Чтобы вытянуть денег.

— Ей повезло. А у жены этого типа тоже был такой недуг?

— Да, клиника специализируется на этом. У них есть все для химиотерапии, и для всякого такого.

— А о типе она тебе говорила, еще когда лечилась?

— Конечно, нет. Первый раз — в тот вечер, когда смотрели грустный фильм, с Вивьен Ли.

— Когда все это было?

— В конце зимы, месяца три-четыре назад.

— А когда он позвонил снова?

— Он не звонил, она ждала неделю и приняла решение: разыскать его. Знала только имя человека, которому он оформлял бумаги в консульстве. Потому что в телефонной книге не нашла никого с его именем.

— Даже не верится! Значит, он никогда не давал ей своего телефона!

— Нет.

— Просто почуял неладное, что от нее не отвяжешься!

— Что-то ей наплел, мол, никогда не бывает дома, в этом роде. В общем, тогда она позвонила туда, в контору компании по импорту фруктов. И начались хождения по мукам, он там уже закончил работу, и ни у кого не было его номера. Одна секретарша обещала разузнать, но прошел день-два, она не перезвонила. Тогда Сильвия позвонила снова, и ей страшно повезло.

Первая секретарша была на обеде, и трубку взяла другая, она-то и знала, по какому номеру его искать. Наша Сильвия чуть сознание не потеряла, тут же позвонила, но это оказался просто телефон, по которому можно попросить что-то передать. А поскольку фамилия у него самая обычная, Феррейра, никто не мог его толком вспомнить. И пишется через "и" с точкой, не через "игрек", как в Аргентине, а "й" они вообще не произносят, говорят Феррера, балбесы. Короче, она снова позвонила после выходных, это вроде было в пятницу, и в понедельник сказали, что есть точные сведения, и дали номер, по которому он тогда работал. Она сразу позвонила, это оказалось госучреждение, отдел Министерства финансов, и ее стали футболить с одного добавочного на другой. И тишина. Но по этому другому телефону она хоть попросила передать, что звонила. На том немножко успокоилась. И подождала несколько дней. В следующую пятницу не выдержала и снова позвонила в Министерство. Ее отсылали туда-сюда, пока не нашли кого-то, кто вроде знает бухгалтера Феррейру. Человек взял трубку и оказалось, да, знает. И чуть не убил ее наповал, сказав: "А, вы сеньора из района Леблон, он вам не звонил?" Она так изумилась, что не осмелилась задать еще вопросы, только просила передать, чтобы он срочно перезвонил. И ничего, проходит еще несколько дней. Но ей уже лучше — ведь он о ней помнит и даже поведал кое-что сослуживцу.

— Небось сказал: даже не знаю, как от нее отделаться.

— Ее имя звучало у него на устах, это ее потрясло, "сеньора из Леблона". К тому времени я уже не ходила к ней сидеть на телефоне, она больше не просила, хотя наверняка ее подмывало. Но это было бы чересчур, как ты считаешь?

— Надо думать.

— Да, чуть не забыла фундаментальную деталь! У нее намечалась поездка по работе, больше десяти дней вне Рио. И если он раньше не позвонит, представляешь, какая неувязка, вдруг он позвонит, когда ее нет, и уж тогда забудет ее навеки.

— Продолжай.

— С трудом вытерпела она несколько дней, но все ж решилась и снова позвонила в Министерство, и попросила к телефону того, последнего, не помню, как его звали. Перепробовала тысячу номеров, все впустую, правда, оставила сообщение — для этого, последнего! И он ей перезвонил, говорит, Феррейру больше не видел, но тот должен зайти на днях, а то он сам уже волнуется, в последний раз заметил, как тот подавлен, недели за две до этого, то есть во время пресловутого коктейля. Наша чуть не умерла, готова была лететь и спасать его, не знаю уж от чего, ей мерещилось, что он уже на грани самоубийства, она собиралась стоять под дверью Министерства с утра до вечера, но все бесполезно, откуда знать,

когда он еще зайдет в эту контору. В тот вечер она заглянула ко мне, вроде тогда мы и смотрели второй фильм с Вивьен Ли. А на следующий день она не выдержала и снова позвонила в Министерство. Прежде ее вечно переключали с телефонистки на телефонистку, через тысячу добавочных номеров, и в этот день она позвонила на номер, указанный тем, последним, а по нему трудно дозвониться, всегда занято. Только набрала, и сразу ответили, она попросила того, последнего, но услышала вроде знакомый голос: "Это вы, Сильвия?"

— Не может быть.

— Она чуть не лишилась чувств — сам ответил! Из тысяч линий того Министерства. И он ей сразу сказал: надо увидеться, она согласилась, он попросил адрес. На следующий день была суббота, он сказал, что ему удобно утром, в десять. Она не могла поверить. Проснулась рано, часов в семь, но душа ни к чему не лежала, так что дом она не прибрала, себя в порядок не привела, была уверена, что он позвонит в последний момент, скажет: случилось то-то и то-то и прийти он не может. Но было примерно без двадцати десять, а телефон все молчал, она позвонила мне, просила перезвонить и проверить, работает ли телефон. Я перезвонила, телефон работал прекрасно. Тогда она слегка причесалась, и все, сил у нее, правда, никаких не осталось, так она измоталась, пока билась за эту встречу. Села писать письмо приятельнице из Буэнос-Айреса, с которой не общалась целую вечность, чтобы не пялиться на стрелки часов. Ровно в десять услышала звонок в дверь. Припала к дверному глазку, уверенная, что это консьерж принес счет за газ или свет, или еще что-нибудь такое. Нет, это был он, хочешь верь, хочешь нет. Стоял ждал, когда она откроет.

Глава четвертая

— Уже гасишь свет?

— Да, засыпаю.

— Везет, можешь заснуть, не читая на ночь.

— Подустала я от прогулки, день был дивный. До завтра, Люси.

— Почитаю немного, пока таблетка начнет действовать.

— Пока.

— До завтра.

— А ты разве еще не прочла всю газету?

— Это старые приложения, я их, видно, отложила, вроде еще не все просмотрела.

— Пока, Люси.

— Только полистала немного, не знаю, чего я их отложила.

Императорская резиденция. — Колониальная архитектура может утратить один из своих самых прекрасных памятников. В 40 километрах от центра города Сан-Себастьяна де Рио-де-Жанейро, в селении Санта-Круз, один из немногих уцелевших памятников колониальной архитектуры медленно приходит в запустение и разрушается, причем процесс этот начался около десяти лет назад и ныне ускорился по причине очередного пожара. Здание находится вдали от центральных правительственных учреждений, равно как и от любых начинаний государственной власти по его сохранению. Соседи опасаются, что в скором времени строение будет снесено. От старого особняка, некогда принадлежавшего Его Величеству королю Жуану VI и позднее приютившего в своих стенах первую отечественную музыкальную консерваторию, остаются одни руины к вящему сожалению местных жителей, которые предпочли бы видеть здесь культурный центр. Двор усадьбы покрыт густыми зарослями кустарника, но само здание оставалось практически нетронутым и лишь два года назад серьезно пострадало от первого пожара. Несмотря на это, конструкция величественного двухэтажного особняка с необычайно высокими опорами пару недель назад еще держалась, когда новый пожар достиг колонн и кровли, полностью ее уничтожив. Окрестные жители полагают, что огонь вспыхнул, скорее всего, по вине бродяг, обосновавшихся здесь, так как после пожара их больше нигде не видели. Ныне посещение полуразрушенного дома сопряжено с очевидным риском: часть пола на втором этаже, сделанного целиком из рижской сосны, уже обвалилась, продолжает падать кровельная черепица, а также осколки оконных стекол и балки. Однако, фасад особняка, по-видимому, держится крепко, благодаря прочности материала, использованного при строительстве, что не дает угаснуть надеждам тех, кто еще верит в возможность спасти здание.

Волны лета. — Рок, кино, комиксы: новинки начала сезона. Пора очнуться от новогоднего похмелья и начать привыкать к новым лицам новой Бразилии. Лето знойно зажигает, особенно для поклонников рок-музыки и кино. А комиксы порадуют, как минимум, одной, но душераздирающей новинкой. Нам не сулят череду мимолетных вспышек, как в только что почившем шизофреническом году, да и для бездарности, кстати, вряд ли найдется место. При явном спаде экономики выживет лишь стоящее.

Для начала, слова вроде *перформанс*, *постмодерн*, *clean* и *dark* следует без малейших церемоний выбросить в мусорный бак истории. *Перформансы* погрязли в собственном убожестве и неспособны к обновлению. Что касается постмодернизма, очередные зачарованные могут распрощаться со всякими иллюзиями, прочитав книгу Маршалла Бермана "Все, что есть прочного, растворяется в воздухе", которая более любой другой заслуживает права стать must-have летнего сезона, пусть даже лишь затем, чтобы вызвать ярост-

ную критику. Под знаком *clean*, как и следовало ожидать, выживет только марка стирального порошка на полках супермаркета. А *dark*, тяжеловесная шутка 86-го года, выродилась в несчастных "дарков" – эти существа низвели до банальности символику черного и благородство сплина.

Стремясь раз и навсегда похоронить "даркизм", зал "Крепускулу де Кубатан", воспетый медиа как храм *движения*, решил сделать ставку на смену имиджа. Диск-жокеи теперь крутят взрывное: афро-бит, хип-хоп, соул, фанк и регги, не говоря уж о непременных "Сиу" и "Баухаус". В течение всего января месяца в клубе продефилируют такие группы, как "Кинго", "Наемницы", "Социальные волнения" и другие. Непонятно только, как можно соединить в тесном подвале оркестровую группу с ложей бенуара, полной фанов. С этой минуты в вопросах акустики остается уповать на Господа Бога. Но поскольку шоу всегда начинается после полуночи, веселье гарантировано.

Из потемок выплывает также Летающий цирк, планирующий на своей площадке супер-рок-фестиваль с участием "Хамского плебса", "Простаков", и два специальных вечера – один с программой панк-музыки, другой с новыми командами из Бразилиа. Немало обещает и шоу "Брызговиков успеха", которые, объехав с гастролями полмира, выступают 25 числа на Гребном канале озера Фрейтас. Во всяком случае, публику на разогреве заведут ребята из "Конго".

Теперь, когда рок стал неотъемлемой экспрессивной частью бразильской народной музыки, пуристы популизма могут залиться слезами, ибо настал час, когда этот наэлектризованный пипл покажет, на что он способен. Лавиной хлынули новые имена: из Рио – уже упомянутые "Конго", помимо "Фальшивых Пикассо" и "Хот Дедух", двух выразителей трайбал-фанка. Не забудем "Блэк Фьючер", то есть небытие, доведенное до предела, и "Злющщих", апологетов психоделического ритм-энд-блюза. Из Сан-Пауло заявлены "Гетто", "Осенняя фиалка" и тотальное ошеломление в лице "Взядок Моэ", тогда как Бразилиа выдвигает неизвестные группы "Паника", "Школа скандалов", "Искусство во тьме", "Марсианин-Содомит" и "Гей (*sic*), мулатки!" Добавьте к этому десятки еще до конца не утвердившихся команд и артистов, и составится весьма аппетитное музыкальное меню. Уточним: указанные имена представляют не более чем видимую часть айсберга.

Шаша обличает карьеризм в борьбе с мафией и раскалывает Италию – Рим. Сицилийскому писателю Леонардо Шаше приходится платить высокую цену за разоблачение процветающей индустрии анти-мафии. Индустрия эта не только плодит общеизвестных и почтенных деятелей, но и содействует стремительному карьерному взлету политиков и судей, главным образом на Сицилии. Шаша бросил первый камень, опубликовав статью на

целую полосу в "Коррьере делла сера", итальянской газете с давними традициями. Он и на этот раз действовал, верный своему характеру и стилю, отметившему его личность и творчество интеллектуала нон-конформиста и возмутителя спокойствия, взыскательного либертария, которого неизменно манят трудные дела и идеи.

Получивший признание как первый крупный писатель послевоенной Италии, строгий и чуждый фольклору, Леонардо Шаша в свои 66 лет, имея 18 опубликованных книг прозы и драматургии, первым мощно и мастерски использовал литературу как действенное оружие против мафиозной системы и ее методов. Без его произведений вряд ли удалось бы получить сведения о мафии, которые пробудили и мобилизовали лучших борцов с "Коза Нострой" наших дней.

...движимый безотчетной и неизменной неприязнью к любым мифам. Или воодушевленный глубокой антипатией в отношении символов и проявлений власти.

...побудившие его написать — опять же наперекор общему течению — статью, которая глубоко задела и возмутила добропорядочных обитателей Палермо и расколола Италию на два лагеря: сторонников и противников писателя. Как в дни...

...жизнь, Леонардо Шаша вновь выступает как самый неудобный представитель мыслящей интеллигенции страны. На этот раз Шаша выбирает в качестве мишени так называемый Антимафиозный фронт с участием магистратов, политиков и ассоциации, именующей себя "Координирование демократов". Писатель атакует и разоблачает эти силы, считая, что они преобразуются во власть конформистов, не допускающую серьезной критики, контроля и анализа, прибегающую к логике чрезвычайщины для нападок и оскорблений тех, кто не согласен с их деятельностью. Шаша высказывает подозрения в адрес нынешнего мэра Палермо, молодого и оригинального христианского демократа, и судьи...

...и эффективно управлять городом Палермо. В ней Шаша описывает еще один конкретный случай манипуляций карьериста. Тот, видимо, использовал все свои заслуги за последние шесть лет, подвергая риску свою жизнь и жизнь родных, чтобы получить повышение по службе — назначение на пост...

...с момента публикации статьи мы стали свидетелями публичного "линчевания" Шаши. Оно инициируется и осуществляется не только в Палермо, но и по всей стране людьми и организациями, которым не следовало бы игнорировать почти тридцатилетний вклад писателя в дело создания фронта гражданского сопротивления, его честность и отвагу перед преступлениями мафии, ослабляющими и растлевающими Италию.

Время — это стильно. Лучше всего начать новый год, заводя новые часы. Бразильский рынок предлагает любые часы и на лю-

бой вкус. Никто не сомневается: продажа часов переживает бум. Более всего раскупаются...

...декоративные часы отличаются смелостью дизайна, но особенно...

...приелись. **Что теперь в ходу**: часы для подводного плавания // салонные часы, отделанные гранитом, мрамором и различными породами камня // четкое обозначение цифр для каждого часа // **Что теперь не очень в ходу**: насыщенные цвета, часы как украшение для вечера, цепочные браслеты.

Портрет потребителя. В театре и на телевидении она — неизменный синоним успеха. Родилась в солнечном краю...

...и как потребитель ни в чем себе не отказывает. Выясним, каковы ее предпочтения.

Духи: разные, в том числе "Magie Noir" и "Azzaro" ("еще я обожаю одеколоны с запахом дикого кустарника, они восхитительны"). *Шампуни*: производимые в Сан-Пауло под маркой "Золотой олень", для крашеных волос. *Мыло*: "Журуа" для лица и американское "Линт" для тела. *Глазные капли*: "Лерин", ежедневно. *Табак*: не курит ровно шесть лет, восемь месяцев и десять дней ("слава богу"). *Депилятор*: удаляет волосы с помощью горячего воска в институте красоты "Гарден" Копакабаны ("я там клиентка уже 25 лет"). *Парикмахер*: ... *Дезодорант*: ... *Джинсы*: ... *Нижнее белье*: итальянские трусики "La Perla" ("не оставляют следа благодаря шелковистым хлопчатобумажным нитям"), бюстгальтеры любой марки, носит их постоянно, а для гимнастики — исключительно американскую марку "Exquisite Form". *Чулки*: марки "Kendall" для работы на телевидении, "Legg's" для театра, а для чудных утренних часов солнечного Рио — популярные "Drastosa". *Психоаналитик*: Астрея ("хожу к психоаналитику три с половиной года, с головой стало намного лучше"). *Любимый режиссер*: Вуди Аллен. *Мечта потребителя*: "холодильник, который никогда не выходит из строя, чтобы икра не портилась". *Любимая фраза*: "Мне не стыдно менять суждение, потому что я не стыжусь думать" (Шиллер).

Залив 365 островов. Официально открытый 6 января 1502 года, в День Богоявления, и поэтому названный Ангра дус Рейс или Бухта царей-волхвов, ослепительный по красоте залив уже в ту пору считался излюбленным местом прогулок индейцев тамойо. Согласно историческим записям они любили тут плавать, совершать лодочные прогулки, ловить рыбу и предаваться массажу в здешних водопадах. Следуя точно такой же программе, теперь, 400 лет спустя, сюда приезжают жители Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро и туристы со всего мира, мечтая насладиться двумя тысячами здешних пляжей.

Дожди в этом году были затяжными, но рано или поздно зной покажет, кто здесь истинный хозяин сезона и...

...году в 1625 образ Пресвятой Девы был доставлен сюда парусным судном по пути в Сан-Пауло. Но всякий раз, как парусник пытался продолжить плавание, небо чернело, разверзались хляби небесные, и, лишь когда корабль входил в порт Ангры, укрываясь от бури, оно тотчас прояснялось. Образу, видно, полюбилось место, и здешние обитатели соорудили для него церковь.

...в качестве обязательного первого шага к любому из 365 островов залива следует отыскать причал Санта-Лузия и выбрать коллективное судно или "ракету", из числа быстроходных катеров для тех, кто очень спешит. Путь к райским кущам, навевающим мечты о приключениях пиратов, затопленных сокровищах и романтических пикниках, предполагает остановки в местных барах, которые предлагают гигантских креветок, жареную рыбу и осьминогов.

...очарование Илья-Гранде – не в роскоши, а в легкости встречи с природой. Здесь всего две гостиницы, без особых удобств, но с чрезвычайно радушным приемом. Ресторанов нет, но можно отведать свежую рыбу, искусно приготовленную в любом из двух баров. А для ознакомления с этими местами гостю придется прибегнуть к помощи рыбацких лодок или размять ноги в долгих походах по сельве и утесам.

Вилла-Авраам, куда причаливают небольшие суда, приходящие с материка, – тихая, сонная пристань, в поселке четыре тысячи жителей, скромные домики, некоторые из них колониальной эпохи. Городок избавлен от рева и чада моторов, немногие автомобили принадлежат мэрии и полиции. За десять минут вы добираетесь пешком до первого водопада, низвергающегося в естественный бассейн, на дне которого поблескивают камни. А в нескольких метрах – старинный акведук, его полуразрушенные плиты еще украшают затейливые вариации на тему Мальтийского креста, чьи мотивы то навевают ужас, то влекут к возвышенному.

Акведук предназначался для снабжения водой карантинного пункта, построенного в 1771 году на берегу и ныне лежащего в руинах. Изначально здесь находили пристанище те, кто прибывал из Европы и обязан был пройти период карантина.

...еще следует обязательно задержаться и понырять в бухте Звездной россыпи: в ее прозрачных водах дно просматривается на глубину до пяти метров. А совсем неподалеку, в пятистах метрах, белеет пляж Малой конгрегации, где стайки мелких, шустрых рыбок-маринга не боятся редких купальщиков в отличие от рыбы-сержанта, красивой особи средних размеров с желто-синими полосками. В окрестных джунглях щебечут-заливаются воробьи, дрозды, ласточки, попугаи и даже туканы. Чуть поодаль сквозь листву виднеется пляж Летучей мыши, тенистый укромный уголок, где до сих пор стоит дом, построенный пиратом Хуаном Лоренсо в 1629 году. И дальше ярким контрастом взору открывается Пальмовая бухта, где изумрудная зелень вод удивительно совпадает с зеленым колоритом опоясывающей их тропической листвы, грань между водами и лист-

вой стирается, как в сновидении, сливаются воедино прошлое и настоящее, небывалое и реальное, ужасное и возвышенное, правда и ложь, скорбь и блаженство. А там, в синей дали...

Бикини в дождь и в солнце. Две вещицы с нетерпением ожидают постоянного жаркого солнца — бюстгальтер и трусики современных бикини. В начале каждого сезона такие дизайнеры, как Зильда Мария Коста, подливают масла в огонь креативности и заново изобретают эксклюзивные тряпочки, чтобы выделиться в одной из немногих сфер, где бразильская мода способна показать свои достоинства и смелость.

— Берешь два лоскутка ткани лайкра, кроишь, простраиваешь, завязываешь не знаю уж каким новым узлом, все делаешь, лишь бы не походило на модель прошлого года.

— Если модель не очень отличается от прошлогоднего варианта, мы, любительницы водных видов спорта, особенно на высокой волне, исхитряемся и придумываем новенькое, связывая ленточки необычным образом: привязываем лифчик к трусам, скрещиваем бретельки на спине, делаем имитацию цельного купальника.

Один производитель, запуская коллекцию, распространил брошюру о разведывательных поездках своих дизайнеров в поисках новинок. "Никто ни у кого не копирует, но все копируют у всех". Общим почти для всех коллекций является, тем не менее, использование ткани лайкра, международного продукта фирмы "Дюпон".

В сезоне 87–88 года категорически модны кислотные цвета: зеленый, розовый, оранжевый, бирюзовый, светлых и комбинированных тонов. И неожиданные узелки, они, например, завязываются в верхней части трусиков. И лифчики с полукруглой чашечкой. И трусики — дельтапланчик. И умеренная прозрачность тканей. И, хоть трудно в это поверить, не сходят со сцены лифчики-шторки.

Напротив, сосланы в провинциальное изгнание украшения из цветных камешков и ракушек, и лифчик-маечка, и всевозможные ткани в полоску, и пайетки и, кстати, внимание! также проблематичные вязаные кроше.

Контрапункт для мини-танги. Танга и трусики в виде буквы Т — еще не все, чем жива мода. Признанные молодежные бренды, такие как "Транспорт" из Сан-Пауло и "Компани" из Рио, предлагают новые, более закрытые бикини, удобные для занятий спортом и воссоздающие строгий силуэт прошлого. Эта параллельная линия может вести к изысканной усложненности и отвечать вкусам покупательниц, не приветствующих радикальной неприкрытости и линии кроя на ширину зубной нити.

Императорская резиденция. — Колониальная архитектура может утратить один из своих самых прекрасных памятников. В 40 километрах от центра города Сан-Себастьяна де Рио-де-Жа-

нейро, в селении Санта-Круз, один из немногих уцелевших памятников колониальной архитектуры медленно приходит в запустение и разрушается, причем процесс этот начался около десяти лет назад и ныне ускорился по причине очередного пожара.

...старого особняка, некогда принадлежавшего Его Величеству королю Жуану VI и позднее приютившего в своих стенах первую отечественную музыкальную консерваторию, остаются одни руины к вящему сожалению местных...

...здесь культурный центр. Двор усадьбы покрыт густыми зарослями кустарника, но само здание оставалось практически нетронутым и лишь два года назад серьезно...

...первого пожара. Несмотря на это, конструкция величественного двухэтажного особняка с необычайно высокими опорами пару недель назад еще...

...целиком из рижской сосны, уже обвалилась, продолжает падать кровельная черепица, а также осколки оконных стекол и балки. Однако, фасад особняка, по-видимому, держится крепко, благодаря прочности материала, использованного при строительстве, что не дает угаснуть надеждам тех, кто еще верит в возможность спасти здание.

Залив 3...

...к райским кущам, навевающим мечты о приключениях пиратов, затопленных сокровищах и романтических пикниках, предполагает остановки в...

...пешком до первого водопада, низвергающегося в естественный бассейн, на дне которого поблескивают камни. А в нескольких метрах — старинный акведук, его полураз...

...в бухте Звездной россыпи: в ее прозрачных водах дно просматривается на глубину до...

...мелких, шустрых рыбок-марингас не боятся редких...

...рыбы-сержанта, красивой особи средних размеров с желтосиними полосками...

...окрестных джунглях щебечут-заливаются воробьи, дрозды, ласточки, попугаи и даже туканы. Чуть поодаль сквозь листву виднеется пляж Летучей мыши, тенистый и укромный уголок...

...пиратом Хуаном Лоренсо...

...открывается Пальмовая бухта, где изумрудная зелень вод удивительно совпадает с зеленым колоритом опоясывающей их тропической листвы, грань между водами и листвой стирается, как в сновидении, сливаются воедино прошлое и настоящее, небывалое и реальное, ужасное и возвышенное, правда и...

— Нидия, ты спишь?
— ...
— До завтра.
— Ты что-то сказала, Люси?

— Счастливая, так легко засыпаешь.

— Погаси свет, и сразу уснешь. Думай о приятном.

— Ты тоже.

— ...

— Но о чем же мне думать?

— О чем-нибудь приятном, из прочитанного.

— ...

— Ты меня слышишь?

— Да, только я не очень могла сосредоточиться на прочитанном.

— Думай, что будешь спать спокойно всю ночь, Люси.

— Буду думать об этом, Нидия.

Глава пятая

— Как ты быстро вернулась.

— Она приняла успокоительное, но подействовало слишком сильно, она прямо засыпала, пока мы говорили.

— Эта женщина плохо кончит, Люси.

— Пожалуйста, не пугай меня.

— Вообще ее жалко, зачем выздоравливать, если этим не пользуешься?

— Сам дьявол поставил этого мужчину на ее пути, Нидия. Но если честно, еще я быстро вернулась из-за беспокойства, Кука должен позвонить с минуты на минуту.

— Боишься, что его поездка затянется, признайся.

— Боюсь, его уговорят там остаться.

— Если Кука задержится с возвращением, я побуду еще. Одна ты не останешься.

— ...

— Как ужасно жить в холодной стране. Ты уже не сможешь привыкнуть.

— В этом возрасте, уехать жить в Люцерн, да я умру в таком холоде. Пообвыкла здесь в жаре.

— В нашем возрасте это бесценно — место, где никогда не бывает зимы. Ты не представляешь, как я страдаю в Аргентине.

— Нидия, невероятно, столько людей прошло через мою жизнь, а осталась у меня одна лишь ты.

— Как тебе не стыдно! А твои два сына?

— Один живет с женой и десятью кошками за тысячи километров, а другой, того хуже, женат на карьере.

— Бог тебя накажет, Люси, за то, что ты вечно недовольна.

— Я единственное у Бога прошу: если есть тот свет, мне бы там не оказаться одной. Но после этой жизни ничего нет, к счастью.

— Ясно, что ничего нет. Лучше бы того света не было. Несправедливости хватает и на этом.

— Нидия, некоторым везет больше, или от судьбы никто не уйдет?

— Кому-то везет гораздо больше, и не потому, что они заслужили. Эмильсен никому зла не сделала, и что она получила в награду? Умерла в сорок восемь лет, дети даже недоучились, и вообще. Пойдем, прогуляемся, Люси?

— Ты что! У меня ноги подкашиваются, еле одолела лестницу, пока поднималась к соседке.

— Почему я не могу сидеть в четырех стенах? Только выйду и гораздо легче...

— Сегодня не можешь отвлечься от воспоминаний, да?

— Да, о том, как она, бедняжка, страдала перед смертью, и что было в клинике.

— От прогулок тебе полегче, правда?

— Почему так?

— Тогда пойдем, Нидия. Если Кука вздумает позвонить, перезвонит позже.

— Только надень туфли поудобнее.

— Нет, мне в любых больно.

— Захвачу жакет, вдруг посвежеет.

— Идем скорее, чем раньше выйдем, тем раньше вернемся.

— Не ной, Люси, тебе полезно подышать воздухом.

— На острове некуда было деться, приходилось вечером гулять.

— Тебе там очень понравилось, или второй раз не стоит ездить?

— Это для парочек, вечером некуда пойти, мне было скучно.

— Все говорят, там изумительно... так хочется поехать, правда. Съездим как-нибудь, Люси?

— Днем глаз не оторвать от такой божественной природы, но вечером нет света, представляешь, миленькое дело.

— По ее словам, там они были так счастливы.

— На отдыхе все очень обманчиво. Меня, чтобы разобраться в ее истории, больше интересовало, как шли дела здесь. А у нее одна песня — снова и снова рассказывать про остров.

— Сколько он ей не звонит?

— Давно.

— Бедная, жалко ее. Он больше не позвонит.

— Видишь, Нидия, всех этих охранников с оружием оплачивают частные лица. Здесь живут очень богатые люди, так что одной выходить вечером не страшно.

— Знаю. Служанка сказала: тут есть высокие военные чины. По-моему, она хотела втолковать мне именно это, только уж очень быстро говорит.

— Смотри, вон окно консультации, где свет.

— Звонка ждет.

— Может, уснула после успокоительного, с зажженным светом.

— ...

— Бедная Сильвия, сильно ее пробрало. Но ты права: сама себя иллюзиями тешит. Когда он заявился к ней домой в первый и единственный раз, уже было ясно — все очень не просто. Но о том дне она никак не хочет распространяться.

— Тебе ничего не удалось выведать?

— Кое-что. Не знаю, может, мне кажется, но она что-то недоговаривает о том дне.

— Люси, пока не забыла, кто этот парень, что дежурит теперь по ночам у входной двери в ее доме?

— Ночной охранник.

— Простой швейцар?

— Да, он уже несколько месяцев, а все никак форму не выдадут. Красивый мальчик, правда?

— Я сейчас, когда его увидала, подумала: что-то есть в его глазах, как у дружка соседки.

— Не обратила внимания.

— Люси, как ты могла не обратить внимания на глаза этого парня?

— Не знаю, наверное, в Рио столько красивых людей, что я уже привыкла.

— Такой грустный взгляд, бедный мальчик. И он проведет всю ночь, не сомкнув глаз, в думах, не знаю уж о чем. У него, видно, очень большое горе.

— Но соседка не говорила, что у него грустный взгляд, у ее дружка.

— Я подумала, что у него такой взгляд, как у этого бедного парня.

— Может, это не грусть, иногда длинные изогнутые ресницы создают такое впечатление....Видишь, в этом доме живет высокий военный чин, о нем тебе говорила служанка.

— Ни разу не видела ни одного военного в форме на этой улице.

— Нидия, и ни на какой другой улице, столько лет здесь живу, ни разу ни одного не видела.

— Может, они не любят, когда их видят в форме.

— Ну да, так люди не догадываются, кто они такие.

— Но здесь они хоть не такие душегубы, как в Аргентине, или тоже?

— Вроде не такие.

— Скажи, Люси, соседкин тип такой же толстый, как тот прохожий?

— Да ты спятила. Знаешь, она про тот единственный день, когда он пожаловал к ней домой, всегда рассказывает о его приходе, но об уходе никогда.

— Ты говорила, он пришел утром, по крайней мере, пунктуально. Цветы хоть принес, или так?

— Главное, с большим энтузиазмом пришел, что может быть лучше? Я тебе говорила, она была почти не прибрана, едва причесана. Только лицо сполоснула. И видит: он возбужден, как будто бежал. И спросила об этом. А он ответил, мол, нет, просто волнуется, и все, так хотел ее видеть. И тут она, видно, улыбнулась, подала, наверное, какой знак, может, безотчетно, потому что он как набросится на нее, так и не отпустил. Почти без разговоров.

— Что ты говоришь, даже не верится.

— Ты обещала, что тебя ничего не будет шокировать!

— И больше они не разговаривали?

— Потом.

— Люси, меня ничто не шокирует. Расскажи все подробности, вот увидишь, меня не будет шокировать.

— Она почти ничего не рассказывала. К счастью, была сразу после ванны, хотя, как я уже говорила, вообще без макияжа.

— У нее все было рассчитано. Скажи, пожалуйста, она каждый день моется, утром или вечером?

— Как придет домой, после последнего пациента, волосы у нее мокрые.

— Вот я и говорю. В то утро она вымылась, все уже хорошо продумала, настроилась на романчик. Сразу видно, привыкла быстро все обтяпывать, Люси, ты просто не хочешь понять.

— Но почему тогда она так воспылала к этому человеку, если, как ты говоришь, у нее сплошь и рядом приключения?

— Тебе лучше знать, что ее так поразило.

— Давай по порядку, я тебе все расскажу, а ты потом сама думай, в чем причина.

— Он ей понравился как мужчина?

— Об этом она не очень распространялась. Но сказала важную вещь: здесь было наоборот, не как с мексиканцем, там она сама всегда тянулась к нему с ласками, а тут он первый начинал ее гладить. Так приятно, когда к тебе льнут, не обязательно мужчина, скажем... не знаю, внучка, давно, еще маленькая, висла на мне, нет ничего чудеснее на этом свете, когда любимое существо виснет на тебе и не хочет отпускать.

— Мои взрослые внуки обнимают сильно, даже слишком. Вот самый младший мне нравится, как обнимает, такой нежненький.

— Просто тот тип вошел как-то несмело, но, когда накинулся на нее, тут уж деться было некуда. Они пробыли сколько-то времени на диване, а когда он принялся стаскивать с нее одежду, она предпочла перейти в спальню, где можно затенить получше, зашторить.

— Тебе из дому видно, если она зашторит окно в спальне — средь бела дня, утром! Ты заметила? В смысле, в тот раз.

— Ты с ума сошла! Я вовсе и не слежу за ее шторами. Меньше всего я ждала, что они так быстро перейдут к делу. Но потом поняла, почему так получилось: они оба находились в невероятном нервном напряжении.

— Но, прежде чем туда войти, они ни разу не целовались.

— Конечно нет. Поговорили тогда утром в консульстве, потом по телефону. И все.

— Ну, а в интимном плане ей с ним понравилось? Знаешь, Люси, я теперь по старости все забываю, но помнится, когда я была молоденькая, от одних ребят я прямо голову теряла, такие они были высокие, или красивые, аж вся млела, мечтала, вот пригласят меня на танец, а потом на свидание, как тогда было принято, на минутку в укромном уголке. Ну вот, и, когда они меня целовали, помню, были такие, что резко падали в моих глазах, вдруг переставали мне нравиться. Либо никакого обхождения, либо руки распускали, не знаю, либо запах изо рта, или целовали слишком грубо. А другие нравились меньше, но поцелуют, и ты от поцелуя вмиг теряешь рассудок. Такие, что умели приласкать. Это я помню, как если бы было вчера.

— Прошло шестьдесят лет, или больше.

— Люси, помню, как если бы это было вчера. Чувствую эти руки.

— Правда?

— Не будешь смеяться, если я скажу кое-что? Вот сейчас озноб пробежал, так явственно вспомнилось. Ладно, больше не буду перебивать. Дело в том, что тип сумел покорить ее и с этой стороны, иначе она не торчала бы у телефона, как теперь.

— Но про этот раз она деталей не рассказывала, про остров — да, увидишь. Потом он попросил кофе, и она еще спрашивала о его жизни, как там дети, понемногу обо всем, ведь голова у нее постоянно работала, все думала, что он за человек, там, в глубине души.

— Тогда он снова стал критиковать бедную жену?

— Молчи, то было по телефону. В это утро он заартачился, ничего не хотел рассказывать. Это было для нее неожиданностью, она думала, он заговорит, жаждала все разузнать.

— Правильно сделал, поставил ее на место.

— Ты что имеешь в виду?

— Да, Люси, повел себя не как с врачом, а реально — как с незнакомкой, которой вообще не доверяет.

— Думаю, ты права. Она этого не ожидала, была уверена, что он пришел излить душу. Но не отступила, расспрашивала о работе, о чем угодно, про финансы страны, про инфляцию, и как это на нем отражается, и что думают дети о нынешнем правительстве, не знаю, что-то в этом роде, у меня не очень отложилось. Он ничего особенного не ответил, хотел послушать ее.

— ...

— Ей пришлось рассказывать о своей жизни, он-то как в рот воды набрал. Упирался, не желал говорить.

— Молодец, правильно делал.

— Бедная Сильвия, стремилась все узнать, по-настоящему хотела помочь. Другая бы, эгоистка, задурила голову рассказами о себе, понимаешь? Тебе в ней этого не понять, она такая женщина, всегда готова выслушать других.

— Но не бесплатно.

— Ах, Нидия, если она тебя бесит, лучше ничего не рассказывать.

— Еще скажи, с него она, мол, плату не брала, не деньгами, но хотела заарканить, наложить лапу, а человек-то еще не залечил раны.

— Конечно, она хотела его заполучить, это понятно.

— Смотри, какое красивое море. Ясно, оно у тебя круглый год, тебе уже приелось.

— Нет, Нидия, ты прекрасно знаешь: утром я обожаю ходить на пляж. Просто мои кости не выдерживают — два раза в день выходить из дома.

— Я не подумала, мы могли бы пригласить ее погулять с нами, правда? У нее ведь тоже хандра.

— Думаю, она уснула, во всяком случае не согласилась бы уйти от телефона, в этот час в ней, как никогда, оживает надежда, что он позвонит.

— Не понимает, что хуже всего — сидеть в четырех стенах.

— В тот день ей поневоле пришлось начать рассказывать ему о своей жизни. И она не решилась сказать всю правду, что она сейчас ни с кем не встречается, совсем одна, без ухажера. Присочинила, мол, встречается с одним, которого давно уже не видела, и не только с этим, а еще с другим. Но тема возникла позже, он сначала стал спрашивать, чем она занимается в течение дня, и она принялась описывать, понятно, сперва утренние дела. И, короче, пришло время говорить, что она делает вечером.

— Ему правду не сказала, а тебе рассказывает?

— Я прекрасно знаю, что она делает, могу даже наблюдать за окном спальни.

— Но ни входную дверь, ни окно консультации не можешь, они с другой стороны. Извини, Люси, я знаю, ты ее ценишь, но она что-то скрывает.

— А ты, конечно, уже знаешь про нее все? При том что рассказ только начинается. Итак, жизнь у нее — сплошная рутина, встает около семи, ведь в восемь уже идут пациенты. На каждого по сорок пять минут, потом пятнадцать минут перерыв. Все время — максимум внимания, чтобы уловить проблемы каждого. Потом где-то в час обед и небольшой отдых, а с трех опять, до семи, иногда до восьми.

— Значит, много зарабатывает.

— И налоги платит, как ей вздумается, никто ведь ничего не может проверить. За считаные годы купила квартиру, в которой живет, и еще несколько для аренды. Если честно, она даже не знает, что делать со всеми заработанными деньгами. А два вечера в неделю не принимает пациентов и занимается, учится, чтобы не отстать от жизни. Один вечер посвящает чтению, а в другой свободный вечер встречается с группой психологов для дискуссии. В общем, крутится без конца.

— А сын?

— С сыном непросто, он вроде пока не знает, чего хочет, учится там на полиграфическом. Здесь изучал что-то другое. Ему девятнадцать лет.

— Помню, когда Масику было девятнадцать, он учился на первом курсе университета. В пять часов вставал заниматься. И я с ним, чтобы заварить мате.

— Она раньше, когда они только приехали из Мексики, вечером всегда оставалась с сыном, они вместе ужинали, потом мальчик хотел посидеть у телевизора, и она не могла часто выходить из дома. Теперь парня нет, ни днем ни ночью. А худшего-то я тебе не сказала — он даже на каникулы не хочет приехать, у него там все друзья, ты ж понимаешь. Хорошо хоть, она весь день занята, но к восьми вечера остается одна как перст.

— Почему так говорят, один как перст? Пальцев-то на руках много.

— В этих туфлях совсем не больно, вот счастье. И еще, Нидия: когда речь зайдет о твоем сыне, не говори Масик.

— Само получается. Мы его всегда Масиком звали.

— Мужчине за пятьдесят, а он все Масик...

— Думаю, нужно было ее позвать, вместе прогуляться.

— Нет, Нидия, не останавливайся, назад я не пойду.

— Ну, давай позовем, иногда ее жалко. А иногда она меня бесит.

— Нет, Нидия, я назад не вернусь, идти далеко.

— Ну, тогда в другой раз... Знаешь, как-нибудь выберем вечер потеплее и сядем за один из тех столиков попить пива.

— Это же вредно для давления.

— Тут в баре всегда народ, они, наверное, уже озолотились.

— Место в Рио известное, люди сюда издалека приезжают попить пива, с видом на море.

— Очень холодно будет, если мы сегодня выпьем здесь пива?

— Нет, Нидия, не соблазняйся. Гулять приятно, но сидеть без движения — замерзнем.

— Какая свобода, эти девчонки одни, вечером.

— Совсем другие времена.

— Люси, эти, наверно, такие же, как в Аргентине, или похлеще. Пары поцелуев в парадном им маловато.

— И рано начинают, Нидия. У нас в доме девочки, совсем еще крохи были пару лет назад, а в один прекрасный день смотрю, они уже красятся и гуляют по вечерам. И лица уже другие, как у женщин, которые все о жизни знают. А потом снова видела их по пути в школу, некрашеных, и ведь дети еще, а во взгляде уже тень, словно познали горький опыт.

— Так и идут по рукам. Но если мужчинам уже неважно, что женщины такие, тогда никаких проблем. Но раньше было красивее.

— Не знаю, Нидия, если тебе везло и доставался хороший муж, тогда да. Весь вопрос в везении.

— Все больше в этом убеждаюсь. Достоинства никого не волнуют. Посмотри на эту, какое милое личико.

— Ангел, правда?

— Парень тоже прелестный.

— Какая в этом городе молодежь, Нидия, просто теряешь дар речи.

— Вон садятся в машину, смотри, Люси.

— С огнем юности внутри, и без материнской узды, кто эту девочку удержит?

— Так и хочется подойти к ней, Люси, и поговорить. У девочки всего вдоволь, а она рискует, завтра будет терзаться, ах, я несчастная. Это ужасно: привязаться к человеку, а потом его потерять. Откуда этой бедной девочке знать, что готовит ей жизнь?

— Буквально на каждом шагу, Нидия, как говорили раньше старушки.

— В юности мы над этими вещами смеялись, а теперь знаем, что так оно и есть.

— Поди узнай, куда они. А и захочешь... ее уже не остановить, она даже не услышит. Дай бог — чтобы пустяк, не настоящая любовь. Ведь какой современной ни будь женщина, она, по-моему, всегда глупее мужчины, легче привязывается. А стоит привязаться, и готово — потеряешь его, и рыдать тебе горючими слезами. Но раз она такая молоденькая, навер-

няка есть родители и вся жизнь впереди, можно постараться забыть.

— И столько других ребят вокруг. В общем, пусть ей повезет.

— Видела, с какой скоростью умчались? Безумие, надо же так гонять.

— Давно твоя соседка не заводила новых ухажеров?

— Оттого ей и стало стыдно, она давай интересничать, сказала, что встречается с двумя старыми ухажерами. Я их знаю, один аргентинец, торгует какими-то химикатами, живет здесь, но много ездит по стране. Разведен, вся семья в Буэнос-Айресе, она сказала, что ей надоело, мол, человек неглубокий и говорить с ним не о чем. И видеть его больше не захотела.

— А другой?

— Ты будешь в шоке.

— Как знать. Это тебя вечно все шокирует.

— Давно уже, только-только приехав в Рио-де-Жанейро, она ходила на море плавать, здесь, на пляже Леблона, не подозревая, как это опасно. Однажды плавает, и тут коварное течение понесло ее, а один крепкий парень оказался поблизости и помог ей вернуться на берег, она бы одна не справилась. Это был один из тамошних серферов, но уже лет двадцати восьми или тридцати. Это случилось несколько лет назад, ей тогда было около сорока, то есть, конечно, он был много моложе.

— На него она тоже глаз положила?

— Нет, совсем наоборот. Парень оказался слегка неприкаянным, по сути, это он был утопающим, а она — спасательным кругом. Короче, я тогда мало ее знала, была не очень в курсе. Она ему немного помогла, провела терапию и не взяла денег, чтобы как-то отплатить за услугу, но, говорит, ничего не получалось, потому что парень хотел других отношений, а при таком лечении — это вроде гиблое дело. И ей еще было стыдно из-за сына.

— Но до любви дошло или нет?

— Нет, он очень настаивал, но она так и не согласилась. В общем, теперешнему, этому Феррейре, его зовут Зе, уменьшительное от Жозе, она в то утро сказала, что еще встречается с этими двумя мужчинами, чтобы не выглядеть, как рухлядь из чулана.

— А на деле с ними больше не видится. Или только так говорит.

— Лучше бы виделась, была бы не так одинока.

— ...

— Нидия, не знаешь, Луисита Бренна поправилась?

— Нет, куда там.

— В письмах ты никогда на это не отвечала. Звонила ей от меня?

— Ах, Люси.

— Что такое?

— Не хватало духу тебе сказать.

— Нет, Нидия... только не это.

— Уже почти год.

— Последняя подруга оставалась у меня по факультету, из всех наших девочек.

— Правда?

— Да, все потихоньку продефилировали.

— Мало кто доживает до восьмидесяти, мы должны быть благодарны, что дожили до таких лет, или нет?

— Я ее провожала после занятий вечером, и мы шли мимо бара на углу Талькауано и Тукуман, там всегда сидел парень, она была от него без ума. В хорошую погоду столики выносили на тротуар, но в холодные дни мы шли через огромную, пустынную площадь Лавалье, и можно было различить только столы у окна, и лица за стеклом, сильно запотевшим. Ну, в итоге ничего и не было, парень смотрел на нее во все глаза, на меня ни разу не взглянул, но так с ней и не заговорил. Годы спустя он женился на очень богатой провинциалке. А бедная Луисита прождала его, столько лет потеряла, пока не подвернулся другой, она за него вышла. Ах, Нидия, аж озноб пробежал, как вспомнила сейчас, словно вчера это было, этот бар, этих ребят с набриолиненными волосами. Тоже, наверно, уже все поумирали. Стоят перед глазами, некоторые просто красавцы, там были двух типов, помнишь? Одни набриолиненные, и другие, богемного типа, с длинными волосами, без бриолина, с пробором посередине. У каждого свой особый шарм.

— Бледные, совсем не такие, как здесь.

— Иногда стекло запотевало, ничего не разглядишь, и хотелось подойти, протереть, чтобы получше видеть. Но мы так ни разу и не отважились.

— Этот бар на углу Талькауано и Тукуман всегда существовал.

— И самое лучшее — бесконечные разговоры. Каждый знал наизусть стихотворение, и в какой-то момент тебе его читал. Конечно, некоторые читали свое, от таких было не отвязаться. Но если ограничивались классикой, дело обстояло лучше.

— Что-нибудь помнишь?

— "Не грусти, — утешает свою крестницу фея, — на коне быстролетном мчится, в воздухе рея..."[1] Как же дальше? Что-то вроде: рыцарь, меч свой вздымая, он стремится вперед... а дальше не помню, Нидия. Хотя подожди, припоминаю. Сейчас...

1. Фрагменты из стихотворения Рубена Дарио "Сонатина". Перевод А. Старостина. (*Прим. перев.*)

"рыцарь, меч свой вздымая, он стремится вперед... Он и смерть одолеет, привычный к победам, хоть не знает тебя он и тебе он неведом, но, любя и пленяя, тебя он зажжет!"

— Вспомни еще. Это стих про маленькую принцессу, правда?

— Знаменитейший.

— Постарайся вспомнить.

— "Ей тоскливо и грустно, этой бедной принцессе. Ей бы ласточкой быстрой пролететь в поднебесье...", а как дальше, не помню, Нидия. Подожди... "И цветам стало грустно, и зеленым травинкам, и восточным жасминам..." Нет, забыла!

— Я бы ни слова не запомнила.

— "...георгинам заката, розам южных садов! Ах, бедняжка принцесса с голубыми глазами, ты ведь скована золотом, кружевными цепями... Замок мраморный — клетка, он стеной окружен..." Дальше не знаю, как там...

— Ну вспомни, Люси.

— "Улететь к королевичу в край прекрасный и дальный (как принцесса бледна! Как принцесса печальна!), он зари лучезарней, словно май — красотой! — Не грусти, — утешает свою крестницу фея, — на коне быстролетном мчится, в воздухе рея", тут я снова теряюсь.

— "Не грусти, — утешает свою крестницу фея", а дальше?

— "Не грусти, — утешает свою крестницу фея... свою крестницу фея..."

— Ну, Люси.

— Ах, как же там? Я ведь уже сказала...

— Что-то про коня...

— Да, конь быстролетный... как же дальше? "Рыцарь, меч свой вздымая, он стремится вперед... Он и смерть одолеет, привычный к победам, хоть не знает тебя он и тебе он неведом, но, любя и пленяя, тебя он зажжет!"

— Ах, Люси, ты почище любой колдуньи. Мне то же самое читал кто-то, только лица не помню. Но голос слышу отчетливо! Ах, Люси, словно опять слышу, но лица даже смутно не припомню! Ты чисто колдунья — вспомнила именно этот стих.

— Тогда он был самый известный — "Сонатина" Рубена Дарио.

— Люси, погоди, прислонюсь на минутку к этой пальме.

— Что с тобой?

— Ноги слегка подкосились. Сейчас пройдет.

— Нидия... тебе плохо?

— Вспомнить лицо того парня, было бы славно. И взгляд.

— Хоть голос ты уже вспомнила.

— Этого голоса я вроде больше не слышала и не вспоминала за все время, что прошло. Году в двадцать пятом это было?

— Примерно.

— Значит, уже лет семьдесят назад.

— Нидия, ты в маразме! Пожалуйста, не прибавляй лишние годы, их и так хватает, с двадцать пятого по восемьдесят седьмой получается шестьдесят два.

— Почти то же, не такая уж разница, чтобы обвинять меня в маразме. Ты порой бываешь слишком груба, Люси.

— А голос, какой?

— Что за голос?

— У парня, который читал тебе "Сонатину".

— Нет, голос совсем не как у соседкиного.

— При чем здесь это?

— То был голос молодого парня, очень мечтательного. Но мечтает он лишь о прекрасном. Ждет от жизни самого лучшего.

— ...

— Люси, расскажи про остров.

— О моей поездке?

— Нет, когда они вдвоем ездили. Расскажи все.

— Ноги уже болят. Вернемся домой, сниму туфли и все тебе расскажу.

Глава шестая

— Теперь ноги у тебя точно разболятся.

— Крутые здесь лестницы, два раза подряд не сбегаешь. Но на вечер я себя чтением обеспечила.

— Покажи, что там.

— Биография Вивьен Ли. Я тебе говорила. Только на португальском, а то бы ты тоже почитала.

— А больше у тебя ничего не было почитать на вечер?

— Просто я давно ждала, пока она закончит и даст почитать. Отправила меня назад пулей, боялась, что телефон зазвонит. Не звонил, нет?

— ...

— Звонил?

— Нет.

— Почему ты сразу не отвечаешь? Она совсем помешалась на этом, даже охранника прислала.

— У нас в Буэнос-Айресе, когда ломается телефон, его не чинят месяцами.

— Ох, ноги вконец разболелись. Прогулка, да еще этот подъем по лестницам.

— К чему было гонять тебя наверх, если телефон сломан, этот тип бы ей не дозвонился, не лучше ей было бы спуститься сюда самой?

— Нет, она просила охранника сообщить ей, когда мы пойдем назад, но мальчик не понял и попросил нас подняться.

— Этот тип ей уже звонил сюда хоть раз?

— Нет, но она дала ему мой телефон. И теперь надеется, что если он не сможет связаться с ней напрямую, то позвонит сюда.

— Совсем свихнулась.

— Нидия, это любовь. Ни больше ни меньше.

— Бедная, правда, так ее жалко.

— Ой, как больно. Не стоило подниматься второй раз.

— Могла бы до завтра подождать хваленую книгу.

— Я ее сразу взяла, еще когда первый раз поднялась, не знаю, чего потом отложила. Это мне от нее нервозность передалась, она хотела, чтобы я сразу вернулась сюда, вдруг зазвонит телефон.

— Люси, телефон звонил.

— Когда?

— Сейчас, когда ты второй раз ходила, за книгой.

— И кто это был?

— Когда я подошла, телефон уже не звонил.

— Долго не подходила?

— Нет.

— Правда?

— Да. А теперь отложи книгу, мы же договорились: ты расскажешь все про остров.

— Вряд ли это звонил мой Кука, он долго не кладет трубку.

— И потом, Люси, теперь в Швейцарии часа три ночи.

— Нидия, так болит позвоночник.

— Ты рассказывай, а я поставлю воду, заварить ромашку.

— Добраться туда можно на большом катере, он выходит каждое утро из захолустного порта, в двух часах отсюда на машине. В день бывает всего один рейс. На острове проходил конгресс для психологов, тему не помню, ну, как же это... а, что-то вроде психологии масс. Слет левых, ясное дело. И никаких государственных субсидий. Он наотрез отказался, но в последний момент согласился. Каждый участник сам платил за номер, и тут ее осенило: разве цена не одинаковая, или почти, за номер для одного и для двоих? А насчет еды обманула. Сказала, что будет бесплатный шведский стол для участников и их гостей. Вранье: она за него заплатила отдельно.

— Чувствую я, никогда ты не поедешь со мной на этот остров.

— В жизни лучше не загадывать.

— Рассказывай, Люси, закрою глаза и представлю, что путешествую. Начни сначала.

— Надо выезжать из Рио под вечер, и через два часа дороги добираешься до этого крошечного порта из книги приключений. Там морские волки в шрамах, кое-кто без руки или без ноги. И босоногие мальчишки, и на плече у мальчиш-

ки попугай сидит, но все мирно. А темнеет в тропиках очень рано, и огней мало, несколько отельчиков семейного типа, безупречно чистых, а в квартале оттуда, скрытый в густой листве такой вроде кабачок, где всего вдоволь, даже женщины, которые, как нам сказали, раздеваются, если кто заплатит, а по вечерам, вместо милых звуков самбы, издали доносится противная рок-музыка. Поселочек очень загадочный, приезжаешь затемно, или почти, и особо ничего не видно, редкие керосиновые лампы в лавочках. А утром корабль отходит так рано, что не успеваешь ничего посмотреть. Мы приехали на ее машине под вечер, но, когда она ездила с типом, все участники конгресса выехали на рассвете из Рио на двух огромных микроавтобусах. Психологи со всех концов света, некоторые с сопровождающими. Было больше сорока выступающих, плюс остальные. Он до последней минуты говорил, что не поедет, мол, разные дела, и долги надо платить, но у нее был мощный аргумент: если он позволит себе несколько дней отдыха, то потом с новыми силами сможет взяться за работу, а значит, отказываться от бесплатного отпуска — чистое безумие. У каждого приглашенного есть право взять одного спутника, все включено в стоимость мероприятия, так она ему сказала. Ведь конгресс был независимый.

— Ты уже говорила.

— На средства самих психологов.

— Недаром они столько берут за консультацию.

— В общем, в то утро в шесть часов, к выезду микроавтобусов, еще не рассвело. Она не хотела слишком на него давить, не сказала, что лучше переночевать у нее во избежание возможных задержек, будильник не зазвонит, или еще что. Но ей дорого обошлась деликатность, она сама всю ночь не сомкнула глаз, боялась проспать. Доехала на такси до места сбора, у отеля "Марина палас". И там стоял он, наполовину скрытый за спинами участников, беседовал с гостиничным портье, не решаясь заговорить ни с кем больше. Она не верила своим глазам — вот он, в ее власти, по крайней мере на семь дней конгресса. У Сильвии был чемодан средних размеров, а у него два, один полный бумаг, чтобы наверстать бухгалтерскую работу. Она стала представлять его, большинство говорило по-испански, и тут она остолбенела: на нашем языке он говорил почти идеально, а она всегда обращалась к нему только по-португальски. Здешние вообще очень способны к языкам. Она рот разинула, не могла поверить, что он никогда не брал уроков, даже заставила поклясться. Короче, были задержки по вине опоздавших, тех, кто не думает о других, и два автобуса едва успели в порт, к отходу утреннего катера, единственного. И после часа с лишним плавания по безмятежному морю вдали показался остров.

— Никого не мутило?

— Никого. Когда я села на корабль на той пристани, даже глаза зажмурила от яркого сияния, в темных очках и все такое, но, как вышли в открытое море, сразу сняла. Просто свет уже не резал глаза, сделался чистый, без желтизны, раздражающей зрение.

— Мне желтый глаза не раздражает, о чем ты?

— Не люблю желтый. Старые люди бывают красивыми, если сохраняют белый или розоватый цвет, а пожелтевшие похожи на умирающих. А стариков черной расы никогда так не жалко, как нас. Если только белки глаз у них не желтеют — тогда и для этой расы гиблое дело.

— Расскажи про их поездку вдвоем, потом, если захочешь, расскажешь о своей.

— Если стоишь на носу, сначала различаешь пальмы и еще пальмы, такие ярко-зеленые, но без желтизны, и вода тоже зеленая, но с голубоватым оттенком. И песок то белый, то прямо золотой. И небо лазурной чистоты, без серого, ни облачка, никакого янтарного блеска, это ведь на грани желтого, да? И оба отеля — с белеными стенами. И каждый побежал в свой номер, закрывать жалюзи и отдыхать, все ведь поднялись, по меньшей мере, в половине пятого или в пять утра. Но он не дал ей уснуть сразу, ты меня понимаешь?, а когда отстал, уже близилось время обеда, и ей пришлось пойти в столовую, совсем не отдохнув, ни одной минуты. К счастью, все было очень неформально, в крытом патио поставили официанта, он обслуживал шведский стол с холодными и горячими блюдами, и каждый подходил и клал себе сам, что пожелает, и было несколько больших зарезервированных столов, и каждый садился, куда хотел. Когда я с ней ездила, напротив, приходилось долго ждать еду, тогда не было шведского стола, поистине изобретения века. Остальное время в день заезда было свободное, и он торопился скорее покончить с обедом и подойти ближе к шхунам для лова креветок, пришвартованным неподалеку, и вокруг не было ни души, ведь рыбаки спят до четырех часов дня. Но тут она уже совсем обессилела от усталости и с ним идти не захотела. Он заметил эти шхуны, едва они пристали к берегу, и вне себя от счастья побежал смотреть, не пришел ли кто из хозяев. Впервые она видела его таким, преображенным.

— Как это, преображенным?

— Полным энтузиазма, слегка отбившимся от рук. Ведь до сих пор он держался за ее юбку, как застенчивый мальчик, который стесняется взрослых.

— И она отпустила его одного? Ну, в это я не поверю.

— Что? Да она с радостью устроила себе сиесту, даже кофе не стала пить после обеда, чтобы сон не ушел. Если что и приводило ее в настоящий ужас, это мысль о том, как ему будет

скучно, пока она занята на конгрессе. Сильвия заметила, что у него прямо сердце выпрыгивает из груди, когда он, сойдя на берег, обнаружил эти шхуны, но до обеда он эту тему не поднимал. Пока они стояли в очереди из нескольких человек к шведскому столу, он попросил ее сесть отдельно от всех, мол, хочет кое-что рассказать. Тогда они выбрали стол подальше, и там она узнала, что он совсем юным безумно любил ходить под парусами. Здесь, в Рио, это дело нередкое, но среди людей с деньгами. И вроде семья у него была обеспеченная, и в юности его всячески ублажали, например, он мог себе позволить состоять в яхт-клубе. Обычная картина тридцатилетней давности, когда страна была богатая. И еще он рассказал, что в какой-то момент ушел из дома, так его тянуло к другой жизни, на воле, под открытым небом, эта жажда приключений, что бывает у молодых. Он поддался порыву, исчез из поля зрения и пошел работать туда, где ему, правда, нравилось, на рыбацкое судно. Причем не последним подручным, нет. Судно принадлежало отцу одного парня, который всегда ходил с ним на яхте, все люди состоятельные. И он был вроде администратора, подсчитывал ежедневный улов, но обожал самую грубую работу, вставал с рыбаками, забрасывал сети и вытаскивал их обратно, полные креветок. Они выходили на шхуне к вечеру и проводили в открытом море всю ночь. Перед самым рассветом начинали убирать сети и к восьми утра возвращались обратно на сушу, взвешивали улов и тут уж, наконец, могли отправляться спать, такой долгий рабочий день. Судно выходило в море не из Рио, а из одной весьма удаленной бухты. Поэтому он месяцами не наведывался сюда. Пока однажды любимая девушка не отправилась на его поиски.

— Уже девушка была, значит, не такой и юнец. Но он хотел убежать от родителей или от девушки?

— Вроде и от того, и от другого. Но путаная история с исчезновением мне в деталях не известна. Сильвия всегда говорит одно, мол, он стал всерьез думать о женитьбе очень рано, и родителям это не понравилось.

— Девушка не понравилась?

— Нет, что он собирается оформить отношения так рано, до диплома. И Сильвия говорит, мол, тут, когда пошли трения с родителями, он не растерялся, дал тягу и заодно порвал с девушкой. Если бы очень ее любил, не ушел бы в рыбаки, как по-твоему? Но в один прекрасный день она явилась к нему, разыскала. И они решили пожениться, и тогда он возвратился сюда, в Рио, и стал вести бухгалтерию для частных лиц, так и не доучился на экономическом, да и к лову рыбы не вернулся. Бедный парень, правда?

— Вот именно. Вечно подвернется такая, что крутит им по-своему.

— Но на острове он снова стал счастливым. На баркасах еще не было смотрителя, когда он пришел после обеда, и тут он не удержался, залез на один, на другой, обследовал всё подробно. С тех давних пор он ни разу не поднимался на такую махину, уже лет двадцать, думаю, как отошел от этих дел. Нахлынуло странное чувство, когда он почуял этот дух въевшейся соли, корабельной кормежки. Просто, когда он в молодости плавал, к полуночи у него жутко разыгрывался аппетит в открытом море.

— Не преувеличивай, какое открытое море, они же наверняка ходили вдоль берега.

— Значит, в открытых водах. Я, чтобы ты представила. В общем, несколько часов спустя после отплытия на них обычно нападал страшный голод, и тут жарились на углях креветки, и открывались банки с ледяным пивом, а в холодную погоду кружками заглатывался черный обжигающий кофе. И этим запахом пропитывается корабельная древесина — кофе в зернах, обжаренного на месте, и сочной мякоти креветок с румяной хрустящей корочкой.

— Пожарь завтра креветок, будь добренькой.

— Они ж дорогущие.

— Я куплю, продолжай.

— К счастью, тяжелые пары пива, надеюсь, уносит ветер. И все это он внезапно вспомнил, будто снова ступил на борт шхуны его первой молодости, словно и не прошло столько времени, вот он, еще пышет здоровьем, отрастил небольшой животик, но здоровья хоть отбавляй, молодость ушла, но здоровье осталось, а значит, не страшны седина и лоб в морщинах?

— А она смогла заснуть?

— Еще как! Уснула мертвецким сном, и он разбудил ее часов в шесть, весь возбужденный. Оказывается, он переговорил с кем-то со шхуны, и они звали его выйти сразу на морской простор. Или порыбачить у берега, не смотри так, я ничего не утрирую.

— Чтобы вернуться на следующее утро? Не верю! Он оставлял ее одну в первую же ночь?

— Она-то вне себя от счастья, это он скорее не решался, думаю, боялся ее обидеть, но она настояла, мол, конечно, он должен пойти. Только она хотела прежде выпить с ним чаю, собиралась спросить о паре вещей, не хочет ли он поехать на экскурсию на другие острова с теми, кто не участвует, с сопровождающими. Она не осмелилась заговорить с ним об этом раньше. Но что получалось? Если он останется пить чай, то опоздает к отплытию рыбацкого судна, и тогда она с радостью его отпустила, пусть бежит скорее на пристань, только захватит с собой что-то из теплой одежды.

— Мечтала покорить его любой ценой.

— Ты не понимаешь, ее не назовешь властной, она человек очень отзывчивый. И к тому же обожает свою работу, а во время первого же обеда он не дал ей ни с кем поговорить, так что вечером она будет свободна и сможет завязать отношения с группой.

— И в то утро, по приезде, она уже добилась, чего больше всего хотела.

— Это чего же?

— Больше всего ее интересовал постельный вопрос и, едва она своего добилась, ее уже не волновало, что он отлучится. Но ты, конечно, права, другая на ее месте постаралась бы его захомутать.

— Вот именно! В общем, он улетел, одна шхуна уже отчалила, но другая еще стояла у причала. Он не послушался, пошел без теплых вещей, не хотел рыться в чемодане, времени совсем не оставалось. Уже смеркалось, и капитан, только они покинули бухту, достал несколько банок пива, чтобы попотчевать гостя, а он с нетерпением ждал, как пролетят часы и настанет момент, когда можно с жадностью заглотать огромную тарелку жаренных на углях креветок.

— Бедный, то-то он такой пухленький. Из людей с волчьим аппетитом, как и я.

— Но прежде, чем наесться до отвала, он хотел насытиться главным — чистым воздухом моря! Легкие, полные воздуха. Там, на баркасе, он дышал полной грудью, и голова ни к чему, уже не надо корпеть над цифрами и расчетами проклятой налоговой. Только легкие, и ничего больше, морской ветер раздувает их мощным напором, словно расправленные во всю ширь паруса яхты, в дружном согласии с ветром они стремительно несутся по морю. Он даже не боялся, что налетит самый яростный из ураганов.

— Мужчины в большинстве своем — такие, или нет?

— Что ты хочешь сказать?

— Мечтают о воле, безо всяких пут. Вот бы Игнасио был таким же.

— Думаю, большинство — такие.

— Похоже, Игнасио не спутается с первой встречной.

— Нет, если войдет во вкус свободы. Этот говорил нашей, что обожает подставить лицо сильному ветру. В душе, по-моему, норовил сравнить себя с ветром.

— Вряд ли, мне он видится скорее малодушным.

— Именно поэтому, второе "я". Вольный как ветер и совершенно безответственный, все сметает на пути и не оглядывается на разрушения.

— Мы-то не такие, правда, Люси?

— Не какие?

— Ветер нам не по душе. Женщинам. Прическу портит, пыль в дом наносит, окнами хлопает.

— Теперь модно говорить, что мы, женщины, рождены такими же, дикими и необузданными, как они, но нас изменило воспитание. Но чтобы знать наверняка, так ли это, пришлось бы родиться заново. Как ты думаешь?

— Ты обещала пикантные штучки, которые могут меня шокировать. Я все жду, но пока ничего пикантного не было.

— Еще услышишь. А в тот вечер она осталась очень довольна людьми с конгресса, сосредоточилась на всем этом, и они просидели допоздна в дружеском кругу, очень гармоничная группа. Все сплошь единомышленники.

— Конечно, они же там все без пяти минут коммунисты, чего им ссориться.

— Да, но есть некоторые, фанатичнее других. Просто она легла поздно и проснулась в семь утра от солнечного света, еще не научилась закрывать жалюзи, как надо. А он еще не приходил. Она, не теряя ни секунды, вскочила с кровати, если он еще задержится, то можно привести себя в порядок, прежде всего почистить зубы, хорошо промыть глаза холодной водой и снять опухлость век, после сорока это вечный повод для переживаний.

— По твоей интонации уже представляю, как все будет. Давай попробую отгадать: она успела накраситься как нельзя тщательно, а он все не приходил.

— Угадала. У нее страшно засосало под ложечкой, уже больше часа, как она была на ногах, а еще не завтракала. Тогда она попросила принести чего-нибудь в постель. Но ей ответили, что в номерах не обслуживают. И у нее мелькнула ужасная мысль: с ним что-то стряслось в открытом море. Ведь, как ни крути, кораблики эти весьма допотопные.

— Насчет открытого моря — это она тебе говорила, конечно.

— Да, Нидия.

— Видно, что у тебя дома никто не увлекался рыбалкой. Так никогда не говорят, в открытом море ходят только крупные суда, океанские лайнеры. Запомни раз и навсегда.

— Ты уже тысячу раз говорила. Короче, она такая, воображение разыграется, и она заводится с пол-оборота, тревожится без причины. И она пошла на завтрак в столовую, и встретила там кого-то из их группы. Это было в начале девятого, а в девять начинались заседания. И к счастью, она немного отвлеклась, беседуя с коллегами. Да, чуть не забыла, в то утро она заметила на завтраке сидевшую в одиночестве женщину-психолога, португалку, та приехала одна. И в тот день они вместе обедали, ведь обе оказались в одиночестве. И она отвлеклась в этот критический момент, и кофе тоже слегка ее подбодрил.

— Особенно кофе.

— И было, наверное, уже без четверти девять, когда кто-то хлопнул ее по спине, это был он, довольно грязный и небритый. Завтракать он не хотел, рыбаки утром не пьют кофе, в это время они идут спать, а встают часа в три-четыре дня. Все смотрели на него, вид у него был престранный в сравнении с другими — только что из ванны и свежевыбритыми. Она стала все объяснять сидевшим за столом, но он ее перебил и попросил зайти на минутку в номер. Просто он до смерти устал, но был счастлив и хотел просить прощения, что не вернулся раньше. И умолял, пожалуйста, разбудить его в полдень, чтобы вместе пообедать, так как ему надо с ней посоветоваться. И она по тому, как он говорил, вокруг да около, словно пытался извиниться, догадалась, чем дело пахнет, но ты и сама можешь себе это представить.

— Не знаю.

— Такое довольно эгоистичное, угадай.

— Сдаюсь.

— Он этой ночью снова хотел пойти в море с рыбаками.

— Ты хочешь сказать — вечером, что еще хуже. Ни поужинать вместе, ни вообще.

— Вот именно. А она ему говорит, мол, не беспокойся, можешь спать до четырех, у нее к тому времени будет часовой перерыв. А он — нет, пусть разбудит в полдень. Но она заметила, что он говорит это из вежливости. И поцеловала его и пошла на первое утреннее заседание. Она не могла ни на чем сосредоточиться, сердце учащенно билось, мысли неслись в бешеном темпе, но как-то по кругу, по заколдованному кругу, она все пыталась понять, что же творится. С одной стороны, ее радовало, что ему есть чем заняться, что ему не скучно, но, с другой, она чувствовала себя совершенно сбитой с толку. По сути, думаю, она с досадой обнаружила, что совсем его не знает и слишком много ставит на кон, а ведь человек может оказаться последней дрянью.

— Единственный раз в жизни, что я ходила на ипподром, мне вздумалось поставить на лошадь — так понравилось ее имя. И она, естественно, проиграла. Я ж ничего не знала, легкий у нее бег или нет.

— Вот будет здорово, если ты вспомнишь, как ее звали.

— Конечно, помню, звали ее Дон Клементе, как моего свекра, это был самый добрый человек на свете.

— Папа тоже был добрый, Нидия. Жаль, умер молодым, ты никогда не думала, что все было бы иначе, не умри он таким молодым?

— Вот и твой муж, не умер молодым, но вышло даже хуже, бедный Альберто. Как ему досталось...

— Не надо думать о таких вещах, Нидия. Ты приехала в Рио, чтобы забыть обо всем грустном. И мне не напоминай. Она со-

всем скисла, до сих пор все шло гладко, но теперь он снова от нее ускользал, как вода сквозь пальцы. Чем дальше шло заседание, тем больше она падала духом, действительно, расчеты не оправдались, и по работе упускала интересную возможность, никак не могла сосредоточиться, да и с ним ничего не получалось. Она совсем впала в уныние и в полдень, после заседания, пошла в номер за бумагами для трехчасовой сессии, где ей обязательно надо было выступить. Вошла на цыпочках, чтобы не разбудить. И решила больше не пытаться форсировать судьбу. Как она мечтала об этих днях на острове, точнее, о ночах: прогулки с ним при свете луны по пустынному пляжу, и нескончаемые беседы долгими ночами, без электрического света, и времени вдоволь обо всем его расспросить. Тут она мне призналась, что страдает так называемой профессиональной деформацией. Ей известно о пациентах все, до последней тайны, и с ним она хотела добиться того же. Жаждала узнать все, до последнего воспоминания, отягощавшего его память. Все о прошлом, все о настоящем. Тогда она сможет подарить ему идеальное будущее, учесть все его потребности. Но она не знала, каковы эти потребности, или ему просто требовалось сесть в рыбацкую лодку и больше не возвращаться? А что, если она тоже сядет в лодку? Помешает она ему там, в этом мире мужчин, или нет? И потом, у нее своя жизнь, своя работа в Рио, неужели нельзя найти разумного человека и встречаться с ним в конце рабочего дня, проводить несколько часов вместе, как цивилизованные люди? Она вошла в номер и в полной тишине достала бумаги. Но он почему-то проснулся, словно ее учуял. Возможно и так, она ведь всегда пользуется одним и тем же французским экстрактом, сразу после ухода пациентов принимает ванну и пользуется экстрактом. В этом мы с ней одинаковы, я к вечеру, приняв ванну и переодевшись, чувствую себя не совсем одетой, если не спрыснусь капелькой духов. Тут она извинилась, что невольно его разбудила, а он, напротив, упрекнул ее, что не позвала раньше. Лицо у него было жутко заспанное, и он поднялся.

— Он был одетый?

— Она не сказала.

— После целой ночи рыбалки, наверное, помылся.

— Значит, без одежды, Нидия.

— Подробностей она не сообщила?

— Не помню.

— И еще не побрился?

— Она не сказала, это же был очень важный момент по другим причинам, и, видно, она запамятовала детали. Просто он попросил подойти к кровати и сесть рядом.

— Значит, наверно, прикрылся простыней.

— Несомненно. Она села, и он попросил дать ему руку, нет, обе руки, и взял их, обе руки, и сказал, что никогда в жизни не

сможет отблагодарить ее за то, что она для него сделала. Он ведь и правда поверил, что никогда больше не испытает радости в жизни, был убежден, до вчерашнего дня, что никогда не ощутит потребности благодарить Бога за то, что жив, как ощутил сегодня на рассвете в открытом море, прости за выражение, на морском просторе, при виде первых утренних лучей.

— Выходит, радость ему доставило море, точнее, рыбалка. Не она.

— Но она поняла это иначе, да, ее переполняло сильное чувство, она поцеловала его в лоб и выпорхнула в патио. И не в силах сдержать слезы, отыскала в саду уголок, где ее никто не видел. Ей было отрадно, что она осчастливила его, плач рвался наружу, сотрясая грудь.

— Это были слезы радости?

— Конечно.

— Не думаю, Люси. Может, она так и истолковала, но плакала она из-за другого.

— Неужели ты лучше ее знаешь?

— Она плакала потому, что ее волновали любые его слова, но, по сути, получилось некрасиво. Она плакала, сознавая, что она для него не главное, вот и все. Чего ходить вокруг да около? В любовных делах человек нравится или не нравится, покоряет тебя или нет. Почему... кто знает, но результат очевиден, если ты не звонишь, значит, не желаешь его видеть, и чао.

— Погоди немного. Она уняла слезы, и поневоле пришлось вернуться в номер, она забыла там бумаги, да и время уже было почти обеденное. Она снова вошла на цыпочках, но он не спал, наводил лоск в ванной.

— Брился.

— Наверняка. И тут с его стороны последовала романтическая интерлюдия, надеюсь, ты понимаешь.

— Нет.

— В общем, он стал водить по ее телу губами, понимаешь? — но она вырвалась, ей надо было присутствовать на обеде, они там собирались обсудить первую дневную сессию, с трех до половины пятого, где она выступала. Тогда он спросил, освободится ли она в половине пятого, ведь шхуна отходит в полшестого. Да, освободится, следующее заседание с шести до половины восьмого. Тогда они простились, чтобы увидеться позже, и он попросил разбудить его, если заснет, обедать, мол, он не пойдет, лучше поспит еще.

— Он лег в девять, плюс восемь часов сна, девять и восемь — семнадцать, боялся опоздать на шхуну в полшестого.

— И с ней, наверно, тоже хотел побыть.

— Второе меньше, чем первое.

— Продолжаю. На обеде ей было гораздо лучше, удалось сосредоточиться на обсуждении, и потом заседание началось пре-

красно. Было три выступления по двадцать минут, затем без перерыва получасовая дискуссия. Она выступила, и все, сказанное ею, очень всех заинтересовало. Но третий выступающий, венесуэлец, говорил уже тридцать пять минут вместо двадцати, когда председательствующая его прервала. Тут Сильвию бросило в дрожь: программа не укладывалась в отведенные полтора часа. Венесуэлец настаивал, ему, мол, надо закончить выступление, еще пять минут, но на деле оказалось пятнадцать. Было почти половина пятого. Бедняжка сидела как на иголках, готовая прибить венесуэльца, причем тот не сказал ничего нового, в основном нападал на испанца, выступавшего утром, короче, дело было дрянь, все равно ведь после докладов надо проводить дискуссию. А она не осмеливалась сказать, что у нее нет времени, так как в номере ее ждут. Но вмешалось провидение, ровно в половине пятого пришел ответственный за работу столовой и сказал, что надо готовить столы для вечернего кофе, как говорят у них, мы бы сказали — чая. И была маленькая дискуссия, но все перенесли на вечер после ужина, для желающих, и она побежала в номер. Но, проходя мимо бара, возле администратора, увидела его. Он что-то пил, не помню, что она сказала, но не кофе, его в этом баре не подают, или по случаю конгресса все было иначе? Когда я была, кофе там не подавали, в общем, сидел чисто выбритый, переодетый во все чистое. И они сразу пошли в номер. Подробностей она мне не сообщила. А в пять с чем-то он ушел, чтобы не опоздать на шхуну. Она проводила его до причала. И вторая сессия, по ее словам, прошла отлично, никто не вышел за временные рамки, про это ведь сделали объявление, просили соблюдать регламент. А вечером она ужинала с португалкой, та составила ей чудесную компанию.

— А где же обещанные пикантности? Пока вроде ничто их не предвещает.

— Еще увидишь. В общем, тот день выдался у нее поистине дивный, после стольких перипетий все уладилось, он был нежнее нежного и даже, как я сказала, обрел вкус к жизни. И у нее в тот день удачно сложилось с докладом и еще оказалось, что португалка очень приятна в общении, и с этого дня они всегда обедали и ужинали вместе.

— Они обе были единственные незамужние?

— По крайней мере, единственные, кто по вечерам оставался без кавалеров. Там были одинокие мужчины, из участников, но вечером они только и делали, что пили. По ее словам, весьма закомплексованные типы, и лишь хорошо выпив, они принимались ухаживать за обеими, представляешь, как противно. Какая мерзость — выпивший мужчина.

— Сколько лет было португалке?

— Если еще жива, ей примерно столько же, сколько моей соседке, она не уточнила. Но португалка была не разведенная,

как наша, а незамужняя. Любовь у нее порой случалась, да все неудачно, и детей не было. Так что жизнь больше благоприятствовала соседке, чем португалке, у нашей хоть сын есть. Или был. В общем, главное — все сложилось очень удачно и очень быстро, они приехали во вторник и в тот же вечер, а потом и в среду, четверг и пятницу он ходил в море с рыбаками, но не в субботу, это единственная ночь, когда они не рыбачат. И все отлично, ведь в субботу они кончили заседания в половине пятого, не проводили еще одну сессию, с шести с чем-то до восьми, и ему удалось спокойно поспать в сиесту, она его оставила в покое до вечера. И разбудила, чтобы вместе поужинать в гостинице, и только тогда он познакомился с португалкой, а португалка хотела оставить их одних, но они уговорили ее сесть вместе. Он не проронил ни слова, больше всех говорила португалка, она фанатик своего дела и много всего рассказала о психологах Португалии. Но близился час долгожданной прогулки по пляжам при свете луны, и Сильвия напряглась. Она забыла сказать португалке, как лелеяла мечту об этой прогулке. Она-то мечтала гулять каждый вечер, но до сих пор ничего не выходило, надо было успеть в эту субботу, ведь он наверняка захочет и дальше каждую ночь выходить в море с рыбаками, а в следующую пятницу все участники конгресса разъедутся по домам. Но португалка повела себя очень тактично и, когда заговорили о прогулке, сказала, что оставляет их одних. Наверняка ей хотелось пойти с ними, но она вникла в ситуацию. И парочка отправилась гулять, они обошли пешком вокруг острова, я это проделала потом с ней, при свете полной луны, красота невообразимая, можно обойти весь остров за час с небольшим. По сути, это был единственный раз, когда они остались одни и могли поговорить, он все расспрашивал о сессиях, о себе почти ничего не рассказывал. Чуточку о том, как ушел из родительского дома, но, едва дошел до того, по какой причине он бросил любимую девушку и почему снова с ней сошелся, как остановился. Она видела, что он счастлив, словно в раю, и старалась даже не затрагивать особо интересовавшую ее тему, не касаться подробностей его повседневной жизни в Рио. Хотя, конечно, тогда ей больше всего хотелось узнать, почему он бросил девушку в тот вольный период его жизни. И раз уж ты просила пикантные подробности, она сообщила мне одну интимную деталь, весьма неприличную: она вообразила, что в какой-то момент он ее разденет, чтобы увидеть в лунном свете, она страшно хотела, чтобы он увидел, как чудный серебристый свет луны озарит ее кожу, и она станет молодой, свежей и красивой. Но он даже не пытался, и еще она не учла, что ночью может подняться довольно свежий ветер, и тогда захочется лечь в кровать и укрыться потеплее, обязательно ополоснув перед этим ноги, чтобы смыть с них песок. А по возвращении в отель

он пригласил ее выпить по рюмочке чего-нибудь крепкого, а то они слегка продрогли. Мы с ней тоже выпили хорошего коньяку после прогулки. Я не хотела гулять, не из боязни устать, из-за нее, чтобы не ворошить прошлое. Но она жаждала как раз этого – все переворошить, и добилась своего, это был худший момент нашего там пребывания, когда она никак не могла поверить в то, что произошло позже. "Как можно отказаться от счастья, – говорила она, – он же был счастлив в те дни! В этом я уверена!"

– Не мешай все в кучу, расскажи сначала про их поездку, а потом про свою.

– О той ночи мне больше ничего не известно. Они выпили по рюмочке, она очень беспокоилась – как же иначе! – заснет ли он, ведь несколько дней подряд он спал в другое время, но он все равно хотел, чтобы они легли около полуночи, и прекрасно заснул.

– А она?

– По-моему, тоже. Это оказалась единственная ночь, когда они спали вместе. А теперь подходим, наконец, к пикантной части.

– Он не хотел вставать на завтрак.

– Угадала. Проснулся воодушевленный, невероятно счастливый. Он же еще совсем не видел острова! План предполагался такой: пойти на пляж, взяв корзинку с едой, которую готовили в гостинице, пикник в сельве, ведь по воскресеньям в полдень официантов не бывает. Нам, когда мы ездили вдвоем, тоже дали воскресную корзинку.

– Вкусная еда?

– Да, два вида салатов, объедение, ломтики яблока с толченым орехом, и сока из яблока получается довольно много, это один салат, а другой – тертая морковь с дольками апельсина, очень типичное здесь сочетание. Никогда не думала, что морковь так хорошо сочетается с апельсином.

– Я видела рекламу в магазинах соков. Меня от одной мысли затошнило. Но обещаю, в следующий раз попробую.

– Мне из тропических плодов на вкус мало что нравится. Манго и чиримойя довольно противны.

– Ты никогда не любила пробовать диковинки. Заранее относишься к ним с предубеждением.

– Неправда, я раньше никогда не пробовала маракуйю, а теперь все ради этого сока отдам, если с сахаром. Ну вот, кроме салатов еще дают куски хорошо прожаренной курицы, хлеб и десерт.

– Но они встали к завтраку или нет?

– Он не хотел, его одолела жуткая лень, но у нее так сосало под ложечкой, что пришлось сказать откровенно – одной любовью она сыта не будет.

— Будил ее среди ночи?

— Ах, Нидия, такими подробностями она не делилась. Сказала, что, видимо, ему с ней очень сладко, в этом смысле, потому что каждый день, в ту единственную минуту, когда они пересекались в номере, случалось неизбежное. Но про ту ночь ничего не сказала, только что очень хорошо поспали и что он не хотел вставать.

— Люси, извини, ты обещала пикантное. Но в твоем рассказе ничего пикантного и в помине нет.

— Замолчи. Как я говорила, ей до смерти хотелось выпить немного кофе, и они, наконец, пришли в столовую на завтрак. И там же тебе выдают корзинку с сухим пайком.

— Но почему он не хотел вставать?

— Судя по тому, что случилось потом на пикнике, думаю, в то утро они не преминули взять свое до завтрака. Но подробностей она не сообщила. Вот, а в зале, на завтраке, была португалка, и соседка сочла себя обязанной пригласить ее пойти с ними. Всю неделю женщина составляла ей прекрасную компанию, ведь так неприятно искать, где пристроиться во время еды, вроде и одна не сядешь, и не полезешь, куда тебя не зовут. И они пошли втроем. День выдался великолепный, порой сильно припекало солнце, потом очень кстати набегали облака, много солнца ведь тоже трудно вынести. И они гуляли, пляжи кругом были пустынными, ведь почти все участники конгресса отправились в море на катере. Они-то, конечно, не поехали — ему уже хватило мореходства за все эти ночи. А португалка страдала морской болезнью. И они прошли вдоль вереницы маленьких пляжей; я их все видела, сначала один весь белый, другой со скалой, там особенно хорошо рассматривать дно в специальных очках. Что-то меня останавливало, не хотела я их надевать, Сильвия даже слегка обиделась, сказала, мол, глупость — лишать себя подобного зрелища. Так серьезно накинулась, чуть не накричала. И я ей благодарна, в общем, чтобы не создавать ненужного напряжения, я поборола страх и открыла глаза под водой. Красота сказочная! Это скалистое дно, такое разноцветное, а в солнечных бликах от волн рисуются картинки. Что-то неземное. А дальше уже идет сама сельва, и там так здорово в тени, можно сесть и перекусить, когда проголодаешься. В общем, они втроем вдоволь накупались в море, он заплыл довольно далеко, и она испугалась. Она ведь боязливая, есть у нее такая черта. А после купания они перекусили, девушки едва съели по полкорзинки, или того меньше, он смел свое, а заодно и недоеденное ими. И даже без всякого спиртного после еды он как-то весь переменился, принялся болтать без умолку. Уже в воде что-то произошло, просто когда он с ней забрался на скалу и пока они решали, нырять или не нырять, скалы высокие, метра на три или четыре выше, чем...

— Полезли в воду сразу после еды?

— Нет, до еды, он залез на скалы, и уже тогда появились признаки этой эйфории. Он готовился нырнуть, а португалка издали крикнула, чтобы он смело бросался в воду, мол, хочется увидеть эффектный фигурный прыжок. Он прямо зашелся от смеха. Наша соседка не понимала, чего он так хохочет, а он не хотел говорить. И под конец стал объяснять, что чувствует себя красавцем из кино, щеголяющим перед поклонницами. Она ответила, что признает себя поклонницей, но португалка — человек посторонний. А он заливался пуще прежнего.

— Почему?

— Об этом Сильвия его и спросила. А он все смеялся и смеялся. Она была рада видеть его таким довольным, но ее заинтриговал этот загадочный смех. И он сказал, что португалка время от времени поглядывала, куда не следует, когда он отвлекался и смотрел по сторонам. Но он все подмечал, следил за ней. Понимаешь, о чем я, нет? Португалка косилась на его ширинку.

— У мужских плавок ведь нет ширинки.

— Но бедная португалка мечтала увидеть... что под ширинкой, понятно тебе?

— Глаз оторвать не могла, бедняжка. Ну, а его-то что здесь так смешило?

— Что ни с того ни с сего он оказался этаким героем-любовником и, будучи в центре внимания, старался ходить прямее и втягивать живот.

— Как он смотрелся в плавках?

— Я, Нидия, ни разу его не видела, ни в плавках, ни без плавок. А после еды он поведал о ночных рыбалках, и как надо внимательно следить за морем, ведь буря может разыграться в любую минуту, но опытный моряк всегда чувствует ее, бури, приближение. Эти довольно утлые шхуны не могут устоять перед сильным штормом, следует идти к берегу, как только переменится ветер. Он говорил, что больше всего любит это — постоянно следить за дыханием моря, чутко прислушиваться к биению его сердца и угадывать перемены. Море порой вдруг становится бурным, сердце его яростно клокочет, без явной причины. И говорил, что иногда море напоминает женское тело, и надо уметь прислушаться к его ритму, чтобы любой ценой овладеть им, нет, он сказал другое, чтобы уметь предупреждать его капризы. И пока он говорил, португалка слушала его как завороженная, а соседка стала наблюдать, не смотрит ли та куда не надо. И один раз застукала ее на месте преступления. Тут Сильвия повела себя очень странно. Попросила извинить ее, мол, ей надо немного побыть одной, хочется пройтись, остаться наедине с мыс-

лями, те двое аж оторопели, а Сильвия ему подмигнула и убралась восвояси.

— Не верю.

— Она сама себе не верила. Говорит, так стало жалко ту, другую, подумалось, как несправедливо — у одной всего вдоволь, а у другой ничего, и она решила одолжить его на время.

— Но те двое, видно, совсем растерялись.

— Подумай, Нидия, все это происходило в обстановке, отличной от повседневной, зелень ударяет в голову, как спиртное. И Сильвия принялась бродить по округе, снова поднялась на скалу, где ныряли, но оттуда их видно не было. Скажи, пожалуйста: ты когда-нибудь видела, как утопающему делают искусственное дыхание "рот в рот"?

— Нет, к счастью, никогда.

— Очень впечатляет. Когда живешь у пляжа, часто такое видишь. Эти здоровые ребята, спасатели в красных майках, бросаются в воду, завидев утопающего, и уже на песке, если утопленник не реагирует, сгибают его пополам несколько раз, и если он все равно не дышит, открывают ему рот и с силой вдувают воздух. И, конечно, еще больше впечатляет, когда это утопленница, ведь огромный парень располагается сверху, и вообще страшное дело — здоровенный детина возвращает покойницу к жизни. И тут наша соседка спустилась со скалы и дошла до следующего пляжа, не помню даже, как он выглядит, а потом не спеша вернулась, хотела дать им времени побольше. Но вернуться решила неслышным шагом, так неудержимо было искушение подглядеть. А вдруг он возвращает к жизни несчастную женщину, забытую всеми на свете?

— Но португалка не настолько несчастна.

— По словам нашей, был момент, когда лицо португалки вдруг страшно исказилось, на нем проступило полное отчаяние, это когда он говорил о бушующем море.

— Но он же не нарочно, он человек хороший.

— Наша Сильвия чувствовала, что имеет право следить за ними, ведь они не могли с ней не считаться, разве это не ее была идея — оставить их одних? И тут она вдруг поняла, что заблудилась. Она сильно занервничала, не могла найти обратную дорогу к месту, где их оставила. Но и звать их не хотела, чтобы они не насторожились. Решила не терять самообладания, глубоко дышать, не поддаваться волнению и продолжать поиски. Но тщетно, тщетно. И вдруг услышала что-то, ну да, громкое тяжелое дыхание, утопающая задыхается, кто-то борется, ищет спасенья от смерти, смерть задумала тебя утопить, утянуть на дно морское, даже если это прозрачная вода скалистого пляжа, все равно она погубит. Соседка вгляделась, это были они, без одежды, он накрыл португалку собою почти целиком

и целовал, как целовал ее в номере отеля, одновременно пытаясь вдохнуть кислород, которого у него было в избытке, а ей не хватало. Он забрался на нее сверху, но черных плавочек и красной майки спасателя не видно, он был без всего, странное дело, это был человек, которого она так любила, и в то же время — животное, не заслуживающее никакого доверия. Она посмотрела секунду и отступила, чтобы они не заметили, что она их видит. И стала бесшумно удаляться, а много позже сделала вид, будто заблудилась, и позвала их, чтобы они успели привести себя в порядок. А потом заключила их в объятия и сказала, что чудесно прогулялась и выбилась из сил, и втроем они прилегли отдохнуть немного. Она-то, дура, наша соседка, не смогла расслабиться и заснуть, не то что те двое, потом она их разбудила и позвала немного поплавать с ней вместе. И они откликнулись, и плавали все трое, а затем вернулись, ведь без чего-то шесть отчаливала его шхуна. И по словам Сильвии, едва она увидела его сверху той, другой, сразу поняла: он единственный, кто может вдохнуть в нее кислород, которого ей самой не хватает, ведь изо дня в день она тонула и задыхалась, без него ее легкие постепенно заполнялись грязной водой. И в тот вечер на ужине португалка сказала, что в жизни не встречала щедрее человека, а наша ответила загадочной улыбкой и попросила больше не говорить об этом, пусть лучше расскажет все-все о своей жизни.

— Она со всеми обращается, как с пациентами.

— Знаешь, ерунда это. Со мной всё наоборот, я о себе никогда ничего ей не говорю, она еле успевает рассказать о своем, и еще, сама посуди, все повторяет, минимум, раз по десять. А остальные дни на острове прошли по заведенному порядку. Он к вечеру выходил с рыбаками в море, возвращался утром, перед началом ее групповых заседаний, и виделись они, лишь когда она приходила с первой дневной сессии. Тут он ее уже ждал, чисто выбритый и с улыбочкой от уха до уха, ведь близилось великое приключение — забрасывание пустых сетей, каждую ночь одно и то же, хотя, в сущности, всегда страшно, что разыграется буря и не успеешь зайти в укрытую бухту. Португалку он больше не видел, только издали.

— Он где обедал? Ему хватало ночных креветок?

— Забыла сказать, это важно. Со второго дня его выходов в море она сообразила, что он пропускает обеды, ведь днем его больше тянуло поспать. Тогда она поговорила с заведующим столовой, и каждый вечер ему готовили корзинку, ставили в холодильник, и он съедал ее поутру, вернувшись.

— А попить?

— Она приносила ему в номер ледяное пиво. И он съедал все, ничтоже сумняшеся, после душа. И на боковую. А она тем временем шла на свою первую сессию.

— И он верил, что все оплачено — для группы? Или что-то подозревал?

— Она платила за все, до последнего сентаво, он ничего не заподозрил. А в пятницу утром, когда швартовалась рыбацкая шхуна, она ждала его на причале. Скоро отходил обратно другой корабль, с группой на борту, все разъезжались по домам. Она надеялась, что он задержится, тогда они опоздали бы на корабль, и пришлось бы ждать до следующего дня. Но нет, он явился вовремя, а у другой пристани их ждали донельзя пунктуальные автобусы, и ничто уже не могло помешать их расставанию. В автобусе, при виде первых предместий Рио, он сказал ей на ухо, что никогда не забудет этих дней, все благодаря ей.

— И какой взгляд был у него в эту минуту в автобусе? В глаза смотрел или по-прежнему в сторону?

— Она об этом не сказала. Там в автобусе она не удержалась, мол, если честно, то наоборот, это она ему всем обязана и отныне не властна над своими поступками, и нуждается в нем, в его поддержке. И, мол, поздно теперь отступать, а для продвижения вперед... без него ей не сделать ни шага.

— Бедняжка. И правда ведь в нем нуждалась.

— Думаю, эти неумные слова влюбленной женщины ее погубили. Грубейшая ошибка.

— Почему? Отчего не быть откровенной?

— Она ведь больше его не видела. В тот день они попрощались у отеля "Марина палас", конечного пункта автобуса с группой. Она думала, он подвезет ее на такси до дома, в знак уважения, внимания.

— Теперь понимаю, баловнем оказался он, а не она. Бедная Сильвия, она так ошиблась.

— Но он беспокоился, что работы накопилось очень много, на острове даже чемодана не открыл со всеми бухгалтерскими бумагами. У нее остался неприятный осадок от прощания на улице, у всех на глазах. Но на следующий день, в субботу, они собирались встретиться. Он позвонил на следующее утро и сказал, что ужасно отстал с работой, перезвонит днем в воскресенье, как разберется с бумагами. Не перезвонил. Не звонил больше никогда.

— Люси, сегодня телефон звонил долго. Я сама не захотела подойти.

— Почему?

— Неохота было. Теперь жалею.

— Нидия, ты поступила скверно.

— Теперь жалею.

— Больше так не делай.

— Люси, расхотелось мне ехать на этот остров.

— Но он такой чудесный, чем виноват остров, если люди с приветом?

.....
.....

— Люси, звонят вроде. Домофон.

— Сколько там?

— Еще не рассвело... Подожди. Три двадцать.

— Какой-нибудь пьянчуга, в такое время.

— Ответь сама, они моих слов совсем не понимают.

— Подожди минутку... Нидия, это охранник из соседнего дома. Ей плохо.

Глава седьмая

Вручить сеньоре Люси

Рио, два часа ночи

Люси,

Вы были у меня не так давно, и мы говорили о мексиканце, о небезызвестном Авилесе. Я Вам обещала описать, какие у него глаза, взгляд, а потом не сумела ничего Вам рассказать. Возможно, стыдилась говорить некоторые вещи. Как нелепо, мне нечего терять, я повержена, унижена, забыта, я дошла до почти уже невыносимого состояния. Обнадеживает слово "почти". Может, через какое-то время это станет выносимо, и точка. Без "почти". Если это произойдет, я позову Вас, Люси. Мне больше некого побеспокоить. Вам выпала эта неблагодарная роль — соседки-жилетки, кому можно поплакаться. Но, возможно, Люси, я не позову Вас сегодня вечером, ведь может случиться чудо. Вы знаете какое. Может зазвонить телефон. Мой телефон. Сломанный телефон. И я побегу слушать, не то что Ваша сестра Нидия. Но я не прошу чуда. Чего-нибудь помельче, например, возможность описать Вам глаза Авилеса принесла бы мне облегчение. Для этого я взяла карандаш и бумагу.

Даже почерк будто не мой, Люси, мне правда плохо, и рука как не моя, буквы не следуют воображаемой линейке, на которую всегда опирались. Я обычно пишу прямо, без линейки, мои буквы прочерчивают идеальную горизонтальную линию. Нынешняя же нетвердость руки отражает состояние психики, претерпевшей определенные фундаментальные изменения. Просто я утратила что-то основное. Не понимаю, зачем вставать завтра с постели, начинать ежедневный ритуал. Умываться, поднимать с пола газету...

Но мне не хватает ясности, и если я хочу еще что-то сделать в этой жизни, так это объяснить Вам, что значил взгляд Авилеса. Столько раз обещала. Да я и сама желаю понять его смысл. Дайте минутку собраться. Скажем, я входила в университетскую библиотеку, где он работал, и взгляд у него был другой, он сидел с какой-

нибудь книгой или с учеником, способным довести любого, но при виде меня глаза его преображались, без единого слова он говорил, как я ему нужна и что именно меня мечтал он увидеть входящей в огромные двери библиотеки. Понимаете?

По сути, мне не удается объяснить Вам ничего конкретного. Такой взгляд бывает и у нищего, когда Вы подходите и даете щедрую милостыню. Нет, в его глазах было гораздо больше. Подобного взгляда не может быть у человека, созерцающего местность, опустошенную вихрем или исхлестанную проливным дождем, или, хуже того, небо, пронзенное молнией. Такой взгляд бывает у человека, не помнящего или не изведавшего физической боли, не знающего горестных мыслей. Это взгляд человека, забывшего или забывающего в эту минуту все плохое на свете, ведь он смотрит на любимого, точнее, смотрит на того, кто все решит в его жизни.

Не знаю, если кто забывал все плохое на свете, так это я — глядя на него. Такое у меня было ощущение. Он же со мною ничего не забывал, ведь теперь-то уже известно: дело не кончилось добром. Откуда мне знать, что он чувствовал, глядя на меня? Давайте начнем с чистого листа: его взгляд, каким он был? Я Вам говорила, у Феррейры был похожий взгляд, и это правда, взгляд потерявшегося ребенка, но не совсем, не потерявшегося, а так, слегка заплутавшего, и вот он видит человека, который знает дорогу домой, и радуется, успокаивается, обретает умиротворение. Феррейра больше не звонил, Люси. Это тоже по-детски, такое неуважение, такая жестокость.

Но я все запутала. Невозможно проанализировать, угадать, что эти двое ощущали, тот и другой, когда смотрели на меня и заставляли верить в эту сказку. Люси, я верила, будто стоит мне войти, и у них исчезают все проблемы. Очевидно, не исчезали, или я создавала им новый ряд проблем, не меньших и тоже не разрешимых. Новый ряд проблем, но стоило перестать со мной встречаться, и они моментально решались. Или нет. Люси, не знаю, в чем была моя ошибка, я пыталась им помочь, обоим, что-то прояснить в их жизни, не создавать головную боль. Я не просила о многом. Чтобы только виделись со мной. В мои свободные часы, это не так уж часто. Вечером, когда встречаются все занятые люди, вроде нас. Идеально.

В чем моя ошибка? Люси, думаю, Вы со мной согласитесь. Сейчас я это ясно понимаю. Я позволила им увидеть свое отчаяние. Я позволила им увидеть, что присущая мне ранимость в мои сорок шесть лет никуда не делась, а только стала еще ощутимее. Сколько я работала, сколько училась, сколько усилий потратила, чтобы чего-то добиться. Не сидела на месте, старалась приспособиться к разным странам, изучала их, научилась любить не меньше родной Аргентины. И добилась лишь одного: полной зависимости от телефонного звонка, без которого задыхаюсь.

Сижу одна и все надеюсь, вдруг позвонят в дверь, надеюсь, сын напишет, что Мексика ему разонравилась и он хочет вернуться в

Рио, надеюсь, что Вы не выйдете из дома и сможете ответить по телефону, надеюсь, что в худшем случае Ваша сестра ответит на звонок и поймет сложнейшие фразы на португальском. Все, что от меня зависело, я решила, но, когда дело доходит до других, все оказывается под угрозой. Другие не думают меня выручать, им, извините, по фигу. Кстати, что значит "по фигу", наверное, от фиги? Никогда не задумывалась. Посмотрю в словаре. Минутку.

В словаре написано: "Фига — плод фигового дерева семейства тутовых — инжир, смоква, винная ягода. В переносном смысле (просторечное) — то же, что кукиш (*показать фигу*)". Вот я невольно и определила их ко мне отношение. В общем, кроме шуток, для большей ясности, пожалуй, лучше разобраться в том, что я чувствовала, когда их взор обращался ко мне, и баста. О них ничего не знаю, по сути, я так и не поняла, что чувствуют они.

Так вот, Люси, если не возражаете, попробую еще раз прояснить картину с моей стороны. Когда Авилес смотрел на меня, а я в эту минуту обманывалась, думая, что даю ему душевное равновесие, я ощущала... ощущала... Придется прибегнуть к набору смежных образов, я их порой использую на практике с пациентами. И Авилес, и Феррейра ассоциировались в моем воображении с надежной крышей, не пропускающей ни капли, какой бы ливень ни бушевал снаружи. Авилес жил в квартире недалеко от университетского городка, у подножия горы Ахуско, которая притягивает страшные грозы с электрическими разрядами. Я ужасно боялась этих молний, но никто не обращал внимания на мои страхи, это считалось нормальным. В Мехико летом после обеда дождь идет каждый день, буквально каждый, и молнии бьют, куда ни глянь. Как-то утром я прочитала в газете, что молнией убило человека, он шел прямо по проспекту с разделительной аллеей посредине, я всегда его пересекала по пути в квартиру Авилеса. Обратная сторона листьев у деревьев, растущих на этой аллее, — белая, она притягивает электричество.

Он советовал мне не бояться, говорил, что страх притягивает молнии, как белая, почти серебристая, обратная сторона листьев, как же называется это дерево? Я не удержалась и стала следить за информацией о происшествиях в газетах: оказалось, что молния часто убивала людей. Но когда Авилес смотрел на меня, я верила, что молнии не убивают. Хотя он ничего не говорил, понимаете? Говорил его взгляд. Если не бояться, то молнию, попавшую в человека, погасит мед, скажем так, который кое у кого покрывает всю кожу. Сегодня вечером у меня не кожа даже, а шкура. Высохшая, сморщенная, отставшая от кости. Молния обрушивается грозно, свирепо, но нежная, сладкая кожа ее гасит, и все так красиво искрится, как в фейерверке.

Если бы Авилес сегодня вечером не принимал меня в квартире, а повел бы в горы, неподалеку, на жуткий Ахуско, и хлынул бы страшный ливень, что бы тогда произошло? Допустим, он угово-

рил бы меня отправиться в эти выходные на самую вершину горы, в какую-нибудь хижину. Это я так себе представляю, понимаете, Люси? Он заверит меня, что проблем с атмосферным электричеством не будет, сильно промокнув, мы доберемся до хижины, и там найдутся полотенца, а из окна он мне покажет, как сверкают молнии и как они убивают тысячелетние деревья, неизвестно чем, испепеляя их, наверное, и я поверю всему, что он скажет: кто не боится грозы, может выйти и принять их, молнии — родственные нам души во Вселенной, они не опасны для людей с нежной, сладковатой после вечерних ласк кожей. Авилес точно знает все по этой части, рисковать напрасно он не станет.

Сколько лет уже он не смотрит на меня так. В чем моя ошибка? Говорила, что люблю, упрекала за излишнее пристрастие к спиртному, хотела сделать его счастливым, изменить его. То есть совершила все возможные ошибки. А с Феррейрой? Бесполезно ломать голову. Все вышло из рук вон плохо, и больше ничего. Но я несправедлива: рассказала Вам про остров, ни в чем не солгала, но умолчала об одном существенном моменте в этой печальной истории. Постыдилась сказать.

Помните первый раз, когда он пришел ко мне в то субботнее утро? Все произошло, как я рассказывала, но в какой-то момент, еще в постели, за несколько секунд до того, как он достиг кульминации, ему стало плохо. Сильно затошнило, он едва удержался от рвоты. Думаю, и без учебника психологии ясно, что случилось. Приступ вины — столь безудержный, сколь и примитивный. И неприятие меня. Да что угодно. Главное — это случилось. Я у него не пошла, и все, ему от меня тошно. Замутило от меня, как от дешевого пойла или несвежей рыбы. Он для меня стал панацеей, я для него — отравой. Ну не комично ли? Он страшно смутился, слишком очевиден был позыв к рвоте. Я сделала вид, что не замечаю психологической подоплеки, предложила фруктовой соли. Он выпил.

А следующая встреча была на острове, и без потрясений. Теперь Вам все известно. В детстве при отравлении или расстройстве желудка мне иногда давали что-нибудь, вызывающее рвоту, это называлось "ипекакуана", и на пузырьке значилось "рвотное средство". Этот человек низвел меня до положения той самой ипекакуаны, рвотного средства. И не желает возвращаться, ведь это дом, где его чуть не стошнило на раздетую женщину, такую всю из себя влюбленную, а точнее — дуру. Но еще, Люси, я страшно устала. И не могу заставить себя жить без него. Этот мужчина для меня — решение всех проблем. Он дает ответы на все вопросы. С ним я чувствую себя сильной, молодой. С ним мне весело, все кажется интересным, все, если он — часть этого всего. Как редко в жизни я ощущала такое, неоспоримую радость жизни, и я не смирюсь с потерей. Не смирюсь с болью. Принять эту боль — значит, будучи живой, принять смерть. Предпочитаю настоящую смерть. Люси, если мы не увидимся, крепко Вас обнимаю.

— Нидия, тебе получше?

— Более-менее.

— Не пугай меня, пожалуйста. Скажи честно, что ты чувствуешь.

— Общее недомогание. Как когда Эмильсен расклеивалась, так же. Видя, как ей плохо, и я хворала.

— И долго у тебя это длилось?

— Пока она не шла на поправку.

— В клинике сказали, что она вне опасности.

— Тебе надо было остаться с ней, не бросать ее одну, хоть на первые сутки.

— Она не захотела, сколько раз тебе повторять? "Ступайте к сестре", сказала. Так серьезно сказала. Все равно, после успокоительного собиралась спать. А сегодня к вечеру ее уже отправят домой, и все дела.

— Ах, Люси, так неудобно на этой кровати.

— Расслабься, нам бы сейчас немного поспать, а потом...

— Не могу спать днем!

— ...

— "Ты себя береги", — говорила Эмильсен, видя, как я за нее беспокоюсь.

— Ты ведь слышала мой разговор с врачом, после промывания желудка опасность миновала. Так что не переживай из-за этого.

— Какое мне до нее дело? Другие хотят жить и умирают. А она, ей так повезло — она вылечилась! И вдруг устраивает историю с таблетками.

— Думаю, в сущности, она не хотела умирать. Печень отторгла таблетки, она ведь плотно поужинала. Пищеварение еще шло полным ходом.

— Если кто в отчаянии, тут не до еды, Люси. Но на меня все равно это подействовало, не люблю, не могу снова видеть больницу.

— Ты ее больше жалеешь, чем я, с чего бы это?

— В отделении первой помощи или в процедурной, где ты ее видела?

— Не знаю. Ты теперь успокойся и не морочь мне голову. Сейчас она спит, это точно. И нам тоже лучше поспать. К вечеру, если она вернется, мы отдохнем и сможем о ней позаботиться.

— Меня она видеть не захочет. Но все равно, думаю, из клиники ее так скоро не отпустят.

— Желудок не вынес ударной дозы таблеток, и готово, всю вывернуло, это ее и спасло. Иначе быть бы ей уже на том свете.

— Будь ее дом, как твой, без ночного консьержа, она умерла бы.

— Я на собрании кондоминиума просила посадить швейцара, как его тут называют, вполне могли бы сообща платить ему, чтобы не протянул ноги. Но они не хотят, толку нет, говорят, когда последний автомобиль заезжает в гараж, консьерж спокойно засыпает и ничего больше не сторожит.

— Но если из какой-нибудь квартиры попросят о помощи, он проснется.

— Ее всю вывернуло, и без помощи швейцара — она все равно бы спаслась.

— Я тебе скажу одну вещь, только ей не говори. Когда ты звонила в "скорую", я быстренько осмотрела дом и застала швейцара, он доставал что-то из холодильника.

— Это я попросила лед, протереть лоб холодными тряпками, а то она вся горела.

— Это я знаю. Потом он вернулся к холодильнику, видно, заметил еду и что-то хотел взять, но, увидев меня, все бросил. Бедный мальчик.

— Бедняжка, даже от испуга голод не прошел.

— Люси, давно я не бодрствовала всю ночь, а теперь ворочаюсь, никак не устроюсь.

— Хочешь перекусить?

— Нет, Люси. Хотелось бы такого, о чем даже сказать не решаюсь.

— Хочешь прогуляться.

— Да, так чудно на улице, облачно, солнце глаз не режет.

— Ах, Нидия. Сил нет дойти до туалета, куда уж тут одеваться и выходить. Клянусь, давно хочу в туалет, но от усталости не могу пошевелиться.

— Давят на меня стены, Люси, воздух перекрывают.

— Скажи честно, боишься, что у соседки будут осложнения, жалеешь ее?

— Нет. Она сама себе это устроила, чего жалеть-то?

— Что-то ты темнишь.

— Не знаю, Люси. Даже если звонок был от него, думаю, ничего бы это не решило. Если звонил он, наверняка хотел извиниться, а не объявить о своем визите.

— Нидия, теперь послушай внимательно, если он позвонит и ты подойдешь, смотри, не дай маху. Она сейчас была в ясном уме, после промывания, и дала четкие указания: если он позвонит, ничего не рассказывать.

— Это я уже поняла.

— Она теперь его возненавидела, считает хамом. И она права, ни с кем нельзя так поступать, игнорировать, как последнюю собаку.

— Люси, я на его стороне и всегда буду его защищать. Она же сама набивалась. Сама пригласила его выпить кофе, сама потом стала его разыскивать, перевернула все верх дном, пока

не нашла. Сама обманом заманила его в тот отель, уверяя, что все бесплатно. Он ведь ее не обнадеживал, ничего не обещал.

— Ты права, Нидия.

— Все равно, не хочу подходить к телефону.

— Может случиться, что ты останешься на минутку одна, я буду в душе, и позвонит мой мальчик из Швейцарии. Надо отвечать на звонки.

— Как пойдешь в душ, отключи телефон, и все.

— В любом случае, если он позвонит, надо сказать, что ее сейчас нет в Рио, мол, уехала в Сан-Пауло на несколько дней и неизвестно, когда вернется.

— Люси, если заплатить несколько крузадо бедному мальчику швейцару, думаешь, он проводит меня на прогулку?

— Думаю, да.

— Постоянно видишь какого-нибудь старичка на пляже, или старушку, гуляют себе с санитаром или консьержем, он их поддерживает под руку. Мне опираться не надо, просто не люблю гулять одна.

— Мысль неплохая.

— Мальчик, должно быть, уже ушел домой?

— Ах, Нидия, утром никогда его не вижу, видно, он уходит очень рано.

— Когда я застукала его с холодильником, он так посмотрел, сердце перевернулось. Глаза красивые, как у испуганного олененка. Не только вчера у открытого холодильника. Когда ни взглянешь, у него такой вид, словно ты его застала с поличным. И всякий раз, как ты рассказывала о мужчинах соседки, я думала о глазах этого мальчика.

— Никогда не всматривалась.

— Да ты что! Мальчик такой красавец — сразу обращаешь внимание. Я заметила, как только приехала.

— Наверно, в Рио к этому привыкаешь. Таких девушек, как на здешних пляжах, я нигде не встречала. А у парней такие прелестные мордочки. Да! Чуть не забыла. Сильвия еще кое-что прояснила, когда я уже выходила из палаты. Отчаяние по поводу его звонка — тут особая причина: вчера утром она для него передала, чтобы звонил на этот номер, мол, он ей срочно нужен.

— Не понимаю.

— Ну да, она же терпела, не звонила ему все это время, после острова.

— Кому же она передала?

— В одну из тех контор. Домашний номер он так ей и не дал. Это я тебе уже объясняла.

— Нет, Люси, ни разу не говорила.

— Ужасно, правда? Но это так, домашний телефон он никогда ей не давал, вроде как по рассеянности, поди его пойми.

— Я думала, он так беден, что живет без телефона.

— С телефоном, Нидия.

— Значит, держал дистанцию с самого начала. Нахал.

— В общем, после острова она его голоса не слышала. Но когда два дня назад у нее снова сломался телефон, не выдержала, позвонила и оставила этот номер, на случай, если он вдруг вздумает позвонить.

— И еще сказала, что срочно.

— Ну да.

— Значит, это он звонил вчера вечером, когда я не подошла. Нарочно не подошла.

— Откуда ты знаешь? Могли звонить из Швейцарии, даже лучше, что не подошла, сын потратился бы впустую. Хорошо, что не ответила.

— Когда Кука сказал, что вернется?

— Да уже должен был вернуться. Не нравится мне это.

— Не думаю, что его уговорят там остаться.

— Я ничего ему не сказала, что не хочу переезжать в Люцерн, но он догадался.

— Вот ужас, если он тебя внезапно вызовет, и мне придется уезжать из Рио тоже.

— Нет, должен сюда вернуться. Не пугай меня. Может, это он звонил вчера вечером.

— Нет, наверняка этот ее Феррейра.

— Говори честно, сняла трубку?

— Да, Люси. Сняла. Это был бразилец. Только я не очень поняла, что он говорил, и трубку повесила. Так получилось, клянусь, не знаю почему.

— Нидия...

— Занервничала и повесила трубку. Может, фамилию ее назвал, не знаю. Странные были имена.

— Ее зовут Сильвия Бернабеу.

— Плохо я поступила, правда?

— Если она узнает — убьет тебя.

— На меня что-то нашло, Люси, не знаю, зачем я так сделала.

— Хоть бы она никогда не узнала.

— ...Люси! С улицы звонят!

— Так рано? Посмотри, кто там, Нидия, а то я никакая.

— Я не понимаю, что говорят в домофон.

— Сходи, пожалуйста. Вряд ли это он.

— Вот незадача, трезвонить в такой час...

— Люси, ничего особенного.

— Ты спятила, я тебе говорила — никогда не открывай дверь незнакомым людям.

— Я открыла, это был мальчик из соседнего дома. Смотри, что он тебе принес.

— Очки!

— Ничего не упустит, такой внимательный. Ты забыла у нее на ночном столике.

— А чего ты так долго? Он рассказал что-то новое?

— Нет, о соседке ничего. Сказал, что убрал ванную, как ты просила.

— За все время только это и сказал?

— Нет, просто я спросила, не пройдется ли он со мной несколько кварталов. Сейчас. Но он не мог, надо идти спать в одно место, туда после семи не пускают. Вечером сегодня все объяснит. И в принципе согласен прогуляться. Но сейчас должен бежать неизвестно почему.

— Нидия, я сейчас не могу с тобой пойти, правда.

— Неважно, Люси, мне уже легче.

— Я слышала, ты открывала дверцу буфета. Нехорошо, если взяла конфету, тебе нельзя шоколад, если проголодалась, есть фрукты, еще я приготовила тебе сок маракуйи. Можешь попить.

— Нет, я просто вспомнила, там, в буфете, лежат безе недельной давности, и никто к ним не притрагивается. Я дала одно мальчику.

— Правильно сделала, Нидия. Если он придет после обеда, скажи, пусть все забирает. Чистый сахар и взбитый яичный белок, это не вредно, а ты их не ешь.

— Они слегка приторные.

— Зато тебе не вредно, и аппетит перебивают.

— К сожалению, я люблю все вредное. Шоколад, вино, ликеры, яичницу.

— Ой, Нидия, что-то под ложечкой засосало.

— Принести винограду?

— Нет, раз уж так, принеси мне безешку.

Глава восьмая

Люцерн, 8 октября 1987 г.

Дорогая Нидия!

Вот сижу у черта на куличках и пишу тебе. Кто бы мог подумать, еще неделю назад. Полет прошел нормально, к счастью, я настояла на экономическом классе, в хвосте было пусто, любезная стюардесса "Варига" предложила мне занять все пять свободных мест в ряду, и я легла, едва убрали поднос после ужина. Девушка совсем не нервная, и очень воспитанная, как там принято. А здесь, Нидия, люди такие напряженные, даже страшно, чего они такие недобрые, если у них все есть? Особенно женщины. Этой бразильской

стюардессе наверняка, как вернется домой, придется все делать по дому, готовить, растить детей, и она все равно сохраняет доброе расположение духа, и наверняка у нее ни сентаво в банке. Видишь, о чем я заговорила, а надо бы о важном.

В общем, здесь все прояснилось, как ты и предполагала, Кука хочет согласиться на переезд в Люцерн. Это важный шаг в его карьере, но он как-то не мог принять решение, не узнав прежде моего мнения. Бедняжка, я родила его на свет и знаю его лучше, чем он думает. Для меня он прозрачнее стекла. По-моему, бедняга лелеял надежду, что я при виде Люцерна передумаю, такой он красивый, такой аккуратненький.

Нидия, мне так грустно, не могу от тебя таить. Я ведь теперь для него помеха, а он, бедняжка, не знает, как это скрыть. Уверена, он ждал чуда, что мне понравится этот морозильник, этот склеп. Да, Нидия, Люцерн чудесен, но мне 81 год, у меня артроз и все что угодно, чего не спросишь, все есть, в смысле болезней, ты же знаешь. В тепленьком Рио, где люди такие неиздерганные, такие чуткие, услужливые, я еще скриплю потихоньку.

Но клянусь, сил нет выдержать еще один переезд из страны в страну. Не знаю, как поступлю, но там мне оставаться нельзя. Одно дело жить с сыном отдельно, но в квартале друг от друга, как в Рио, если что случится, он через пять минут у меня. А здесь все так дорого, что жить, видно, придется вместе. А мы друг друга не вынесем. Мне полюбилась независимая жизнь, чуть поздновато, но уж навсегда. Ах, Нидия, как счастлива я была в Рио, и не понимала этого.

Не вижу выхода, придется переехать сюда. В общем, ты не волнуйся, я скоро приеду, решать вопрос с квартирой и вообще. Надеюсь, тебе не очень одиноко, но я, правда, так благодарна, что ты осталась присмотреть за моим садиком, не вернулась в Буэнос-Айрес.

Мне понравилось, как твердо ты обошлась с сыном, они боятся оставить нас одних, вдруг что случится, внезапное недомогание, милый инсультик, и некому помочь. Естественно, они так думают. Но нельзя поддаваться, а-то, не успеешь оглянуться, и в туалет одну не отпустят.

Чем хорош телефон — можно говорить категоричнее. А живьем — как посмотришь на их лица, такие озабоченные, в тревоге за твою жизнь, сразу размякаешь, не хочешь видеть, как они страдают. Ты бы посмотрела на Куку, когда мы заговорили о том, как решить вопрос с двумя квартирами в Рио, — аж душа надрывалась.

Я ему сказала, что Люцерн, на мой взгляд, очарователен, но потом он застал меня в слезах, а он смышленый. Да, можно привыкнуть, со временем. Он говорит, тут есть бассейны с горячей водой, где я могу плавать, там, в Рио, с этим трудно, но остальное время мне придется торчать дома все эти холодные месяцы. Их где-то восемь в году. И еще язык... К счастью, есть телеканал на итальянском.

А еще друзья-знакомые. В Рио у меня их немного, но все лучше, чем никого. И соседка очень беспокоит, если ты послушалась меня

и написала мне через три дня после моего отъезда, письмо может прийти уже завтра. Надеюсь, ты не поленилась написать, опять же хорошо — заодно прогулялась до почты.

Не поняла я, чего ты не захотела поехать в аэропорт. Если из-за соседки, то напрасно, она теперь больше тебе доверяет, все бы при тебе рассказала. В машине, при водителе, конечно нет, а в очереди на регистрацию у нас было время спокойно поговорить. Она так благодарна за все твои хлопоты в то утро, когда позвонил этот тип, тебе на роду было написано подойти к телефону! Честно скажу, я в то утро не удержалась, проверила ее квартиру, все ли в порядке, убрал ли сторож всю эту гадость в ванной. Все было идеально, Нидия. Ты права, он очень ответственный парень, никогда не видела у нее такого порядка, как в то утро. Но голос типа не послушала, а мечтала до смерти! Тебе повезло, хотя тебе и дела нет. С души воротит, правда? Хотя признаюсь, зачастую люди бывают симпатичны неизвестно почему. И с антипатиями так же, хотя теперь ты ее больше понимаешь.

Там, в аэропорту, она сообщила новые подробности, ты была права, дома при тебе она сказала не все, но, по-моему, не потому, что не доверяла тебе, просто устала от первого дня работы после перерыва. Подумай, она всего три дня не работала после такой встряски, как промывание желудка. Ты была права, в обморок она упала в пятницу вечером, в субботу оставалась в клинике, но в понедельник, когда он явился к ней, у них все и случилось. Опять. Как ты и подозревала.

Но не пугайся, любовная горячка у нее уже прошла, при тебе она ни капли не лгала, все было так, как ты слышала своими ушами, за исключением главного — у них случился, так сказать, опрокидыш. Позже она раскаялась, что уступила, ничего ведь не чувствовала, все внутри словно оледенело. По ее словам, ты сама слышала, ее глубоко ранила эта обида, даже убила что-то в ее душе.

Ты на что ставишь? Что к ней вернется увлеченность или что они потихоньку перестанут видеться? Держу пари, что потихоньку... к ней вернется увлеченность! Не знаю почему, но у меня такое предчувствие. Хорошо бы! Наивная бедняжка! Может, он даже начнет разбираться в ней и поймет, что она за человек. Да, Нидия, она хорошая, пойми. Или такой мне видится. Я ее люблю, со мной она была очень ласкова.

Подумать только, все в итоге зависело от тебя. Не солги ты, что в понедельник она возвращается из Сан-Пауло, он бы не перезвонил. Хорошая была идея — сказать, что в понедельник она вернется и что должна сообщить ему что-то срочное. Не знаю, как она объяснила насчет срочности. Забыла спросить об этой детали. А это главное. Если она нашла хорошее объяснение, тогда ее женская гордость не задета. Но если ничего действительно срочного не было, кроме желания его видеть, она выставила себя в истинном свете — докучливой занудой. Противно оказаться в такой роли.

Но раз просила передать, чтобы срочно звонил, видно, уже припасла хорошее оправдание, но какое? Не могу себе простить, что не спросила. Но главное — он вернулся, и теперь она благодарна тебе по гроб жизни. Ладно, Нидия, может, мы позвоним раньше, чем ты получишь это письмо. Наберись самую малость терпения и жди меня, я слегка ослабла, а то вылетела бы первым самолетом и вырвала сорняки с корнем.

Ах, Нидия, отчаяние берет от всего этого, жить-то осталось всего ничего, и угораздило попасть в такую передрягу. Расстаться с садиком в Рио — хуже всего, мои папоротники, огромные тигровые листья. А тот, кто купит квартиру, не сумеет за ними ухаживать. Я их поливала, а потом из окна спальни смотрела, как они сияют, подрастают, становятся краше, нежно-зеленые, затем сочно-зеленые, без малейшего оттенка желтого, дают новые ростки, опять нежно-зеленые. Славно видеть, как все растет, поднимается с земли, крепко цепляется корнями.

Кстати, ты на дожди не смотри, поливай щедро, большие листья пальмы заслоняют растения, и дождевые капли недостаточно смачивают землю под ними, на дождь не ориентируйся, лучше проверяй землю, не сухая ли. Прощаться с каждым растением — как умирать заново или ощущать, что они умрут без моей заботы. И мебель такая красивая, куплена на той улице, где продают все подержанное. Дивные вещи, есть настоящий антиквариат. Придется все распродать. Каждая проданная вещь — опять траур. Так мало времени остается для прощания с миром, и все эти "чао" совсем мне не по сердцу, Нидия. Не хочу никаких прощаний. Хочу сидеть спокойно в моем углу, не здесь, где я никого не знаю и никого не люблю. Мой угол там, на одноместной кроватке, с видом на сад, я посадила его шесть лет назад. Сажать новый сад нет времени, особенно в таком красивом, но таком холодном месте, как это. Жутко было оставлять все в Буэнос-Айресе, но тогда я была молода — семьдесят пять лет! Девчонка! А теперь мне восемьдесят один, и я уже не девочка.

Прости, что расстраиваю тебя такими разговорами, тебе же восемьдесят три. И еще горе с Эмильсен. Знаю, я не пережила подобного ужаса, но и меня беды не обошли стороной. Лучше не подводить никакого баланса. Не хочу говорить о неприятном в прошлом, да и приятное в настоящем терять не готова. Но такова жизнь, Нидия, настоящее для меня теперь — этот чудесный город на берегу озера, хоть он мне даром не нужен. Мой садик в Рио — дело прошлого, это очевидно. Как все мимолетно. И видеться нам будет трудно, два часа с небольшим из Буэнос-Айреса в Рио летишь без проблем, другое дело — тринадцать или четырнадцать часов лету. Билет стоит целое состояние, а такого утомительного перелета нам с тобой уже не перенести.

Не хотела говорить, но, думаю, лучше предупредить заранее. Ах, Нидия, ты даже не представляешь, держу пари на что угодно, ты близко такого не вообразишь. Короче, Кука говорит, что мне вообще

не надо возвращаться в Рио, он сам позже поедет и решит вопрос с домом. Это на случай, если сил у меня будет маловато для жуткого перелета туда и обратно. Эх, Нидия, зря я, наверное, тебе это сказала.

И самое обидное, не только садика моего больше не увижу, но и не узнаю, какое у него лицо — у ухажера соседки, какой у него голос, глубокий, как из бездны. Умираю от любопытства, Нидия. Я видела снимки, малюсенькие, не разобрать, какой он. Бедная Сильвия, пусть ей немного повезет в этот раз. Ей бы поменьше занудства, для мужчины хуже нет — терпеть мымру.

Ладно, Нидия, очень я устала, закругляюсь. Видимо, отопление, и окна закрытые. Завтра Кука отнесет письмо на работу и оттуда отправит. Здесь рядом нет почты, надо топать много кварталов. Очень скучаю без нашей местной почты. С большой нежностью, твоя сестра

Люси.

Представляешь, совпадение, вчера вечером, только я заклеила конверт, звонит Сильвия, она уже рассказала тебе мои новости, надеюсь. Сейчас шесть утра, просыпаюсь все раньше и раньше, в Рио в этот час уже приносили газету, я прочитывала ее целиком, пока светало. Португальский шел легко, и всегда печатали новости из Аргентины. Теперь даже газету читать не могу.

Кука возьмет письмо на работу и отправит оттуда. Жаль, соседка не догадалась поговорить с тобой до звонка, сообщила бы что-то о тебе. Но она такая, вздумалось — позвонила. Она такая, тратит не глядя. Вот я очень хочу с тобой поговорить, а ухнуть столько денег не решаюсь, в голове не укладывается, мы были воспитаны иначе, и тогда имело смысл сэкономить хоть песо. А теперь, с этой инфляцией ни на что не скопишь, потому, видно, люди и швыряют деньгами, как ненормальные.

Я никогда этим не грешила, да и цены здесь так задраны, что порой смех разбирает. Вот разорвала конверт, дописать эти строки, а чувство, будто разбазарила целое состояние — ты даже не представляешь, сколько стоят конверт и бумага! Ну и гадость эта Европа, все втридорога!

Надеюсь, повесив трубку, она позвонила тебе и рассказала мои новости. Сказать ей было почти нечего, ты не думай, будто она от тебя что-то скрывает. На выходные она специально согласилась поехать за город, и не знает, звонил он или нет. Это ее, видно, уже меньше волнует, сейчас она твердо стоит на земле. Ты меня убьешь, но я забыла спросить, чем она объяснила срочность звонка. В общем, мне правда показалось, что наступает разочарование. Шарик прокололся.

Я не дипломированный психолог, но, по-моему, она так воодушевилась потому, что он сначала очень в ней нуждался и она помогала ему выбраться из глубокой бездны. Она такая, обожает помо-

гать людям, отсюда и рвение в работе. А когда ситуация изменилась и он стал ходить на рыбалку, все рухнуло. В этом дело? Время покажет.

Не забывай соблюдать режим, а то ты теперь без моего надзора. Целую,

Люси.

Еще вот что. Перечитала письмо, проверяла, не забыла ли чего, и вижу, не письмо, а тоска зеленая. Бывает, скажешь, а сама так не чувствуешь, я не боюсь смерти, как может показаться из письма. Мне неважно, умру я или нет. Клянусь. Только ужасно грустно от расставаний. Еще одного не перенесу. По-моему, смерти боятся те, кто верит в иной мир, боятся преисподней. А я не верю, все здесь кончается, и привет.

Не представляю, что еще делать в ином мире. Скажи честно: тебе хочется, чтобы был иной мир или нет? Думаю, и тебе не хочется, никогда ты этим не обманывалась, а то бы не страдала так из-за Эмильсен. Кто-то может обманываться, но не мы. Конечно, было бы славно опять увидеть маму, но клянусь, в душе я совсем не верю, не могу надеяться, что снова обниму маму. Жизнь учит: надо радоваться хорошему, пока оно есть, и не страдать, когда оно кончилось. Мама — то хорошее, что выпало нам в жизни, и надо радоваться, что она у нас была. Тщетно мечтать о невозможном, думаю, это не помогает, в нашем-то возрасте, ты как считаешь? Еще раз пока.

Рио-де-Жанейро, 15 октября 1987 г.

Дорогая Люси!

В полдень пришло твое письмо, я не успею на почту после обеда, как ты помнишь, их вынимают в пять, а уже четыре. Чуть не пропустила сиесту, хотела ответить поскорее, но после обеда страшно потянуло в сон. Слежу за собой намного больше, чем при тебе, просто мои, в Буэнос-Айресе, рвут и мечут, что я не хочу возвращаться и сижу здесь одна. Они в ужасе, вдруг ночью что случится, и мне никто не поможет. А я хочу дождаться тебя.

Дважды звонили, не верят, что я решительно настроена оставаться. Все не могут поверить, требуют, чтобы я вернулась во что бы то ни стало. К счастью, Люси, человек я независимый, в плане материальном, сама себе хозяйка и вольна делать, что вздумается. Не хочу держать их в вечной тревоге, но придется им потерпеть. Если бы там начиналась зима, они бы и слова не сказали, но сейчас там тепло, холода ушли, а холод — мой главный враг. Так что не беспокойся за свои растения, буду смотреть за ними, пока ты не вернешься.

Ближе к ночи мне особенно одиноко, но страха нет вообще. Ведь в двух шагах этот надежный мальчик. Его зовут Роналду, и он до сих пор ни разу меня не подвел, приходит каждый вечер ровно в шесть и провожает на прогулку. Он очень словоохотлив, и я все понимаю. Уловил, какая между нами двумя разница, ты знаешь португальский намного лучше, но страшно туга на ухо и не хочешь этого признавать. Я же наоборот, слух у меня тончайший. Он иногда принимается стрекотать, и тут я не понимаю ни бельмеса, но, если говорит медленно — никаких проблем. Он счастлив заработать свои сентаво, а я чувствую себя богачкой, расхаживаю со спутником туда-сюда.

Думаю, человека видно по лицу, на вид он хороший, да и по сути хороший, принес фото жены, красивая девочка, пухленькая, совсем белая, а он, сама видела, какой темный. Странное дело, Люси, видишь его днем, и кажется — мулат мулатом, чернее черного, а вечером глядишь: черты лица, как у белого, а кожа темная вроде как от недостатка света. Обожаю курносенькие негритянские мордашки, круглые личики, но у него красота другая, тонкий овал. Ты должна признать, Люси, мальчик он прелестный.

Я посмотрела на других, кто там с кем гуляет, один со старичком в кресле каталке, мы их всегда с тобой видели, другой при старухе с палочкой, есть еще, все в безупречной форме медперсонала, но по виду ни одного, как мой. Конечно, в белой форме он был бы неотразим, но это большая трата, а долго ли я останусь — неизвестно. Так не хочется уезжать, Люси. Ты права, Рио — это сказка.

Слушай, Люси, я тут задумалась над твоими словами об ином мире. Не знаю, что и сказать, никогда об этом не думаю, даже в голову не приходит. Ты, наверное, права, надо радоваться хорошим минутам в жизни, и все. Пойми, не знаю, не хочу лгать, в глубине души вроде думаю, как ты, только не могу ясно выразить словами.

Давай лучше расскажу еще об этом парне. По-моему, его семейные беды помогают мне смириться с судьбой. Мальчик с северо-востока, оттуда, где не было дождей, помнишь? Или ты уже заделалась европейкой? Ну вот, теперь снова пошли дожди, но там кругом нищета, поэтому почти все сторожа в Рио оттуда, и многие служанки — тоже. Работы там нет. В общем, они с женой приехали несколько лет назад, он так и не нашел работу с жильем, чтобы жить с семьей. Вечно был на подхвате, крутился, мыл полы и выполнял самую грязную работу, у таких жилья нет, лишь закуток в подвале, где спят другие младшие уборщики, их там по нескольку человек, а днем спит еще ночной сторож, и, конечно, туда никого нельзя привести жить, из родственников.

В общем, поэтому жена устроилась прислугой в здании напротив, но туда он тоже не мог пойти спать, там две служанки жили в одной комнате — она и нянька. Вот так они и жили года два, спали порознь. Ее по вечерам отпускали в город, но денег на отель не было, ты понимаешь, о чем я, в общем, жизнь они вели полную лише-

ний. И в один прекрасный день она вернулась, как они это называют, на Север, не говорят северо-восток. Уехала и поселилась у его матери, в деревне. А ему надоело бесконечно таскать ведра и орудовать тряпкой, он на какое-то время пристроился каменщиком, а затем пошел в ночные консьержи, ее все равно уже не было, чтобы встречаться по вечерам.

Платят одинаково, хоть вкалываешь целыми днями, хоть сидишь, бьешь баклуши ночи напролет. А почему? Я спросила, он сначала не отвечал. А потом признался — опасно! Ночью ведь может случиться налет, и охраннику, как правило, достается. Даже если не сопротивляться, злодеи иногда убивают его, чтобы он их не опознал, когда полиция начнет показывать ему фотографии из досье.

Знаю, ты, должно быть, думаешь, что у него такое лицо, когда идешь вечером мимо, от страха перед налетчиками. Но если хорошо разобраться, это не так, от страха глаза не такие. Всякий раз, как ты говорила про глаза ухажеров соседки, я думала об этом парне, он меня поразил с самого моего приезда в Рио, именно глазами. Они у него большущие, и вроде как он всегда что-то вспоминает, и тень стоит в глазах от невеселых мыслей. Лицо у него правильной формы, носик прямой, лицо неширокое, утонченный такой овал, глаза занимают пол-лица, и в них тень, не только от ресниц. Так странно — откуда эта затененность? Ах, Люси, откуда ж еще? От грустных воспоминаний, не иначе! Для тяжких воспоминаний не обязательно доживать до восьмидесяти.

Он путанно объяснил, почему жена вернулась, а она оказалась в положении. И там, в доме у свекрови, родила дочку. Он остался здесь. Они не виделись несколько месяцев, и он не выдержал, так хотел повидать девочку, бросил работу, в ту пору он драил полы и все такое. И пробовал прожить там, у матери, за счет урожая с ее клочка земли. Но им не хватало. И, по его словам, началась эпидемия пневмонии. Никогда не слышала, что бывают эпидемии пневмонии, это ж не заразно, правда? Не знаю, что он имел в виду. В общем, малышка, в полгодика или больше, у них заболела, ее сразу отвезли в больницу, но ничего нельзя было сделать, понимаешь? Он потом вернулся в Рио один. Думаю, все из-за недоедания. И с тех пор он жену не видит, но она постоянно ему пишет, красивый почерк, ты бы видела, хотя я не очень разбираю.

А вечером он сидит на своем посту охранника, видит проходящие парочки, целые семьи, кому посчастливилось быть вместе, а у него шаром покати, ни крыши над головой, ни кровати для сна. В этом основное неудобство дома Сильвии, есть только квартирка для консьержа, в глубине гаража, а для бедного мальчика нет ничего. А теперь угадай, где он спит. Сначала он отвечал уклончиво, но вчера наконец сказал правду — на стройке! Мы прошли в ворота, я глазам не поверила. Похоже, строительство наполовину заморожено из-за нехватки денег, они там что-то делают, но без спешки, леса до последнего этажа, там наш горемыка и спит днем, пока ос-

тальные ходят вокруг, работают, сама понимаешь, вряд ли они там большие молчуны.

А я еще жалуюсь, блаженствуя в отдельной квартире, живя в свое удовольствие. Это у них большая проблема, крыша над головой, сама видишь. Сколько нищеты в такой богатой стране! Но мы несчастнее, из-за зимы. Ладно, не знаю, придет ли письмо раньше твоего приезда сюда, посылаю на всякий случай. Ты сиди спокойно, поправляй здоровье, не вздумай ехать, если чувствуешь, что сил маловато, я тут отлично управляюсь, цветочки политы, и я всегда проверяю землю, не волнуйся, смотрю, не сухая ли. Конечно, и грязь разводить ни к чему, а то корни загнивают. Повторяю, делай все без спешки, я отсюда не сдвинусь, даже если наши из Буэнос-Айреса усилят нажим.

Нежно обнимает тебя, твоя сестричка

Нидия.

Инж. Альфредо Мадзарини, Францезишештрассе, 8
Люцерн, 21 октября 1987 г.

Сеньора
Сильвия Бернабеу
Руа Игарапава, 126, Рио-де-Жанейро

Уважаемая Сильвия!

Пишу по весьма печальному поводу. Знаю, с мамой Вас связывали очень теплые чувства. Мне нелегко излагать это на бумаге и извещать Вас таким образом. Мама умерла пять дней назад, в прошлый понедельник 16-го числа, от остановки сердца. Одно положительное в этой трагедии — она совсем не страдала, думаю даже, не заметила, что конец близок.

Я провел с ней всю субботу и воскресенье, решили остаться дома из-за непогоды, сильного ветра и проливных дождей, беседовали обо всем, что нас беспокоило, я имею в виду, разумеется, переезд. Мама была очень спокойна и решила не оставлять дом в Рио, она уже свыкалась с мыслью о жизни в Швейцарии.

В понедельник утром я проснулся как обычно, в восемь утра, чтобы быть на работе в половине десятого. Мама по обыкновению уже встала, даже позавтракала. Почти собравшись, я зашел на кухню подогреть слегка остывший кофе, когда услышал, как мама из своей комнаты говорит, что немного устала и прилегла. Я пошел спросить, что с ней, а она уже не дышала, откинувшись, руки будто гладили подушку, в полном умиротворении.

Врач пришел моментально, сосед, но я уже понял, что мама ушла из жизни. Простите, Сильвия, что не известил по телефону, из нижеследующего Вы поймете, как сложна наша семейная ситуация, и именно поэтому я предпочел данный вид связи.

Маму не вернуть, и я это знаю лучше других. Но есть весьма деликатная ситуация с тетей Нидией, мы решили ей ничего не говорить до ее возвращения в Буэнос-Айрес, если она еще не вернулась, когда Вы будете читать эти строки. Когда с мамой это случилось, я, естественно, связался с родными в Аргентине, прежде всего, с моим двоюродным братом Эухенио, сыном Нидии, и с ее зятем Игнасио.

Вы, наверное, в курсе, какие у моей тети проблемы со здоровьем, бедняжка хотела любой ценой поехать в Рио и побыть с мамой, вопреки советам врачей, несмотря на свое высокое артериальное давление. Она так настаивала, что ее замысел поддержали, учитывая, что зима в Буэнос-Айресе не пойдет ей на пользу. Моя бедная тетя в прошлом году потеряла дочь и поэтому жаждала общества мамы, как никогда раньше.

Просто эта бедная сеньора восьмидесяти трех лет находится, или находилась, надеюсь, она уже вернулась, в городе одна, не зная даже языка, и есть вероятность, что она узнает о кончине единственной сестры косвенным путем. Сын ее в отчаянии — он говорил с ней по телефону, тетя Нидия категорически отказалась возвращаться в Буэнос-Айрес. Возможно, мы нашли не очень подходящее объяснение, признаюсь, идея была моя: я предложил кузену сказать, что мама не вернется, я сам поеду через несколько недель решать вопрос с квартирой, и ей нет смысла ждать одной в Рио. Но ответ был безапелляционен: чувствует она себя отлично, в процессе полного укрепления здоровья, по словам кузена, именно так и сказала. Полное укрепление!

Довожу ситуацию до Вашего сведения, зная, что Вы движимы высоким духом человечности, и надеюсь на Вашу поддержку. По меньшей мере, мы хотим, чтобы Вы все же знали правду и не строили догадок о странности ситуации. Кузен надеется, что тетя станет тяготиться одиночеством и решит вернуться, если еще этого не сделала. По-моему, это характерно для данного возраста, сначала некоторое упрямство, потом оно уступает доводам разума. Ее основной аргумент — она должна ухаживать за растениями в мамином садике.

В общем, пишу Вам, и мне уже лучше, даже почти убедил себя, что тетя будет в Буэнос-Айресе, когда Вы прочтете эти строки. Ведь единственное логичное объяснение поведению тети — ее неверие в то, что мама в Рио не вернется, она все еще ждет ее, просто не приемлет мысли о потере сестры с переездом в Швейцарию. Насколько хуже реальность! И ее сын очень боится эмоционального шока, если открыть правду, пока она одна в Рио, он даже подумывает, не поехать ли самому за ней и сказать все лично.

В заключение шлю Вам привет и заранее благодарю за всяческую помощь. А при возникновении особых проблем без колебаний звоните мне за счет вызываемого. Примите заверения в искренней дружбе.

Альфредо Мадзарини.

Люцерн, 27 октября 1987 г.

Дорогая тетя Нидия!

Как поживаешь? У нас тут кое-какие проблемы: мама все еще недомогает и должна соблюдать постельный режим. По этой причине она не пишет, как я объяснил тебе вчера по телефону. Извини, что я был не очень многословен, просто не ожидал твоего звонка, у нас сейчас разница с Бразилией четыре часа, и в это время я уже спал. Потом, как ты знаешь, тарифы из Бразилии очень высоки, много выше, чем при звонке отсюда туда. Я не дал тебе маму, потому что она спала, да и совсем потеряла голос, как я уже сказал. Как бы то ни было, для меня большая радость слышать твой голос и знать, что ты очень довольна.

То, что Рио пошел на пользу твоему здоровью, радует, но еще и беспокоит, я ведь тебе объяснял, что мы хотим решить вопрос с квартирой. После первой заминки со здоровьем мама почувствует себя отлично в этом климате, врачи заверили ее в этом, и я поеду все там ликвидировать к новогодним праздникам, тем более что здесь офисы закрываются на две недели.

Мама передает, чтобы ты не беспокоилась о растениях, к сожалению, ждать ее уже бесполезно, а не пишет она потому, что ей прописан полный покой. Нас обоих, ее и меня, беспокоит, что ты там одна, и мы прекрасно поймем, если ты немедленно вернешься в Буэнос-Айрес. Более того, нам будет гораздо спокойнее, если ты сделаешь это как можно скорее.

По любым практическим вопросам обращайся к моей бывшей секретарше Терезе, она очень толковая, с удовольствием забронирует билет и отвезет тебя в аэропорт. Служебный телефон 511—10—49, домашний 287—86—15.

Ладно, тетя дорогая, крепко тебя обнимаю. Если к концу года смогу быстро все решить в Рио, выставить квартиры на продажу и прочие дела, заскочу в Буэнос-Айрес. Надеюсь тебя там увидеть, с большой любовью, твой племянник

Кука.

Рио-де-Жанейро, 4 ноября 1987 г.

Дорогая Люси!

Вчера получила твой ответ, точнее Кукин. Такой коротенький! Только села читать, и уже конец. Твой следующий ответ пусть будет вдвое длиннее, я уже предвкушаю: лето, письмо от тебя придет

к полудню, я его получу, сяду в прохладе сада, политого с утра пораньше, и в тени пальмы буду помирать со смеху от твоих рассказов о тамошних холодах.

Сама виновата! Нечего липнуть к сыну, как тянучка. Пошли его подальше! Бери пример с меня, вот я эмансипировалась, как говорит мой младший внучок, он жаждет эмансипироваться от старших братьев. Всегда это повторяет, а то умоляет взять его с собой, а те ноль внимания, к чему им малышня. Постоянно говорит: бабушка, вот увидишь, очень скоро я эмансипируюсь.

Теперь отдельно о твоих благословенных растениях: они в порядке, шел дождь и отлично промыл листья. Вот упомянула тянучку, и слюнки потекли. Теперь, Люси, я одна, готовлю всего ничего, пищеварение работает, как часы, но целыми днями думаю о еде. Это типично для вечно голодных. Тему постоянно поднимает этот парень, Роналду, очень меня забавляет разговорами о еде, все хочет, чтобы я приготовила блюдо с Севера, как он говорит, а они, по-моему, неудобоваримы. Но убедил меня сделать рыбу на углях, очень полезную, без подливы, ее можно добавлять по желанию. Такая она пикантная, в смысле острая.

Знаю, ты ждешь не дождешься, когда я расскажу о соседке, о ней я подумала, когда выше написала слово "пикантный". Ты не представляешь, какие у меня новости. Давно я так не смеялась, но мальчик рассказал такое, в общем... ты не поверишь, меня такие вещи смешат, но, видно, все правда, зачем мальчику врать?

Смех разбирает, ведь мы, особенно ты, очень переживали из-за ее одиночества. Ну вот, мальчик проникся ко мне доверием и взял слово, что я тебе не расскажу, но, короче, там вдали ты все равно никому не разболтаешь, так что рассказываю без угрызений. Итак, держись, не падай, помнишь, ты говорила, что у нее было два ухажера? Я про аргентинца, торговца химикатами, и серфера.

Так вот, Люси, неправда, что она больше их не видела. Они к ней наведываются поздно ночью! Не вместе, конечно, это было бы слишком. Захаживают нечасто, через пень колоду, примерно раз в полмесяца. Роналду сказал, что один из них серфер, тут нет сомнений, а у второго акцент, как у нас, он в разъездах, и иногда привозит ему что-нибудь с Севера, тамошние приторные сласти. Он иногда является поздно, швейцар уже в полудреме, и, чтобы подольститься, приносит гостинец, как бы на чай.

По словам мальчика, эти двое всегда ходили, он не помнит, чтобы она долго никого не принимала. Просто ухажеры залетают к ней поздно, и никто в доме их не видит, вот она и слывет серьезной. И я спросила, захаживали ли эти типы при сыне, а он ответил, что она сама спускалась, встречалась с серфером на углу и садилась с ним в такси, а у другого была своя машина.

Куда ж они могли ездить? — спросила я Роналду, спрашиваю как бы рассеянно, а сама думаю: видно, ехали в один из модных баров, или ужинать туда, где поздно закрывают. А мальчик говорит: езди-

ли в отель! Так и сказал, хотя, если честно, не думаю, чтобы он знал наверняка. Но это самое вероятное.

А мы за нее беспокоились. И это не все, есть еще один, ходит время от времени, но по описанию бразилец и возраста довольно неопределенного, так что может быть кто угодно. Знаю, ты скажешь, мол, тот самый Феррейра. А вот и нет! Другой! Феррейру-то мальчик давно вычислил, и он больше не приходил, после того понедельника, когда возник благодаря мне. По крайней мере, вечером не приходил, да и она о нем больше не упоминала. Мальчик его никогда не видел, но знает, я же описала — лысый и с животиком.

Эти типы ночевать никогда не остаются, уходят через пару часов после прихода, по подсчетам мальчика. И когда сын был в Рио и они встречались вне дома, она никогда не возвращалась позже двух ночи. Так вот, Люси, выиграла я пари, говорила — ветреная она бабенка, ставила что угодно, жаль, играли не на деньги, ободрала бы тебя как липку.

И это еще не все, позавчера она звонила, спрашивала, как я, надо признать, ко мне она очень внимательна, а я сразу заговорила про Феррейру, пока она не повесила трубку. И она сказала, что больше он не звонил, она всегда его вспоминает, но звонить не думает, ясно же, что дело не заладилось. Тут я повела себя довольно смело и спросила, почему, на ее взгляд, он пошел на попятный. А она глубоко вздохнула и заявила: что-то, видимо, готовится, у нее предчувствие, скоро будет сюрприз; она ощущает это, сюрприз может оказаться весьма приятный.

Если наберусь духу, попрошу Роналду разузнать немного о том таинственном незнакомце. Но вернусь к разговору с соседкой, она призналась, что, когда кто-то начинает ей очень, ну очень нравиться, она всегда приходит в ужас, знает, дело добром не кончится. Хотя все равно не жалеет сил, чтобы выиграть битву, никогда заранее не сдается. Бедная девушка.

Извини, больше у меня нет о ней новостей, если честно, она приглашала вечером зайти поболтать, но в это время у меня уже нет сил. Сейчас объясню. Просто мальчик так меня расстроил рассказом о своей семье на Севере, что я решила отвлечься, купила ткань и шью кое-что для его жены, бедная девочка. А после шитья и прогулки с ним под вечер топлива у меня в баке остается маловато, а к ночи тянет в сон. Я это придумала, потому что на днях мальчик страшно разругался с управляющим дома и хотел вернуться на Север, все бросить. Вроде он невежливо ответил кому-то из жильцов, управляющий потребовал извинений, а мальчик отказался.

Он это рассказал, когда зашел вечером прогуляться со мной и заодно попрощаться, хотел уезжать на Север, вот голова садовая, его сбережений едва хватит на билет! И ни сентаво, чтобы отвезти жене и матери. Тогда я ему сказала, пусть объяснит все твоей Сильвии, она должна хорошо знать, что за человек его довел. Сказано — сделано. Она сразу поговорила с управляющим и четко объяснила,

что речь идет о наглом жильце, хорошо известном в доме своей вздорностью и спесью.

Ну вот, когда мальчик надумал вернуться на Север, мне пришла мысль сшить что-то для девочки, его жены, но, если честно, я не успевала. К счастью, все уладилось, мальчик не уезжает, а она, возможно, когда-нибудь и сама приедет. Почему бы и нет?

Ладно, завтра черкну еще пару строк перед походом на почту. Кстати: стоит жара и тигровые листья могут поникнуть, если их к вечеру не поливать как следует. Поэтому я в полшестого, перед тем как собраться на прогулку, поливаю их прохладной водой. Помимо классического утреннего полива, конечно. А возвращаюсь с прогулочки, они уже в лучшем виде — распрямились. До завтра, тогда добавлю еще строчку другую.

5 ноября. Вечер вчера выдался суматошный. Звонили из Буэнос-Айреса в страшном беспокойстве из-за моей задержки с возвращением. Знали бы они, что с каждым днем меня все меньше туда тянет! Оказывается, ближе к Рождеству мест в самолетах не будет, и они хотят, чтобы я бронировала билет уже на следующую неделю. Нашли ненормальную. Масик ужасно занервничал, собрался ехать за мной, вдруг я боюсь лететь одна. Но больше всего их волнует, что я ночью одна, вдруг со мной что случится. Короче, я обещала кого-нибудь подыскать. Была у меня мыслишка, но давай сначала расскажу о втором вечернем звонке. Видишь, я тут нарасхват.

В общем, очень меня расстроил звонок Масика, я уже собиралась взять бумагу и ручку, выложить ему все начистоту, но тут зазвонил телефон. Было почти десять вечера, я, конечно, сперва подумала о тебе, но прикинула, что у вас там часа два ночи. И лучше уж не от тебя, ведь в два ночи не звонят с добрыми вестями. Вторым, о ком я подумала, был Феррейра, но оказалось, и не он. Это была твоя Сильвия!

Звонила в кислом настроении, звала зайти поговорить. Причем не без настойчивости, ну я и пошла, тем более она прислала за мной Роналду, а потом он еще, такой любезный, проводил меня обратно. Ах, как жаль мальчика, сидит всю ночь один-одинешенек в холльчике у входа. Жалею его больше, чем психологиню, хотя нет, она тоже бедная-несчастная.

Рассказываю: звонила она потому, что одиноко, временами, говорит, накатывает отчаяние, но теперь она яснее видит всю картину. Больше всего тоскует по сыну и сейчас привыкает к мысли, что он уехал насовсем и не вернется. А теперь держись крепче: сказала, что снова стала встречаться с прежними ухажерами. И понимает теперь, насколько практичнее в ее возрасте и с ее профессией видеться с людьми просто так, без лишних для нее обязательств. Хотя в какой-то момент уставилась на меня и выдала странную вещь: мол, это все слова, но если он вернется и предложит полностью переменить их жизни? Тогда она готова на что угодно. Он же теперь обладает такой огромной властью над нею.

Но в целом выглядела она неплохо и, наверное, сегодня утром проснулась в еще лучшем виде, ведь пока мы вели беседу, меня уже сильно тянуло в сон, зазвонил телефон, она ответила по-португальски, то ли серфер, то ли наш неизвестный, и было ясно, что они договариваются о встрече, не откладывая в долгий ящик. Тут мне пришлось уйти, из тактичности, не спросив, как собиралась, совета: не порекомендует ли она знакомую девушку, служанку, из ее дома или из нашего, чтобы подрядилась ходить ко мне ночевать. Неплохая идея, правда?

Если честно, я пока не думала никого приглашать. Но после звонка Масика решила доставить им хоть эту радость — пусть знают, что я ночью не одна. А теперь расскажу кое-что, чем я очень довольна, меня осенила фантастическая идея. Смотри, Люси, вы же будете продавать квартиру, или даже лучше сдавать, пока поймете, как идут дела в Швейцарии. А кому лучше сдавать, как не мне? Климат мне в самый раз. И я подумала: мальчик из соседнего дома мог бы привезти жену и прекрасно поселиться в другой комнате, теперь без тебя я туда совсем не захожу, с тобой мы каждый вечер смотрели там кино.

Я перенесла телевизор в нашу комнату, видеомагнитофон не стала, хоть заставлю себя смотреть здешнее телевидение и практиковаться в португальском. К счастью, слуха я не утратила и, надо сказать, с каждым днем понимаю все больше. Опять же — тема для разговора, если кого встречу, ведь любая здешняя сеньора смотрит вечерние телесериалы. Я с ними говорю по-испански, но они все понимают, и мальчик тоже, хотя с ним я не стесняюсь и смело несу любую ахинею на португальском.

Но с его женой хотелось бы говорить получше, мы бы обстоятельно беседовали. Все забываю спросить мальчика про это северное рукоделие — кружево! Умеет ли она его плести? Вот было бы здорово научиться у нее тому трудному стежку, по телевизору показывали короткий сюжет, вкалывают уйму иголок в такой матерчатый мячик, и узор получается — красотища. Я довольно много поняла из этой кинохроники.

Ох, я безголовая, ты же сама мне советовала смотреть понемногу телевизор на португальском и учиться. Я и слышать не хотела, помнишь? Просто в первые приезды очень робела перед новым языком. Но другой комнатой я не пользуюсь, так что пусть там устраиваются и спят, даже кровать покупать не надо, там диван, он раскладывается в двуспальную кровать. Потребуется еще одно одеялко. На двоих — но не на троих.

Я мальчику еще ничего не говорила, чтобы заранее не обнадеживать. Потому и шлю письмо. Прошу у тебя разрешения взять ее и мальчика сюда жить. И еще предлагаю снять у тебя квартиру, или купить. В данный момент у меня нет свободных денег, но я продам квартиру в Буэнос-Айресе, ту, что сдаю, неважно, если в ходе сделки что-то потеряю. Главное — здоровье.

Что еще? Видишь, какое письмо длинное, шли, пожалуйста, такое же, хотя новостей у тебя наверняка мало, сидишь безвылазно из-за холода. Марки тебя волновать не должны, с Кукиной работы отправят. Хоть какой толк от транснациональных компаний. Чуть не забыла: вчера вечером, когда мальчик провожал меня с прогулки, я спросила, знает ли он какую-нибудь надежную девочку в доме. И он тут же ответил, что не в его здании, а в нашем есть няня, ей приходится спать в одной комнатке со служанкой, ты видела, какие крохотные здесь комнатки для прислуги.

Он с девочкой-нянькой не знаком, точнее никогда не говорил с ней, но от других знает, что она недавно приехала из деревни. Мальчик и со второй не знаком, со служанкой, так что не знает, удобно ли им в комнатенке. Мало ли, может, хозяева укладывают ее в гостиной с ребенком. Подожду до девяти утра, время пристойное, и пойду поговорю с хозяйкой дома, спрошу, устроит ли ее такой вариант.

Помогу ей сбагрить человека на ночь, разве плохо? Квартиры-то не очень большие, для нас с тобой нормально, но для семьи с детьми, служанкой и няней — безумие. Даже предложу кормить ее ужином — девочку, ведь приходя с работы, хозяйка дома, наверное, хочет сама заниматься малышом. А нянька ей скорее помеха.

Но это было бы лишь временное решение. На деле я хочу, чтобы с Севера приехала жена мальчика, ее зовут Вильма. Мальчик показывал письма, видно, добрейшая душа, бедняжка.

Ах, Люси, вчера вечером мы долго говорили, мальчик мне сердце надрывает. Когда ты с ним, он такой неунывающий, настоящий колокольчик. А когда остается один, взгляд его грустнеет. И он еще думает, представляешь, что ему в жизни крупно повезло, и, видя на улице попрошайку, пьяницу, или бомжей обоего пола, мужчин и женщин, всегда считает, что не обижен жизнью. Я помалкиваю, даю ему высказаться, правда, иногда кажется, что он шутит, но ничего подобного, говорит всерьез. Например, часто рассказывает о своем отце, и матери, мать у него жива, это я тебе говорила. Отца нет, он давно умер, с тех пор и посыпались все напасти.

Отец был парикмахером в деревне, а мать кухаркой в имении что ли, в нескольких километрах оттуда. Оба работали, и всего хватало. Особенно детей, горазды они тут детей делать! И Роналду из самых младших. Думаю, мать у них большая труженица, возвращалась вечером домой, готовила еду, а потом еще шила, святая женщина! Мальчик ее очень любит, но еще больше, по-моему, любил отца. Говорит, его до сих пор вспоминает вся деревня, никто не может смириться с его смертью.

Он был очень веселым человеком, устраивал для детей чемпионаты по футболу, состязания по легкой атлетике, праздники, разыгрывал легковерных, Роналду его обожал, и, похоже, вся остальная детвора тоже. Правда, отец был мальчиком не очень доволен, тот учился из рук вон плохо. Я спросила, зачем он огорчал отца, и мальчик со всей откровенностью ответил, и на глаза его наверну-

лись слезы, что в этом возрасте он не мог усидеть на месте, его постоянно тянуло чем-то заняться, попрыгать, побегать, не сиделось спокойно за партой, ерзал, точно его муравьи щекотали, вскакивал, мчался запускать змея, или играть в мяч, вертелся, словно муравьи его изводят. Или сам бес вселился.

А мать экономила на всем, одежду не покупала, шила отцу рубашки, и детям — штанишки, в жару они только их и носили. Все это я рассказала Сильвии, беседуя о мальчике, мне его так жалко, у него же ничего нет в жизни, и она много объяснила мне про Бразилию, пережившую годы бурного прогресса, пока военные все не порушили, как и у нас, сама знаешь, а ведь люди стремились к чему-то, старались что-то скопить, совсем как у нас, помнишь? Тогда имело смысл копить деньги, инфляции, как теперь, не было, и люди мечтали пробиться в жизни.

И всюду царила радость, и труд, конечно, но труд, исполненный надежды, ты меня понимаешь, ведь в Аргентине произошло примерно то же. Поэтому, говорит Сильвия, мальчик отчасти продукт той эпохи, нынешние ребята не такие, ему уже двадцать семь и довелось застать лучшие времена, в душе он верит, что в будущем все наладится, помнит уют домашнего очага и потому, думаю, не теряет надежды завести свой собственный.

Ну, а с отцом вышло ужасно, он умер от скоротечной болезни, и все пошло вкривь да вкось. Мальчик был подростком, самый деликатный возраст, когда понес эту утрату. А потом — подумай только, мать пустила в дом какого-то типа, и тот занял отцово место. Видно, горе ее было велико, а тут еще началась засуха, имение осталось без песонов, она потеряла работу кухарки, и пришлось пустить в дом этого человека, он был вроде каменщик, в общем строитель, а ребята помаленьку разъехались в поисках работы, кто куда, ведь засуха лютовала, но хуже всего то, что отчим оказался типом никудышным, их он не трогал, зато требовал тишины, не давал включать радио и ничего такого, в восемь вечера ложился спать, и кругом должно было царить полное безмолвие. А с ребятами даже не разговаривал, не желал ни доброго утра, ни доброй ночи.

Зато с матерью вел себя хуже злой собаки, дети подозревали, что, может, даже бил ее, не раз они, возвращаясь домой, видели на полу осколки — отчим бросал вещи об стену, чтобы разрядить нервы! — и заставали мать в слезах, и она всегда прикрывала спину, именно по ней обычно дубасят жен эти гады, сказал мне мальчик. По его словам, соседи думали про этого типа так же — лучше б он пропал куда подальше, и безвозвратно.

Мальчик рассказывает все это, и все равно считает, что жизнь его не обделила. Видно, не теряет надежды, что хорошие времена вернутся, жену он обожает, и, если все пойдет как надо, в скором времени она приедет. Возможно, он понимает, что встретил человека, готового прийти ему на помощь, хоть я ничего и не говорила, а потому сияет от радости, когда мы ведем с ним беседу.

Правда, мальчик этот, как колокольчик. У него всегда есть, что рассказать, больше всего любит говорить о еде и о жене, говорит, она самая красивая и добрая на свете, и он должен благодарить Бога, ведь это Он послал ему эту девушку, а прежде дал самых добрых родителей в мире. Еще обожает старшую сестру, она, в итоге, его воспитала, взяв к себе домой, когда отчим совсем распустился.

Хотелось тебе объяснить, почему мальчик именно такой, а слов подобрать не умею, не приходят на ум. Смех его заразителен. Может, из-за зубов, ты скажешь, я спятила, но у него идеальные белые зубы, и улыбается он по любому поводу, и тогда зубы молодого, здорового парня, не знаю, словно сияют, белоснежные зубы и алые, пухлые губы растягиваются до ушей в улыбке.

Вчера мы сели на скамейке на пляже поговорить спокойно, и я разглядывала его какое-то время, а он на глазах преображался, рассказывал о танцах в родном селенье и как стал ухаживать за женой, та никогда не ходила одна, всегда с кем-то из близких, и казалось, он хорошеет, а свет изнутри все ярче, и будто это уже не человек повествует о своем прошлом, наполненном любовью, и о своем будущем, исполненном надежд, ведь ему так повезло, и жизнь чудесна, и будто это уже не парень, Люси, а ангел небесный. Меня это поразило. Я не сумасшедшая, Люси, видениями не страдаю, но клянусь памятью Эмильсен, самым святым в моей жизни, мальчик, когда говорил, преображался, превращался из заурядного негритенка, каким был и остается, в существо иного мира.

Но как он может быть таким счастливым, если, выйдя в шесть утра из холльчика, похожего на карцер, где совсем нет вентиляции, вынужден топать на стройку? Он мне ее уже показал! Я так настаивала, что он отвел меня туда, не хотела тебе говорить, скажешь, что я рехнулась. И там были здоровенные ребята, он не хотел заходить, но я с ними заговорила, сказала, что хочу посмотреть стройку, интересуюсь покупкой квартиры, и они дали мне провести полную инспекцию!

Я хотела посмотреть, где у них кровати, в какой клетушке они спят, и чуть не умерла, потому что в углу, где будет гараж, в подвале, на полу накиданы бумаги и тряпки. У кого-то есть матрас, у других и того нету, такая дыра не пригодна даже для мышей.

Он сначала очень стеснялся остальных, но мы все-таки продолжили наш "люкс-тур", как говорят наглые жулики из агентства, слупившие с нас сорок долларов за куцую прогулочку по холмам Рио. И он мне даже с гордостью продемонстрировал: вот у него матрас. Матрас валялся на улице, и он его нашел, проходя ночью через площадь напротив почты. И тащил до самой стройки, кварталов десять. Руки у него очень ловкие, показал, как свернул матрас, водрузил на голову, и привет. Тогда я сказала, что не верю, он же никогда не ходит ночью через ту маленькую площадь. И он признался, что приударил в тех местах за одной служаночкой, но теперь больше с ней не видится. Вот пройдоха, ведь женат. Но с его моло-

достью, да на морском воздухе, вообрази, как играет кровь у бедного мальчика.

А потом заставил меня лезть на самый верх, чтобы показать, где он готовит еду. Нет, мы уже были наверху, он с другим нелегалом там спит, прячась от инженера. Ну вот, он взял несколько кирпичей и соорудил печь, а внутри разжигает уголь. Печь! Всего-то ящичек из кирпичей. Наверно, я не точно выразилась, он положил кирпичи с одной стороны и с другой, в форме квадрата. А рядом валялась пустая бутылка из-под пива, ей он толчет черную фасоль, и пакет непременного риса. Они с приятелем едят отдельно, тот тоже не со стройки, но спать его пускают. Все вроде прекрасно уживаются.

По словам бедняжки Роналду, есть два типа строек, со сторожем и без. Где сторож, там вечно грызня, он следует указаниям инженеров, того нельзя, этого, кстати и не кстати, и всех доводит до белого каления. А на стройках поменьше, как эта, где смета мала и сторожу платить не могут, или охраннику, как его здесь называют, все довольны, после работы никаких перебранок, раз нет стукача, доносящего все инженеру.

Короче, там вроде живут дружно. Нашелся, правда, один задира, в воскресенье как-то напал на Роналду с битой бутылкой, но все заступились, тот устыдился и ретировался. Говорят, человек он неплохой, но дуреет от спиртного, меняется до неузнаваемости. Будем надеяться, он не заявится в холльчик соседнего дома с осколком битой бутылки, добыть ее проще простого.

Страшная работа, всю ночь рискуешь, вдруг наглый налетчик ворвется в здание. Но, думаю, имея место для ночлега, он без труда найдет себе дневную работу. Хотя, с другой стороны, даже лучше, чтобы он работал ночами, тогда его жена разговаривала бы со мной, пока не придет время спать.

Ладно, скоро девять, пойду говорить с хозяйкой нянечки, пока она не ушла на работу. А потом, не спеша, пройдусь до почты.

Тысячу нежных приветов Куке, поблагодари его за письмецо, пиши скорей и побольше, с любовью, твоя сестра и будущая квартирантка, не вздумай спорить!

Чао.

Нидия.

Рио, 4 ноября 1987 г.

Дорогой Масик!

Вчера было приятно слышать твой голос. Уловила, что ты слегка мною недоволен, надеюсь, у тебя это уже проходит.

Во-первых, есть хорошая новость: с сегодняшней ночи ко мне приходит ночевать девушка. Судя по всему, чудесная, работает няней в этом доме, я только что говорила с хозяйкой и мы обо всем

договорились. Она подписалась обеими руками, сразу позвала нянечку и растолковала на хорошем португальском, что мне надо.

Девочка была счастлива до безумия, еще бы, заработать пару лишних крузадо и спать на кровати. Угадай, где она спала? На матрасе, на полу в кухне. Ведь в комнатке для прислуги умещается только одна койка, да и служаночке там очень тесно. Я-то знаю, какие помещения для прислуги в этом доме.

Так что не волнуйся, теперь ночью я не одна. Девочка молоденькая, четырнадцати лет, хотя выглядит сложившейся барышней, очаровательная девчушка, довольно темненькая, глаза зеленые, очень светлые, в невероятном контрасте с кожей лица. Но, правда, непонятно, какого цвета у девочки кожа, не дивный матовый отлив, как у аргентинских брюнеток, скорее отдает бронзовым, как когда аргентинская девушка много загорает в Мар-дель-Плата и похожа на спелый плод, так пышет здоровьем. Но у девочки этот цвет от природы, иначе я сразу заметила бы след от купальника.

Ладно, дорогуша, поговорим о чуть более серьезном. Ты даже представить себе не можешь, какой у меня невероятный прилив здоровья. Совсем другая жизнь. Словно и не я вовсе. А здоровье — бесценно. Так что предлагаю тебе следующее.

Ты не пугайся, но я твердо решила. Я хочу остаться здесь и здесь останусь. Делаю это ради тебя. Ведь если я вернусь и со мной что случится, ты будешь чувствовать себя виноватым.

Я уже написала Люси и прошу ее как об огромном одолжении — сдать мне квартиру. По сути, это я оказываю ей любезность. Помимо девочки, которая будет приходить ночевать, я уже наняла одного очень серьезного сеньора, он работает ночным охранником в соседнем доме и будет сопровождать меня каждый вечер на длительных прогулках, так я смогу выполнять предписание врача по части гуляний.

С завтрашнего дня этот сеньор также станет ходить со мной раз в неделю на ярмарку за покупками. Для меня походы туда — настоящий праздник, какие красочные фрукты и овощи! Не говоря уже о лотках с цветами, достойных яркой открытки. Ярмарка бывает раз в неделю, с раннего утра до полудня. Мы с Люси всегда ходили и встречали там, прямо на ярмарке, где полно народу, мальчика, готового поднести покупки старушкам, и не старушкам тоже, а то пакетов набирается столько, что рук не хватает.

Но мне лучше ходить с этим сеньором, так надежнее, да и ему надо подработать. В дальнейшем на ярмарку и в супермаркет буду брать с собой женщину, они терпеливее, у меня уже есть одна на примете. Но это потом, а пока меня выручает этот сеньор. Нянечка не могла бы пойти со мной в этот час на ярмарку, ей надо смотреть за ребенком. Помимо всего этого, конечно, по-прежнему приходит девушка с почасовой оплатой, два раза в неделю, и делает уборку, как при Люси. Сам видишь, я тут окружена заботой в лучшем виде, к тому же прислуга здесь очень хорошая и недорогая.

Теперь о более серьезном: если Люси требуется продать эту квартиру, чтобы приобрести там, в Люцерне, другую или для чего бы то ни было, я готова ее купить. Ты подумай, как лучше провести подобную операцию, можно ли взять что-то из моих денег, вложенных в наше предприятие, или понадобится продать квартиру на улице Ирала. Выбирай сам, как это сделать. Но я хочу обеспечить себе эту квартиру, здесь не о чем спорить. Это маленькая прихоть, единственная, которую я позволяю себе в жизни, целиком отданной накоплению и домашнему хозяйству. Но мое здоровье, думаю, того стоит.

Как бы то ни было, это прекрасное вложение денег, собственность в Рио всегда будет в цене, место это очень востребованное.

Ладно, на сегодня, по-моему, новостей от меня хватит, привет твоим, и Игнасио, и детям Эмильсен. Как там Игнасио? Раньше мысль, что он заведет новую семью, казалась мне кощунством, непростительным оскорблением памяти Эмильсен, но теперь, думаю, это для него лучший выход, бедный парень. Только пусть повременит немного, правда? Пятьдесят лет — расцвет молодости, к чему торопиться, пусть смотрит повнимательнее, с кем связывается.

Подумать, я в этом возрасте уже овдовела — я тоже. Но у женщин все иначе, особенно в ту пору. И если честно, мне в голову никогда не приходило снова выйти замуж. Твой отец был для меня единственным мужчиной на свете, и никто не мог занять его место.

Я тебе заморочила голову, пойду потихоньку на почту с моим шикарным зонтиком на случай, если солнце будет печь немилосердно. Но вернемся к Игнасио, дети уже большие, только младшенький еще в коротких штанишках, но не успеет опомниться, как и он станет мужчиной, что бедный Игнасио будет тогда один делать? Ты это хорошо понимаешь, твоя дочь уже доктор, времени на вас и на бабушку она уже давно не находит. Такова жизнь, вот и я, когда вышла замуж, маму почти перестала видеть, бедняжку. Любит тебя твоя

Мама.

P. S.

Сыночек, обещай, что больше никогда не позвонишь такой раздраженный. Замечу, ты говорил со мной довольно грубо. Не делай так больше, а то я потом в себя не могу прийти. За пятьдесят лет с лишком мы никогда не ссорились, представляешь, как было бы "славно" разругаться теперь, на предпоследней минуте матча.

И еще. Скажи честно, эта взрослая девица, она у вас постоянно на языке и к вам все время ходит, имеет она отношение к Игнасио? Ничего от меня не скрывай, так хуже. И потом, я сумею понять.

Глава десятая

Сильвия Бернабеу, Руа Игарапава, 126
Рио-де-Жанейро, 12 ноября 1987 г.

Сеньор
Альфредо Мадзарини
Францезишештрассе, 8, Люцерн

Уважаемый друг!

Очень ценю доверие, с которым Вы пишете о своей тете. Нечего и говорить о горе, которое я испытала в связи с кончиной дорогой Люси. Лучше об этом не упоминать, для меня она значила очень много, кусочек Аргентины рядом с моим домом, подлинное пристанище. Говорят, крайности сходятся, и ее романтичность восхищала меня, я полная ей противоположность, и мне не доставало этого совсем другого взгляда на вещи. Говоря "романтичность", я хочу обозначить жизненную позицию, основанную на оси эмоция—воображение, противопоставленной рациональному началу.

И как непохожа на нее сеньора Нидия, такая практичная, твердо стоящая на земле. С ней я почти не беседую, ведь она говорит совершенно то же, что приходит в голову мне, мы слишком похожи, чтобы интересоваться друг другом.

Я бы на Вашем месте не очень за нее беспокоилась, пожалуй, нам следует поучиться у сеньоры Нидии. Не знаю, как Вы отнесетесь к моим словам, но я поддерживаю ее стремление к независимости. Наверняка ее сыну не понравится моя позиция, но обстоятельства дела не оставляют у меня сомнений в правомерности такого стремления. Прежде всего, убеждена, что отсутствие дорогой Люси не отменит планов сеньоры Нидии. Ее привязанности в настоящее время иные.

Хотела написать письмо еще несколько дней назад, но не была полностью уверена в том, что́ собираюсь сказать, и это меня останавливало. Но сегодня под вечер зашла Ваша уважаемая тетушка, просила перевести на португальский письмо для ее будущей компаньонки, и оставила несколько страниц на испанском. Думаю, лучше переписать этот текст, и тогда Вы поймете, какими чувствами живет в настоящее время сеньора Нидия. Не думаю, что поступаю в данном случае неправильно, раскрывая то сокровенное, что меня не уполномочили показывать третьим лицам. Просто цель этой своеобразной заочной профессиональной консультации, по-моему, оправдывает средства.

'Дорогая Вильма! Пишу тебе напрямую, чтобы поблагодарить за привет, который ты передаешь мне в письме мужу. Прости, что обра-

щаюсь на "ты", но в моем возрасте я уже к этому привыкла, просто все кажутся малыми детьми в сравнении со мной. Через несколько месяцев мне исполнится восемьдесят четыре.

Я уже много знаю о тебе благодаря фото и всему, что рассказывает Роналду. Надеюсь, скоро я узнаю наверняка, смогу ли арендовать квартиру у сестры, тогда мы пошлем тебе билет, и ты сядешь в этот ужасный автобус, который тащится два дня с половиной. Будь у меня больше денег, послала бы билет на самолет — такая возможность полностью не исключается.

Меня очень беспокоит, что ты приуныла, плачешь каждый вечер, я-то прекрасно знаю, что это такое! Я тоже потеряла дочь, почти два года назад, и мужа тоже нет рядом, чтобы поддержать меня. Его я потеряла очень давно. Но ты, дорогая, своего не потеряла. Он здесь в полном здравии, ждет тебя, постоянно о тебе говорит, видно, что любит безмерно.

Поверь, все образуется, скоро вы будете вместе, и не как в прошлый раз, когда ты спала в каморке с подругой по работе. У вас очень красивая комната, это не комната для прислуги — из нее моя сестра оборудовала платяной шкаф, ты не представляешь, какая она кокетка! На два года младше меня, но все равно старая развалина и все равно без конца покупает одежду и прихорашивается перед зеркалом, и ведь, правда, умеет себя подать.

У меня же, наоборот, не хватает терпения наводить красоту, сама увидишь, но не пугайся, до ведьмы мне далеко. Моя дочь Эмильсен всегда меня за это корила, ставила в пример Люси, так зовут мою престарелую безумную сестру. Когда ты приедешь, обещаю, что буду больше следить за собой, Эмильсен нравилось, чтобы днем я накручивала бигуди и к вечеру волосы делались пышнее, если ты поможешь, я каждое утро буду накручивать эти замечательные бигуди. Люси не могла, у нее артроз пальцев, одно только умела — слегка причесать мне волосы, а это уже кое-что.

Ну вот, видишь, это будет частью твоей работы, помогать мне с прической, а то вдруг Эмильсен увидит меня откуда-нибудь и испугается. Это я глупости говорю, не верю в иной мир. А жаль. Все ж утешение. Надеюсь, ты-то веришь и можешь мечтать, как когда-нибудь снова встретишься с доченькой.

Давай поговорим о другом, тебе и так невесело там, на Севере. Должна похвалить твоего мужа, он ведь не только красавец, но и очень ласковый. Пожилые разбираются в этом лучше всех, никто не обращает на нас внимания, не понимая, что с нашим опытом мы можем постичь проблемы молодых и как-то им помочь. Тут нет ничего зазорного — нуждаться в помощи, всем нам друг без друга не обойтись, но сказать это мы зачастую не решаемся.

Хотя есть люди, которым никто не нужен, им нужно побольше времени, это да. Скажем, мои внуки, обожаю их, чудные ребята, три парня и девушка! Но им столько приходится учиться, что уже много лет я от них ничего, кроме нежнейшего поцелуя, не жду, и знаю, они

любят меня по-настоящему, но, повторяю, помимо поцелуя, ждать мне от них нечего, бедняжки готовятся к жизненной борьбе и не поднимают головы от книг целыми днями.

Моя внучка — старшая, выучилась на врача и все равно учится дальше, специализируется. Когда умерла тетя, моей Эмильсен пришлось в тот вечер работать в своей больнице, даже спокойно поплакать о тете не могла, вот жизнь суматошная. Разве это жизнь для женщины? Все легче, когда отведешь душу, поплачешь немного.

Я говорю все это, потому что, по-моему, тебе полезно знать, что беда никого не обходит стороной. У нас с тобой времени предостаточно, чтобы оплакивать наших мертвецов, хоть эту роскошь можем себе позволить. Видишь, какое глупое утешение я тебе предлагаю?

Ладно, заканчиваю, ведь это письмо мне должна перевести на португальский одна тоже очень занятая сеньора, она умрет от ужаса, увидев, сколько времени я собираюсь у нее отнять.

Молись, чтобы все получилось хорошо, жду тебя скоро в Рио, обнимаю, Нидия де Анхелис де Марра'.

Итак, возвращаюсь к нашему разговору. Обратись сеньора Нидия ко мне за советом, чего она до сих пор не делала, поскольку сама прекрасно знает, чего хочет, я без колебаний поддержала бы ее в желании обосноваться в Рио. Есть одно "но", не знаю, как лучше объяснить в двух словах. Этот мальчик Роналду очень своеобразный. Я не занималась им основательно, но в целом, по его поведению и по рассказам сеньоры Нидии, можно заключить, что речь идет о несколько инфантильном парне.

Сеньоре пошло на пользу общение с ним, таким жизнерадостным и улыбчивым, она с ним много смеется. Сеньору поражает, что парень настроен так оптимистично, хотя картина его нынешней жизни — настоящая пустошь. Я заметила, что у парня бывают внезапные провалы в реальности, и в эти минуты он становится очень буйным, как ребенок, причем буйство это иррациональное, на грани саморазрушения. Приведу пример: председатель кондоминиума как-то рано утром, когда заканчивалось ночное дежурство, раскритиковал рубашку, которую мальчик носил в служебные часы, этот кретин даже не был в курсе, что парню не выдали запасную рубашку за счет самого кондоминиума, как положено. И тогда бедный Роналду рванул на себе свою собственную рубашку, порвал ее и, взбешенный, ушел.

Насколько мне известна история этого парня, речь, думаю, идет об умственном развитии, остановившемся на уровне двенадцати лет, когда его жизнь радикально изменилась со смертью отца. Особая витальность Роналду, без сомнения, имеет невротические корни, он не может смириться о тем, что счастливые обстоятельства его детства (благополучие нижней прослойки среднего класса вкупе с любовью образцовых отца и матери) изменились столь негативно.

Но если для установления любой взаимосвязи попытаться найти кого-то без неврозов, то мы рискуем провести всю жизнь с лампой Диогена в руке. Речь, конечно, не о том, чтобы довериться совершенно безответственным типам, но и весьма уравновешенные на вид люди порой могут преподнести роковые сюрпризы самому искушенному знатоку.

Надеюсь скоро получить от Вас весточку, всегда в Вашем распоряжении для любой консультации, в какой-то степени благодаря Вам я ощущаю близость Люси, которой мне так не хватает.

С сердечным приветом

Сильвия Бернабеу.

Люцерн, 19 ноября 1987 г.

Дорогая тетя Нидия!

Только что получили твое письмо. Шлю пару строк, чтобы ты не беспокоилась. Маме, увы, не лучше.

Я лечу в Рио на рождественские каникулы. Приеду числа 20-го и, если все быстро улажу, 24-го буду у вас в Буэнос-Айресе. Мне нелегко обсуждать твои планы, идеально было бы тебе поехать на праздники в Буэнос-Айрес, а после обстоятельного разговора ты могла бы вернуться в Рио, если пожелаешь. Сейчас в письме трудно ответить на твои вопросы о квартире.

Подумай, не стоит тебе проводить Рождество одной. Надеюсь, увидимся в Буэнос-Айресе. С нежным приветом

Кука.

Рио, 25 ноября 1987 г.

Дорогая Люси!

Получила письмо от твоего сына. Кажется, Швейцария не идет на пользу ни тебе, ни ему. Ты хвораешь, а он такой загадочный и приунывший, по-моему. Что там у вас не так?

Хуже всего, что он бросает тебя одну на Рождество и Новый год, совсем спятил парень? Очень прошу, не показывай ему письмо, бедный Кука! Всегда был так добр ко мне, никогда ничего не таил, чего ж он теперь ходит вокруг да около? Если у него какие-то мысли по поводу квартиры, пусть лучше скажет скорее, я тогда буду искать другую.

Представляешь, какое это будет нелегкое дело. И не только подыскать место. Скажи ему, что, как правило, когда хотят продать подержанную мебель, за нее никто ничего не дает, так что я в любом случае идеальная клиентка. Шутка ли для меня — искать ме-

бель. И шторы. И какой-нибудь коврик. Неужели ты и постельное белье будешь продавать? Там наверняка тебе понадобятся другие одеяла, покрывала, все — под новые кровати. Кстати об одеялах, их, по-моему, недостаточно, есть для двух человек, не для трех. Если думаешь привезти подарочек из Швейцарии, это было бы самое практичное, красивое одеяльце, веселенькое, пестрое, это для меня. А обычные отдам парочке.

У меня от этого письма, признаюсь, чуть нервы не расшалились. Я на Рождество хочу быть здесь. И уже веду переговоры, чтобы жена Роналду приехала к праздникам. Ах, Люси, какое чудное письмо она написала, не шлю тебе, очень хочу сохранить, иногда на почте у меня кое-что теряли, боюсь рисковать. Я бы тебе переписала его на другом листе, но лень, оно на португальском, буду копаться целый год.

Каждый вечер приходит ночевать девочка, о которой я говорила. Добрая душа, но такая молчунья, клещами слова не вытянешь. Обожает телесериалы и фильмы. Я засыпаю, а она берет телевизор к себе и смотрит. Очень немногословна, я пыталась разговорить ее на разные темы, но не тут-то было. С Вильмой, думаю, будет иначе, даже по письму видно, что она более общительная. Эта же еще ребенок — тринадцать лет! Хотя выглядит на восемнадцать.

Вот я нечуткая, у тебя проблемы со здоровьем, надо бы капельку тебя подбодрить. И лучшее средство — сплетни! Ты их любишь больше деликатесов, по-моему. И сплетни не про кого-нибудь, а про твою соседку Сильвию. И про ее ухажера номер один.

В общем, пристегните ремни, входим в зону турбулентности, как объявляют в самолетах. Сама мне рассказала, я к ней зашла просить перевести письмо жены Роналду, ее зовут Вильма, или я тебе уже говорила? Газету на португальском я тебе пойму играючи, но письмо таким почерком — мне не удалось разобрать и половины слов. Если они с Севера, да еще умеют читать и писать, это уже немало.

Но вернемся к самому для тебя интересному. Представляешь, Роналду предупредил, что небезызвестный тип наведался прошлой ночью, ну я и отправилась с тайной мыслью выведать что-нибудь для тебя. Видишь, какая я хорошая сестра. Она сама заговорила о Феррейре. Сама его позвала! Представляешь, какая решительная женщина. По ее словам, хотела себя проверить, сможет ли теперь держать дистанцию, не боясь снова потерять из-за него голову. В общем, позвонила ему, тип пришел и рассказал ни много ни мало, что у него серьезная связь с другой женщиной. Ты на пол не грохнулась? Извини, не предупредила, чтобы ты села.

Девушка незамужняя, сорока восьми лет, у него уже были с ней отношения, причем долго. Он вроде просветил ее в этих вещах, повторяю слова соседки, я не осмелилась просить объяснений. И поэтому он как бы чувствовал себя обязанным к ней захаживать. Познакомился еще холостым и просветил ее, нравится тебе слово

психологини? А женился не на ней, а на другой. А бедняжка с тех пор ни разу не встречалась с другим мужчиной, заживо себя похоронила, он ей время от времени звонил, и они виделись. Эта божья коровка преподает математику в средней школе.

Так что жене он изменял тысячу лет. Но какое-то время назад, задолго до болезни, жена застукала его на чем-то и догадалась, и тип перестал встречаться с божьей коровкой. Но постоянно терзался, что испортил коровке жизнь, она так и не завела ни семьи, ни детей, все из любви к нему, вот я и думаю: чем-то он берет, очаровывает, если стольких женщин свел с ума. Нет, не очаровывает, гадость плешивая, просто дамочки сами себя заводят, как твоя соседка.

И наконец выяснилось, почему он исчез после чудной поездки на остров. Просто с ним случился настоящий припадок, он чуть не послал все к черту и не ушел моряком на шхуне. Что скажешь? Но подумал, что детям еще нужна материальная помощь, и притормозил. И так ему вроде было худо, что он неделями никого не видел. Только не знаю, как он снова встретился с божьей коровкой, сам позвонил, или их свел на улице дьявол.

По-моему, он сглупил, все-таки с соседкой было бы материально надежней, она ж без конца работает. Люси, как гребут деньги эти психологини! Собирается купить еще одну квартиру, призналась, когда я сказала, что хочу выяснить цены на случай, если вы мне не сдадите или не продадите эту. В курсе всех цен, конечно, собирается вложить крупную сумму, хороша самоубийца?!

Ну, а теперь слушай внимательно, как минимум, жду за это награды, я ее, по-моему, заслужила. Помня о твоем любопытстве, перед уходом домой я спросила соседку в упор: было ли в последний раз что с Феррейрой или нет. Собралась с духом и спросила! Ты думала, я не смогу? Ты бы не решилась.

Ответ оказался — да. Девушка со мной особо не жеманится, знаешь, относится скорее как к подруге, тебя же уважает больше, как мать, по-моему.

Честно скажу, никогда она не выглядела лучше. И в восторге, как все повернулось. Выстроила для себя целую теорию, хотя я с ней совсем не согласна. Рассказываю: по ее версии, неделя на острове означала для него очень сильную встряску, пробудила почти забытую тягу к свободе, к мальчишеским приключениям, и она в какой-то степени стала символом всего этого. И, вернувшись, он ее неожиданно отверг, это был своего рода вызов, она олицетворяла собой возможность резкой перемены. А поскольку он не осмеливался все бросить, раз и навсегда зажить вольной жизнью, то и встречаться с ней больше не мог.

Продолжаю излагать ее трактовку, по возможности ее же словами, ты их сразу узнаешь. Та, другая, вновь появляется по следующей причине: она ведь опять же из обывателей, твоя соседка обожает эти термины, но произносит их, глядя в сторону, думает, я

дура набитая? Видно, тоже считает меня обывательницей, просто не хочет показать этого.

А сама разве не дерет три шкуры за консультацию? Пусть не строит из себя левачку, меня это бесит. Если я у нее мелкобуржуазный обыватель, то она ничуть не меньше, малость ветренее, разумеется, но деньжата любит точно так же. Короче, не буду растекаться мыслью по древу. В общем, тип, видно, стал захаживать к божьей коровке, чтобы заполнить место, свободное после смерти супруги. И тут она всегда говорит еще одно слово, не помню только какое. Вылетело из головы.

Но чего твоя соседка тогда так довольна? Говорит, ей теперь выпала роль любовницы, третьей по счету, то есть самая расчудесная, минимум обязательств, и это позволит ей дальше помогать ему с его проблемами. Да, вспомнила словцо, которое она употребляет! По ее словам, божья коровка "его не обсуждает", не то что она. Понимаешь, о чем я? По ее словам, коровка ничего не ставит в нем под сомнение, в смысле, не ворошит его душу, не заставляет посмотреть на себя со стороны.

Знаешь, Люси, по-моему, это все оправдания, она их придумывает, чтобы не замечать горькой правды. В любви все не так сложно, если тебе кто сильно нравится, ты забываешь все доводы и выгоды. Какие еще выгоды! Если ты влюбилась по-настоящему, главная выгода — быть рядом с человеком, который свел тебя с ума, и все дела. Выгоды...

Она-то в него влюбилась, а он в нее нет. И точка. Что-то в ней ему не понравилось, и вся недолга. Ну а что он питает к божьей коровке, поди узнай. Одно ясно: не влюбился он в твою соседку. Хотя признаюсь, причина мне непонятна. Женщина она интересная, не красавица, но по-своему привлекательная, и большая любительница платить по счетам! Я его не понимаю.

А теперь расскажу тебе одну потрясающую вещь. Ты испугаешься, но меня это так поразило, что надо кому-нибудь рассказать. Оказывается, бедный Роналду очень ко мне привязался и все рассказывает, я его зря кое о чем спросила, теперь он все выкладывает, как на исповеди. Ладно, начну с малого, чтобы тебя не хватила кондрашка. Дело в том, что я всегда очень жалела каменщиков, они сидят под вечер у входа на стройку, все такие коротышки, плюгавенькие, и я себя спрашивала — почему? Может, специально подбирают недорослков, они сильнее?

В общем, спросила его, и он рассказал, что почти все они с Севера, там люди низкорослые. Он-то нет, ты сама видела. У каменщиков ужасная работа, платят мало, вот и набирают голодранцев, бегущих от засухи. Ну и большинство оказывается вдали от родных, спят на стройке, пытаются сэкономить побольше, ходят вечно грустные, так скучают по близким. Их лачужки на Севере, наверное, убоги, представляю себе, но это роскошные хоромы в сравнении со здешними рассадниками тараканов, где они спят.

Ну, ты все это знаешь наизусть. Новость в другом. Я ему как-то сказала, эти бедняжки живут, как монахи. Тут он и рассказал. На той стройке, говорит, нет ночного сторожа, все договорились ничего не рассказывать инженеру, и так далее. Спать идут все после ужина очень рано, в восемь, и один остается дежурить, а около полуночи, когда квартал пустеет, начинают прибывать гостьи. Как правило, девушки-служанки, тоже с Севера, им очень одиноко, вот они и убегают с работы или отпрашиваются, кто знает. У кого-то из ребят-каменщиков постоянная визитерша, другим, тем что позастенчивее или невзрачнее, ничего не достается, и им приходится ждать, пока не появится такая, которой все равно, если сразу с несколькими, что скажешь?

Это случается в будни, не по субботам, те, у кого постоянный парень, не хотят идти на стройку в субботу вечером, спиртное льется рекой, и начинается разгул. По субботам приходят другие. Вроде есть такие, кто приезжает из дальних кварталов, этим бабенкам уже не найти постоянного парня, женщины эти староваты, не знаю, потерты жизнью, они не могут приехать в будни, дорога недешевая, порой это два-три автобуса, они прямо болеют от тоски, тоже с Севера, и остаются там на всю ночь, и идут по рукам.

Но так бывает, если одна женщина не увидит других. Эти типы их прячут, не дают видеться между собой, ведь если женщина не одна, тогда она хочет остаться на всю ночь с одним мужчиной. Но обычно по субботам больше одной-двух не бывает, и ребята наливают им немного водки, кашасы, я ее обожаю с лимончиком. И бедная девушка плачет без удержу, говорит о далеком доме, а потом пьет дальше, и плач сменяется смехом. Ребята говорят ей пару нежных словечек, и она уступает, и даже монетки на обратный автобус не получает. Ведь еще только начинают ходить автобусы, около пяти утра, летом в этот час уже светло, как они уходят со стройки, рискуя, что их увидят. Мальчик говорит, их трудно выгнать, не хотят уходить, сон их одолевает, они столько выпили и почти не спали, но их выкидывают на улицу, как мусор, пока мимо не прошел подметальщик.

Он много месяцев проработал на этой стройке, с самого начала. Поэтому и подружился со всеми, и его пускают спать днем с тех пор, как он работает сторожем в соседнем доме. Вот тебе и невинный младенец. И это еще не все, зачастую он уходит с работы и идет на стройку, а на углу его уже ждет подружка! Около трех ночи, если пришли ночевать все, кто живет в доме. А если кто еще не вернулся, ты не поверишь, он проводит девку внутрь и прячет ее в машинном зале, в подвале, вот ужас!

Я видела это место! Вчера вечером спускаюсь от Сильвии, он, конечно, сидел в своем холльчике, я умирала от любопытства, так хотелось увидеть подвал, и попросила его показать. Вход через гараж, спускаешься по короткой лестнице, это даже не подвал, скорее навес с низеньким потолком, там стоит двигатель от лифта,

только он давно не работает. Повторяю тебе слова этого бесстыдника, вот ведь негодник.

Как завел девушку вниз, он уже спокоен, не выпустит ее, пока последний жилец не вернется с гулянки. Потом и сам спускается. Сущий чертенок, скорее бы жена приехала, а то как бы чего не вышло.

Завтра продолжу, сейчас пришла девочка, попрошу ее помочь — сложим простыни пополам. Да, без глажки, знаю, тебе не нравится, когда я так делаю. Но, по-моему, они получаются не хуже глаженых, хорошенько растянешь и можно сушить в твоем чудном дворике.

Люси, я тут с Сильвией, она зашла в гости. Узнала от Роналду, что я сегодня утром ушиблась. Я тебе ничего не сказала, чтобы не волновать. Ладно, потом расскажу. После долгих уговоров Сильвия согласилась продиктовать мне по-испански письмо от Вильмы, хочу, чтобы ты прочитала. Вот оно.

Сегодня 26-е. Раннее утро, девочка еще спит, я проснулась, нога слегка побаливает, от ушиба. Пишу на скамеечке в кухне, как ни странно, здесь сидеть не так больно. Вчера твоя соседка собиралась продиктовать письмо, но только начала, как что-то с ней случилось, — и настолько ее поразило написанное Вильмой, что диктовать она уже не могла ни в какую. Я сама тебе перепишу его целиком на испанском, думаю, так будет проще. Начинается так:

Дорогая моя сеньора Нидия! Мы здесь со свекровью в добром здравии и благодарны за это Богу. Роналду мой пишет мало, но уже рассказал, что сеньора очень к нему добра.

Надеюсь, что Бог даст сеньоре все, что она заслуживает. Я у Пресвятой Девы попросила бы для сеньоры одного — чтобы вернула живой ее умершую доченьку. И для себя попросила бы у Девы того же, знаю, что́ у сеньоры воткнуто в сердце, это огромный нож, все хотят помочь вытащить его, но он вонзается все глубже. Известно, что Святая Дева иногда творит чудеса, и я прошу сначала о чуде для Вас, сеньора, ведь Вы такая старенькая. А пока мы ждем чуда, я часто закрываю глаза и вижу мою малютку.

Сеньора пишет, что не верит, что больше не увидит свою дочку, почему Вы так говорите? Бог рассердится, если узнает это. Когда очень грустно и становится страшно, что мой муж уйдет к другой женщине, я немного поплачу и сильно устаю, закрою глаза и вижу мою малютку, всегда здоровенькую, как до болезни. Но иногда вижу ее больную, и тогда открываю глаза и выбегаю в поле. Мне страшно, что на том свете она мучается, как в больнице.

Но такой я вижу ее редко, почти всегда она красивая, толстенькая. И если вижу ее здесь, на этом свете, то стоит закрыть глаза, и вижу ее на том свете. Там я хочу обнять ее и поцеловать, искупать и причесать. Зачастую мать Роналду позволяет мне раскладывать еду, я пользуюсь случаем и даю побольше свекрови. А если ем мало, то слабею и

сплю плохо, но так даже лучше, закроешь глаза и видишь крошку. Но еще лучше, когда был Роналду, он залезал на меня утром, и ночью, и под вечер, когда возвращался с поля с работы, говорит, что очень меня любит и хочет забыть о грустном. Он очень сильный и не слабеет, я давала ему много есть, а сама старалась есть мало и от усталости видела мою малютку в любое время, когда Роналду был здесь, только глаза прикрою.

Свекровь уже много месяцев ходит без очков и почти не видит. Поэтому я кладу ей побольше в тарелку. У нас ведь тут нет работы, урожая собрали мало, и уже продали, и потихоньку тратим эти деньги, но инфляция все съедает, а банка тут нету, надо ехать в другое селение, а один сеньор сказал, что от банка никакого проку. Я пользуюсь тем, что свекровь не замечает, и бывают дни, когда я с утра встаю грустная, особенно если думаю, что Роналду уходит к другой девушке, из тех, что всю зарплату тратят на бикини.

Он очень красивый, и нравился тут всем девочкам, но выбрал меня, я никогда не давала к себе притронуться, и он понял, что я буду хорошей матерью его детям. И когда я просыпаюсь грустная, хочется плакать, чтобы скорее все прошло, и глаз не могу закрыть, все вижу мою крошечку, как она мучается, и в такие дни ничего не ем, а свекровь не замечает. Когда она ходила в очках, то кричала на меня и заставляла есть, у нее очень громкий голос, кричать она горазда. Но если она не догадывается, и если почти не есть, к вечеру у меня в груди что-то накатывается, я говорю свекрови, мол, пойду, может, подстрелю из рогатки какую птичку, и ухожу, почти затемно, и долго плачу. А потом сильно слабею и сажусь под деревом, и закрываю глаза, и вижу что-нибудь красивое, как приходит Роналду, и мы говорим, что заведем еще ребеночка, и он мне делает ребенка, тот рождается, точь-в-точь умершая малютка, не знаю, мальчик или девочка, наверное, опять девочка, совсем не отличить от первенькой.

Роналду не хочет, чтобы я говорила кое о чем, связанном с его матерью, но лучше сеньоре знать. Того человека больше нет в доме, но ей его жалко, и она ходит иногда за ним ухаживать. Он еще работает, когда может, но ему уже не дают работу, как раньше. Живет один, дети все уехали в Рио, а моя свекровь ходит к нему и еду готовит. Роналду не хочет, чтобы я говорила, но человек этот немного помогает свекрови деньгами, а иногда у него болят нервы. Очки свекрови он разбил, свекровь говорит, что уронила на пол, а он случайно наступил ботинком. Я ей не верю.

Свекровь должна переехать к дочери в Ресифи, не к той что в Сан-Пауло, там плохая ситуация. Она остается здесь из-за меня, так она говорит. Я же думаю, что ей жалко того человека. Роналду должен ей написать и сказать, чтобы ехала к Анне Лусье в Ресифи. Неважно, если письмо придет без меня, у нее есть надежные люди, они ей письмо прочитают.

Много добрых пожеланий сеньоре, и пусть Бог нам всем поможет быть потом вместе. Очень уважительно обнимает Вас, Вильма.

Как тебе письмо? По-моему, у девочки добрейшая душа. Хотя сюрпризы всегда бывают. Во всяком случае, попытка не пытка. И я всегда думала: можешь сделать добро, обязательно делай.

В общем, письмо мне пишет не сестра, а бедняжка, с которой я даже не знакома. Из Буэнос-Айреса никто не пишет, названивают по телефону, и в этих разговорах хотят все решить. Но по телефону нервничаешь и главного не говоришь. Будь Эмильсен жива, все было бы иначе. Сегодня утром от невеселых мыслей я стала искать твое последнее письмо. Я же так и не ответила тебе на вопрос, мечтаю ли я в один прекрасный день снова встретиться с дорогими нам людьми, ушедшими от нас. Не мечтаю, Люси, ты права. Если даже ты не сподобилась, хотя больше меня любишь сказки, куда уж мне. Но видишь, невежественные люди с Севера утешаются этим. Может, дело не в невежестве, а в нищете. Когда кругом шаром покати, поневоле будешь тешить себя иллюзиями. Завидую я этой Вильме.

Сказала Роналду о ее словах, но письма не показывала. Он тоже верит в загробный мир. Я сказала, что не верю, а он уставился на меня, словно увидал дьявола во плоти, — и перекрестился! Видно, никогда раньше не говорил с мало верующей типа нас. С вообще не верующей. А потом стал доказывать, что кто-то хотел причинить мне вред и вбил в голову подобные мысли. Тут я, чтобы его успокоить, сказала, что слишком стара и понять кое-что мне уже не дано, а он ответил, что прекрасно знает, как выглядит загробный мир.

Клянусь, Люси, он говорил на полном серьезе. Все знает, говорит, что в первой комнате умерший отец, только он жив-здоров, кого-то стрижет, и когда он сам умрет, то первым делом навестит ненадолго отца, а затем в другой комнате — девочка, ее нянчат Святая Дева и ангелы, пока не умрет он или Вильма и не станет о ней заботиться. А потом, говорит, есть еще комната, там он будет ждать Вильму, пока она не умрет.

Я потом ночью не могла уснуть, все думала об этом. Везет этим недоучкам. Дивно было бы очутиться в первой комнате, представляешь? Хорошо бы оказаться нам там вдвоем, какими мы были в детстве, и ждать маму. Не знаю, помнишь ли ты, такое случалось редко, но иногда мама оставляла нас одних на целый день, уходила сидеть с каким-нибудь больным. А мы не привыкли без нее, скучали безумно целый день, жить без нее не могли. А когда она возвращалась под вечер, такая была радость — обнимать ее, целовать, знать, что она остается с нами навсегда. Навсегда, Люси.

А в другой комнате? В этом смысле я, как Роналду, в другой комнате хотела бы встретить Эмильсен, только маленькую, она была прелестная, тогда останется еще много лет, сорок с лишним, пока она заболеет и уйдет от меня. Хотя на небесах уже не будет расставаний. Хуже всего, ты права, это расставания. А в третьей комнате будут дети Эмильсен, тоже маленькие, нет, подожди, непонятно, где я встречусь с Тито, клянусь, не знаю. Не хочу, наверно, чтобы

он видел меня такой, он ведь меня не узнает, восьмидесятитрехлетнюю, скрюченную, колченогую, с довольно редкими волосами.

Когда Тито умер, мне было чуть за сорок, стройненькая была, изящная. И не хочу видеть его, каким он был под конец, бедненький, кожа да кости, бесконечные боли из-за жуткой болезни. Хочу увидеть его, каким он был, когда мы познакомились, сколько мы танцевали вместе, пасодобли, танго, вальсы. Мужчина был хоть куда! Вспоминаю то платье с двойными складками, розовое, с кремовыми кружевами на груди, без рукавов. Вот шуму наделало это платье! Без рукавов! Году где-то в 23-м или 24-м.

Еще вспомнила, Люси. Когда пришло письмо от родных из Италии, то страшное, и мама не могла подняться с постели от горя. Дядю Антеноре, младшего маминого брата, убили в Салониках, на войне. По-моему, ему было лет двадцать пять. Если война шла с 14-го по 18-й, это случилось году в 16-м или 17-м, кажется, не в самом конце. Лет семьдесят назад или больше, Люси, а помню так ясно. А ты помнишь? Мама не могла смириться, тоже ведь была неверующая. И для нас, если кого теряешь, то это навсегда.

А вдруг прав Роналду, а не мы? Вот было бы славно, если мама, когда ушла из этого мира, после такой долгой, мучительной болезни, встретилась бы с Антеноре, и они смогли поговорить обо всем, чего не написали в письмах, она из Буэнос-Айреса, он из Пьяченцы. На расстоянии месяца пути морем. Письма шли полтора месяца туда, и еще полтора ответ. Бедная мама. Но у нее были мы.

Ладно, Люси, на марки для письма уйдет целое состояние, а транснациональной компании у меня под рукой нет, как у некоторых. Но с кем-то надо говорить, извини, если я все о пустяках да о грустном, хорошо хоть сдобрила письмо смачной сплетней для полного комплекта.

Ничего от меня не скрывайте, ты и Кука, выкладывайте начистоту. Никак не дождусь приезда Вильмы! Береги себя, целую и обнимаю,

Нидия.

P. S.
Не забудь про одеяло, если сама не поедешь, пусть привезет Кука.

Глава одиннадцатая

Буэнос-Айрес, 18 ноября 1987 г.

Дорогая мамуся!

Ты права, требуя письма, чтобы мне не раскошеливаться на телефон. У тебя всегда была голова на плечах, надеемся, что и теперь

тоже есть, несмотря на твою революционную идею об эмиграции. Ты хоть понимаешь, мамуся, что собралась эмигрировать?

Говорил по телефону с Кукой, он сам звонил из офиса в Люцерне, не пугайся, звонил не я. Так что платила компания. Он подтвердил, что вылетает в Рио около 20 декабря на праздничные каникулы. По его словам, ты можешь снять или купить квартиру, никаких помех не будет. Он все равно едет, надо все уладить с филиалом в Рио, вполне вероятно, его закроют. Он вроде давно это знал, только не хотел заранее говорить тете Люси, пока вопрос не решится.

Как он приедет, вы обстоятельно поговорите, он введет тебя в курс дела, и ты оценишь обстановку. Одно могу тебе сказать сразу: тетя Люси никогда не сможет вернуться, ведь Кука теперь будет в Швейцарии постоянно. Поэтому ты хорошенько все обдумай, подумай о твоем будущем в Рио, не рассчитывая при этом на тетю.

Мы будем без тебя очень скучать, но радостно знать, что тебе намного лучше и верхнее давление у тебя заметно снизилось. Нам также спокойнее от мысли, что на Рождество с тобой будет Кука.

Мам, глаза слипаются, пойду спать. Веди себя хорошо, не переедай, твоя невестка тут говорит, чтобы ты не ходила на солнце без зонтика, ее подарка. Целую, твой сын

Масик.

Государственный секретариат /
Гражданская полиция
Полицейский участок Леблон–Руа
Умберту ди Кампус, 315

Протокол заявления

Сегодня, в среду, 16 декабря 1987 года, в 18 час. 20 мин. записано следующее заявление. Сеньор Отавиу Педру Оливейра да Кунья, 22 лет, умеющий читать и писать, предъявитель удостоверения личности номер 6087, выданного полицией штата Минас-Жерайс, наемный работник по уборке помещений в многоквартирном доме по улице Генерала Венансиу Флореса, 119, район Леблон, заявляет, что его сестра Мария Жозе Оливейра да Кунья, несовершеннолетняя, пропала с места своей работы на улице Игарапава 120, квартира 205. Девушка работала в качестве домашней прислуги, главным образом, няни. Точный возраст пропавшей установить не удалось, так как заявитель не помнит даты рождения. Он утверждает, что ей исполнилось тринадцать лет, тогда как сеньора хозяйка квартиры 205 сообщила по телефону, что девушка заявляла о четырнадцати. Сеньора назвалась Ньевис Кастру Атайди и явится для дачи показаний завтра. Вызвана на 18 час. 30 мин.

Несовершеннолетняя Мария Жозе также исполняла обязанности компаньонки сеньоры, проживающей в том же здании, в чьей

квартире номер 104 спала каждую ночь в рамках основных обязанностей. Хозяйкой является сеньора Нидия Мария де Анхелис Марра, аргентинская гражданка, которая явится для дачи показаний завтра. Вызвана на 19 час.

Родители Марии Жозе и Отавиу Педру проживают в населенном пункте Парила, штат Минас, и, по словам заявителя, не получали известий от дочери в последнее время. Означенные родители не имеют телефона по месту жительства, но заявитель связался с ними через телефонный пункт поселка Парила сегодня в 17 час. 30 мин., непосредственно перед явкой в данное учреждение.

На вопрос о предположениях относительно местонахождения несовершеннолетней Отавиу Педру в какой-то момент, по-видимому, был готов говорить, но внезапно запнулся, словно опасаясь чего-то. Пояснил только, что отвечает перед родителями за поведение Марии Жозе в Рио, поскольку сам настоял на ее переезде сюда.

Сам он находится в данном городе с тех пор, как демобилизовался из армии два года назад, после службы в звании рядового по призыву во Втором артиллерийском батальоне, дислоцированном в Рибейра Прета, штат Минас-Жерайс. С тех пор он работал по указанному адресу, а несколько месяцев назад, по его словам, после прошлого карнавала, привез сестру в Рио, так как сеньора Ньевис Кастру Атайди собиралась родить и искала няню. Сеньора Ньевис является дочерью жилицы дома, где работает Отавиу Педру.

Протокол заявления составлен 16 декабря 1987 года в присутствии свидетелей капрала Лусиу Фрейтаса Коэльо и комиссара Арнолду Кампуса Галвана, каковые ставят свои подписи ниже вместе с заявителем.

Государственный секретариат /
Гражданская полиция
Полицейский участок Леблон–Руа
Умберту ди Кампус, 315

Показания свидетеля

Сегодня, в четверг, 17 декабря 1987 года, в 18 час. 45 мин. записаны следующие показания. Сеньора Ньевис Кастру Атайди, 26 лет, преподавательница английского языка Англо-бразильского института, предъявитель удостоверения личности номер 90187–8, выданного Управлением при губернаторе штата Рио, заявляет, что несовершеннолетняя Мария Жозе Оливейра да Кунья не явилась к месту работы вчера, в восемь часов утра, по заведенному расписанию. В предыдущую ночь несовершеннолетняя отправилась, как обычно, в квартиру номер 104 того же здания, когда сеньора Ньевис вернулась с занятий в 18 час. 30 мин. и смогла заняться своим ребенком.

Во вторник, то есть позавчера, сеньора Ньевис по обыкновению пришла домой обедать и застала несовершеннолетнюю в слезах. Мария Жозе́ не хотела давать объяснений, но вскоре призналась, что беременна и боится реакции брата. Сеньора постаралась ее успокоить, пообещав выяснить законность аборта, если речь идет о несовершеннолетней. Тогда несовершеннолетняя отреагировала очень резко и заявила, что хочет родить этого ребенка, ведь он единственное, что останется у нее от человека, который лишил ее девственности и которого она будет ждать, если потребуется, всю жизнь и не посмотрит ни на какого другого мужчину на свете. Более всего сеньору Ньевис поразило глубокое чувство любви, которое, как заявила девушка, обычно очень застенчивая и скрытная, она питает к человеку, имя которого назвать отказалась.

С прошлого месяца, когда несовершеннолетняя перешла ночевать в квартиру 104, она забрала свои немногочисленные вещи, в связи с чем сеньора Ньевис не располагала информацией об исчезновении несовершеннолетней до вчерашнего дня, когда она после восьми часов утра отправилась в квартиру 104 на поиски няни. Именно тогда сеньора, проживающая в 104-й квартире, сообщила, что только сейчас обратила внимание на отсутствие девушки, вместе с вещами последней. Обе женщины решили не ставить в известность брата девушки до полудня, пока сеньора Ньевис не вернется с работы. Сеньора из 104-й осталась присматривать за ребенком сеньоры Ньевис.

Вернувшись в полдень и не имея новостей о несовершеннолетней, сеньора Ньевис позвонила своей матери и попросила известить Отавиу Педру, помощника консьержа дома.

Сеньора Ньевис не получала больше новостей о несовершеннолетней и заявляет, что не располагает иной информацией на этот счет. Показания сняты сегодня, 17 декабря 1987 года, капралом Лусиу Фрейтасом Коэльо и заместителем комиссара Луисом Карлусом Араужу, каковые ставят свои подписи ниже вместе со свидетелем.

Государственный секретариат /
Гражданская полиция
Полицейский участок Леблон–Руа
Умберту ди Кампус, 315

Показания свидетеля

Сегодня, в четверг, 17 декабря 1987 года, в 19 час. 15 мин. записаны следующие показания. Сеньора Нидия Мария де Анхелис Марра, аргентинская гражданка, 83 года, имеющая паспорт номер 9471/5, туристическая виза подлежит продлению 9 января 1988 года, по сведениям, предоставленным самим заинтересованным лицом, заявляет, что несовершеннолетняя не уведомляла ее о каком-

либо намерении оставить работу. Сеньора Нидия Мария добавляет, что несовершеннолетняя вела себя абсолютно корректно в течение тех нескольких недель, что находилась с ней, и не может объяснить ее исчезновения.

Новость о беременности ей сообщила сеньора Ньевис, а несовершеннолетняя ни разу не давала комментариев по поводу отношений с лицами противоположного пола. Тем не менее, лица, снимавшие данные показания, заметили, что сеньора явно нервничает, и обратили внимание на противоречивость ее ответов на вопрос о возможной пропаже ценных вещей или денег из квартиры. Сначала она сказала, что все на месте и нет необходимости что-либо проверять. Затем, однако, заявила, что все проверила и что ничего не исчезло.

Сеньора просила извинить ее, сославшись на преклонный возраст, и в заключение добавила, что несовершеннолетняя отличалась скрытностью, это помешало более близкому знакомству, и что сеньору не следует уведомлять, если выяснятся подробности о местонахождении девушки. Сеньора, видимо, была глубоко оскорблена поведением несовершеннолетней. Показания сняты сегодня, 17 декабря 1987 года, капралом Лусиу Фрейтасом Коэльо и заместителем комиссара Луисом Карлусом Араужу, каковые ставят свои подписи ниже вместе со свидетелем.

Сильвия Бернабеу, Руа Игарапава, 126
Рио-де-Жанейро, 19 декабря 1987 г.

Инженер
Альфредо Мадзарини
Компания "Тиссен Металл К°"
Улица Мариано Морено, 760
Буэнос-Айрес

Уважаемый друг!

Поскольку Вы не позвонили вчера, полагаю, Вам удалось перебронировать билет на прямой рейс из Швейцарии в Буэнос-Айрес. Надеюсь, что, несмотря на адскую загруженность почты в эти дни, мое письмо дойдет до Вас. Мало того что это сложное семейное дело, сюда следует прибавить и бесконечные помехи, связанные с новогодними праздниками. Слово "семейное" я употребляю вполне серьезно, ведь для меня Люси была и остается частью "семьи".

Надеюсь, счет за телефон не окажется чересчур обременительным для Вас, но поскольку Вы так упорно повторяли это, я сочла необходимым позвонить Вам за счет вызываемого вчера в ранний час. В общих чертах мне особо нечего добавить, но все же могу поделиться всеми подробностями, которые неразумно излагать по телефону.

Я довольна, что сумела сообщить о последних событиях своевременно, чтобы Вы успели изменить свои планы и составить маршрут с посадкой сначала в Буэнос-Айресе, а не в Рио, как Вы задумали. Я также рада этому, поскольку на Рождество буду в отъезде и вернусь в первых числах января, когда Вы заедете сюда. Хоть это вышло удачно.

В эти дни много сюрпризов, один из них — что я еду в Мексику и проведу семь дней с сыном, чудом достала билет, прямо вчера решила и, видите, в разгар Рождества добыла место, как наверняка добыли и Вы, видимо, благодаря отказам в последнюю минуту. Люди бронируют билеты настолько заранее, что очень часто к назначенной дате их планы полностью меняются. К тому же я заплатила за бизнес-класс целое состояние, но нынешнее Рождество хочу отметить торжественно.

Очень прошу, обязательно позвоните, когда приедете в Рио в январе, увидимся, так хочется узнать все подробности последних дней Люси. Это может показаться неуместной прихотью в час скорби, но нет, это не так, для меня хуже незнание фактов, которое уводит воображение в экскурсы, не всегда позитивные. Нет ничего лучше, чем посмотреть правде в глаза, когда речь идет о смирении перед лицом невосполнимой утраты.

Но я отдаляюсь от истинного мотива данного письма, а именно, от желания проинформировать Вас о Вашей тете Нидии. Еще три дня назад казалось, что все складывается наилучшим образом. Ваша тетя каждый день отправлялась на весьма удаленный автовокзал Рио и пыталась за счет возврата брони или отмены билета найти место для жены Роналду. Ввиду близости Рождества свободных мест до 25-го числа не было. Тогда она решила взять ей билет на самолет, правда, свободных мест тоже не было, хотя там что-то можно решить по телефону, в отличие от автобусных компаний, где телефонных заказов не принимают.

К тому же автовокзал находится более чем в часе от нашего квартала, но это не мешало сеньоре Нидии каждое утро отправляться туда и требовать места, оставшегося от брони, и часами стоять в очереди в напрасном ожидании. Наконец, позвонили из одного бюро путешествий, нашли место на самолет на 20-е число, требовалось зайти и заплатить в течение сорока восьми часов. Я доллары обожаю, ну и поменяла ей, она дала деньги Роналду, чтобы тот забрал квитанцию в бюро, здесь неподалеку, в Ипанеме.

Это было примерно неделю назад, и все шло вроде нормально. В прошлую среду, 16-го числа, вечером, сеньора Нидия позвонила мне в глубокой тревоге. Роналду не явился в шесть вечера для привычной прогулки, он также отсутствовал в положенное время на месте охранника в моем доме, куда заступает в девять часов вечера. К тому времени уже была половина одиннадцатого. Наряду с этим, в то утро из ее дома, не сказав ни слова и захватив свою одежонку, исчезла девушка, которая приходила к ней ночевать. Сеньора Ни-

дия попросила проводить ее на стройку, где Роналду спал днем, но у меня были гости, и я не смогла удовлетворить ее просьбу.

На следующее утро сеньора Нидия одна пошла на стройку и переговорила с приятелем Роналду. Действительно, парень уехал из Рио рано утром в среду, так как его обвиняли в совращении малолетней, и брат девушки разыскивал его, чтобы убить. Приятель Роналду не хотел говорить, куда тот бежал, но, когда сеньора Нидия намекнула, что хочет послать ему денег, сказал, что, видимо, он где-то в окрестностях Сан-Пауло, где живет одна из его сестер. Но адреса никто не знает. Наконец, сеньора Нидия протянула ему купюру в тысячу крузадо и просила передать Роналду, если тот появится. Тогда приятель сказал, что не возьмет деньги, поскольку Роналду не вернется, так как уехал с девушкой. Сеньора Нидия настояла на своем и оставила тысячу крузадо.

Вернувшись домой, она позвонила в бюро путешествий, чтобы отменить бронь. Тогда выяснилось, что Роналду вообще не приходил и не оплачивал авиабилета жены, срок брони которого истек три дня назад. Когда сеньора Нидия попросила квитанцию, Роналду сослался на то, что где-то ее оставил, и дело было забыто. В тот же день ее вызвали в полицейский участок нашего района и, видимо, она быстро преодолела шок, даже допрос ее не особенно обеспокоил.

Выйдя из участка, Ваша тетя похолодела от ужаса: девушка спала в комнате со стенными шкафами и комодом, набитыми одеждой Люси. А также ценными вещами. Из драгоценностей не пропало ничего. Исчезло белое кружевное платье, дорогущее, Вы подарили его маме по случаю поездки в Форталезу, полностью вышитое вручную. И белая мантилья, кажется, из Испании, и самое ценное для дорогой Люси — изделие из брюссельского кружева, я не очень поняла Вашу тетю, что именно, вроде шарф или шаль, тоже Ваш подарок маме, она обожала узкие кружева. Вы, наверное, вспомните, что это было. Цвета она не уточнила, но обычно вышивка из Брюсселя — белая, так что, видимо, вещица тоже была белой. Все лежало вместе, специально обернутое для лучшей сохранности.

Там же она нашла записку от Роналду. Я ее не видела, но, по словам Нидии, он просил прощения и уверял, что сам не понимает, зачем поддался искушению, тогда как его главным желанием был приезд жены. Но ему приходится бежать, чтобы спасти жизнь.

Нидию особенно потрясла кража денег на билет, и на следующий день, в пятницу, она уже была в Буэнос-Айресе. Захотела улететь немедленно, оставила консьержу вознаграждение, чтобы поливал растения, а с поездкой в аэропорт все решила через Вашу бывшую секретаршу. Все это происходило в часы моей работы, я едва успела обнять ее на прощание в перерыве между пациентами, перед отъездом на такси в аэропорт.

Тогда она и сказала ужасную вещь: что чувствует себя виноватой в случившемся с бедной девочкой, Марией Жозе, не сумела ее

уберечь, предостеречь насчет Роналду. Просто она мысли не могла допустить, что парень способен обидеть чистое, невинное дитя. Лишь теперь она поняла, как прав был сын, говоря, что безрассудные затеи уже не для ее возраста. Бедная Нидия и правда ходила как в воду опущенная, а я не успела помочь ей, не успела объяснить, что она поступила самым расчудесным образом.

Но разговор шел у подъезда, в присутствии водителя такси, поглядывавшего на часы, а меня ждал пациент в консультации. Вы увидитесь с ней в Буэнос-Айресе, умоляю, постарайтесь, чтобы она взглянула на вещи с другой стороны, только, разумеется, не говорите, что это я Вам писала, ведь наша переписка велась втайне от нее.

Сеньора Нидия действовала идеально, с неизменным благородством, объясните ей это, прошу Вас.

Что еще добавить? Я говорила с консьержем дома дорогой Люси, просила отдавать мне счета за свет, газ и телефон. Поскольку Вы приедете в январе, я ни о чем не волнуюсь.

Пока я в Рио, каждые два-три дня буду заглядывать, проверять растения на случай, если консьерж забудет их полить. Он меня знает и дает ключ без проблем. Люси переживала бы, зная, что они стоят без воды. В Мексику лечу 22-го.

Полагаю, к этому времени сеньора Нидия уже узнает правду о сестре. Невеселые рождественские праздники ждут ее, бедная Нидия! Как мечтала она о новой семье в Рио. Не понимаю, как люди способны перенести такую боль, такое разочарование.

Надеюсь увидеть Вас здесь, очень прошу, если не приедете, хоть позвоните из Буэнос-Айреса. Приветствую Вас с искренним дружеским чувством,

Сильвия Бернабеу.

Государственный секретариат /
Гражданская полиция
Полицейский участок Леблон–Руа
Умберту ди Кампус, 315

Протокол заявления

Сегодня, 21 декабря, в одиннадцать часов утра записано следующее заявление. Сеньор Орланду Лима Брандан, 45 лет, предъявитель удостоверения личности номер 101 658, выданного полицией штата Рио-де-Жанейро, имеющий лицензию инженера-строителя, оформленную муниципалитетом данного города, руководитель строительного объекта по улице Самбайба, 198, заявляет, что в ночные часы персонал его стройки был потревожен посещениями Отавиу Педру Оливейры да Кунья, работника по уборке помещений в многоквартирном доме по улице Генерала Венансиу Флореса, 119, в указанном районе Леблон.

Отавиу Педру явился, разыскивая субъекта, который, по его утверждениям, обычно спал на стройке и совратил его несовершеннолетнюю сестру. Он приходил дважды в прошлые выходные, сначала зашел по-дружески, а потом в нетрезвом состоянии, и даже размахивал огнестрельным оружием, угрожая каждому, кто откажется сказать, где скрывается разыскиваемый субъект. Показания сняты сегодня, 21 декабря 1987 года, капралом Лусиу Фрейтасом Коэльо и заместителем комиссара Луисом Карлусом Араужу, каковые ставят свои подписи ниже вместе со свидетелем.

Государственный секретариат /
Гражданская полиция
Полицейский участок Леблон–Руа
Умберту ди Кампус, 315

Показания подозреваемого
Нарушение общественного порядка

Сегодня, в понедельник, 21 декабря, в 18 час. записаны следующие показания. Сеньор Отавиу Педру Оливейра да Кунья, 22 года, умеющий читать и писать, предъявитель удостоверения личности номер 6087, выданного полицией штата Минас-Жерайс, наемный работник по уборке помещений в многоквартирном доме по улице Генерала Венансиу Флореса, 119, признает, что появлялся на строительном объекте по улице Самбайба, 198, разыскивая субъекта, который, по его словам, совратил его сестру, несовершеннолетнюю Марию Жозе Оливейра да Кунья.

Отавиу Педру изложил нижеследующие факты. Неделю назад, не помнит точно в какой день, сестра явилась к нему на работу и в слезах рассказала, что поверила лживым обещаниям жениться одного молодого человека и отдалась ему. Месячные у нее уже задерживались на несколько дней, и при осмотре в больнице выявлена беременность. Затем девушка попросила брата явиться к субъекту по имени Роналду Родригес ду Насименту, ночному охраннику дома, расположенного по улице Игарапава, 126, Верхний Леблон. Несовершеннолетняя настойчиво просила брата пригрозить виновнику смертью, пока тот не пообещает на ней жениться. Отавиу Педру так и поступил в понедельник, 14 декабря, однако ночной охранник отрицал все обвинения.

Тогда Отавиу Педру пригрозил, что если охранник не придет к нему на рабочее место в дневные часы вместе с несовершеннолетней, то он явится следующей ночью в то же время, вооружившись револьвером, полный решимости отплатить за обиду.

Во вторник, 15 декабря, Отавиу Педру ждал появления ночного охранника, но тот не пришел, и ночью того же дня он явился в швейцарскую дома по улице Игарапава. Ночного охранника не бы-

ло на месте, и тогда он направился на строительный объект, надеясь застать его там.

Товарищи охранника впустили Отавиу Педру внутрь, чтобы тот убедился в его отсутствии. На следующий день, в среду 16-го, Отавиу Педру обнаружил, что его сестра также исчезла с работы, и подал заявление в данный участок. Не располагая конкретными уликами против ночного охранника, Отавиу Педру не упомянул его в указанном заявлении.

Несмотря на недостаток улик, двумя днями позже, не имея новостей о несовершеннолетней и в состоянии алкогольного помрачения, он явился в ночные часы на строительный объект, размахивая револьвером и угрожая присутствующим, каковые не смогли предоставить ему информацию об отсутствующем.

Отавиу Педру уверяет, что после данного эпизода обдумал все случившееся и лучше уяснил ситуацию, главным образом, благодаря утверждениям своей невесты, которая даст показания по делу вслед за этим. Отавиу Педру заверяет, что не вынашивает планов нападения в будущем, и под присягой обязуется впредь не выносить за пределы здания, в котором работает, находящееся в собственности кондоминиума огнестрельное оружие, каковым он воспользовался для запугивания рабочих стройки.

Показания свидетеля
Дополнительный протокол
(продолжение)

Сегодня, в понедельник, 21 декабря, в 18 час. 30 мин. записаны следующие показания. Антония Мария да Силва Лопес, 21 год, не умеющая ни читать, ни писать, предъявитель удостоверения личности номер 57983, выданного полицией штата Пернамбуку, домашняя прислуга в квартире 205, по улице Игарапава, 120, помолвлена с Отавиу Педру Оливейрой да Кунья, который рекомендовал ее для работы собственнице квартиры Ньевис Кастру Атайди два года назад, когда сеньора Ньевис вышла замуж и покинула дом матери, проживающей в здании, где работает Отавиу Педру.

Антония Мария зашлась в судорожном плаче, заговорив о том, что считает отвратительным поступок несовершеннолетней Марии Жозе, чье постыдное поведение привело лично Отавиу Педру к осложнениям с органами правосудия. Антония Мария познакомилась с Марией Жозе десять месяцев назад, когда последняя приехала в Рио, чтобы присматривать за новорожденным ребенком сеньоры Ньевис. Вскоре по прибытии Мария Жозе воспылала сильным чувством к ночному охраннику из соседнего здания, с которым ей не удавалось заговорить, так как он появлялся лишь в поздние часы, когда несовершеннолетняя не могла выходить одна из дома.

В какой-то момент им все же удалось перемолвиться парой слов, и охранник пригласил ее зайти поздно ночью в швейцарскую. Антония Мария с самого начала вела себя бдительно, даже вынимала каждую ночь связку ключей из двери черного хода, оставляя их на полочке в своей комнате. Но однажды в три часа ночи услышала, как несовершеннолетняя одевается, собираясь выйти, и пытается завладеть ключами. Помешав ей в этом, пригрозила рассказать брату, если такое повторится, и с тех пор спала с ключами под подушкой.

Несовершеннолетняя поздно ночью зажигала свет на кухне, где спала на матрасе, который убирала утром, и это освещение будило Антонию Марию. Несовершеннолетняя ссылалась на нервы и бессонницу и часами читала журналы, пока ей не удавалось заснуть снова. Однажды это обнаружила сеньора Ньевис и запретила зажигать свет в кухне в течение ночи, чтобы не беспокоить Антонию Марию, которая спит в смежной комнате, отделенной от кухни просто аркой.

С той поры Антония Мария иногда заставала девушку ночью, в поздние часы, сидящей на матрасе в полной темноте, поскольку слышала, как несовершеннолетняя ходит к холодильнику за водой, мучаясь бессонницей. По словам Антонии Марии, несовершеннолетняя никогда при ней не плакала, разве только когда смотрела сериалы, но ее, видимо, неотвязно преследовала мысль о ночном охраннике, сидящем совсем недалеко от нее. Антония Мария знала, что охранник женат, даже помнила жену, которая года два назад работала домашней прислугой в их квартале. Рассказала об этом несовершеннолетней, но так и не добилась перемены в ее поведении.

Несовершеннолетнюю терзала мысль, и она не уставала это повторять, что другая женщина может вовлечь данного субъекта в какой-нибудь свой план. Антония Мария пыталась понять, что́ она имеет в виду, но объяснения не добилась. Несовершеннолетняя уверяла, что покончит с собой, если другая женщина отнимет у нее любовь охранника, и жила в явной тревоге, даже в часы просмотра телесериалов ей едва удавалось сдерживать слезы при виде сцен несчастной любви.

Когда в прошлом месяце сеньора из 104-й квартиры попросила Марию Жозе ночевать у нее дома, Антония Мария сообщила о своих опасениях Отавиу Педру, но тот воспринял новость с нескрываемой радостью, ведь таким образом несовершеннолетняя могла бы зарабатывать больше и помогать родителям, младшим братьям и сестрам, которым это необходимо. К тому же теперь он иногда мог бы навещать Антонию Марию ночью и экономить в еженедельных расходах на отель, в свободный день Антонии Марии. Оба они стремятся экономить, чтобы пожениться как можно скорее.

Вскоре, проспав недели три в 104-й квартире, Мария Жозе объявила Антонии Марии, что беременна от охранника. Она отдала девственность этому субъекту и тем достигла своей цели, и теперь

брат должен вмешаться, чтобы охранник оформил с ней отношения, пусть на словах, например, торжественно пообещав, что вечно будет жить с нею, причем обещание охранник должен произнести перед Антонией Марией и Отавиу Педру, как это мыслилось несовершеннолетней вследствие ее невежества и неискушенности.

Антония Мария сразу отнеслась с недоверием к беременности Марии Жозе, так как знала числа ее месячных, которые не совпадали с тем, что говорила несовершеннолетняя. В тот же день несовершеннолетняя поговорила с братом на эту тему, но тот не захотел слушать предостережений Антонии Марии о неправдоподобности дела. Как бы то ни было, днями позже Антония Мария предположила, что беременность уже могла иметь место, тогда как проверку на наличие менструации, до которой еще оставалось несколько дней, проводить было преждевременно.

Показания сняты сегодня, 21 декабря 1987 года, капралом Лусиу Фрейтасом Коэльо с разрешения комиссара Арнолду Кампуса Галвана, каковые ставят свои подписи ниже вместе со свидетелями.

Глава двенадцатая

Буэнос-Айрес, 5 января 1988 г.

Дорогая Сильвия!

Пользуюсь поездкой моего племянника Куки, чтобы сообщить новости. Столько всего произошло! Прежде всего благодарю за теплые слова, там, у Вашего дома, перед моим отъездом на такси в аэропорт. Эти слова мне очень помогли, и они навсегда останутся в моей памяти. Всякий раз, когда есть возможность делать кому-то добро, надо делать, правда? И эти люди так в нем нуждались, но бес их попутал.

Кстати о нужде и лишениях, невероятно, что стало с Буэнос-Айресом, всюду нищие. И это здесь, где зима так сурова! Там хоть климат помогает. По крайней мере, та бедняжка, что осталась на Севере, не будет мерзнуть.

Ладно, Сильвия, дело прошлое, сущий пустяк по сравнению с тем горем, что меня ожидало. Только я приехала, как сын сообщил, что утром звонил из Швейцарии Кука и сказал, что моя сестренка не поправляется, даже есть признаки ухудшения. Договорились, что на следующий день в полдень позвонит Кука, и ровно в двенадцать зазвонил телефон в конторе сына, я была дома.

Я всегда думала, что это временное недомогание, никогда не придавала ему значения, но после второго звонка начала беспокоиться, ведь Люси стало намного хуже. И в тот же вечер, перед уходом сына с работы, снова позвонили из Люцерна с печальным известием.

Бедная Люси, словно ждала, пока я вернусь в Буэнос-Айрес и окажусь в кругу дорогих мне людей, чтобы уйти из этого мира. Представляете, каково было бы получить известие в Рио, в полном одиночестве?

Я просила сына позвонить Вам или послать телеграмму. В суматохе, из-за стольких звонков от разных людей, я уже и не помню, что они там решили, надеюсь, известие Вы получили. Печальная весть, но сообщить ее надо.

Кука лично расскажет все подробности о болезни бедненькой Люси, мне нет смысла об этом говорить. О моей здешней жизни сказать почти нечего, все, как раньше, хотя нет, все не как раньше. Ведь с уходом моей Эмильсен жизнь у меня изменилась, не знаю, говорила ли я Вам, ее квартира была рядом с моей. Поэтому я с ней постоянно виделась, по нескольку раз в день.

Игнасио, ее мужа, вижу мало, работает он далеко и уходит очень рано, ребят чаще, но мельком, носятся туда-сюда, то в школу, то из школы, вечно голодные, набрасываются на холодильник, не понимаю, как удается держать его всегда полным. Бедняжки, за ними присматривает девушка-служанка, она приходит только по утрам, с финансами туговато, едва-едва хватает. Думаю, буду им ежемесячно помогать, хоть Игнасио это и не понравится. Пообещаю ему, что ни во что не буду вмешиваться.

Еще новость, Игнасио женится снова. Уже давно встречается с этой сеньорой, мне не хотели говорить. Но хорошо, что девушка немолодая, старше Эмильсен, его возраста, 51 год, ни разу не была замужем.

По правде говоря, в этом доме уже пора кому-то основательно убраться, видела бы Эмильсен, как все заросло грязью у этой служанки, перекрестилась бы. И у детей трудный возраст. Я боялась, попадется ему девчонка, которая и кастрюли толком не отдраит. А эта, похоже, будет хорошей хозяйкой.

С удивлением обнаружила, что у младшего из детей Эмильсен лицо уже другое, вступает в пору созревания. Идеальное было личико, а теперь вся физиономия распухла, нос огромный, как перец. Уверена, потом все образуется, из моих внуков он был самым красивым, а стал хуже любого в этом возрасте, в смысле на этом этапе.

Позавчера давление подскочило, вот было страху, и первое, о чем я подумала, этот мальчик, его зовут Хильберто. Если и пожить еще, то ради одного: посмотреть, как он становится мужчиной, с неповторимой внешностью. Ведь сейчас он совсем не тот чудный малыш, каким я его помню, но и это не окончательный его вид. Буду особенно беречься по части еды, постараюсь не нервничать понапрасну, глядишь — протяну еще годик-другой.

Пишите поскорее, и с новостями о Вашем сыне. Желаю всего хорошего, с нежным приветом

Нидия.

P. S.

Забыла ответить на один вопрос. Вы у подъезда, когда я отъезжала в аэропорт, поинтересовались, каким был муж Люси, а то разговор всегда шел о Феррейре, Вы ее так и не спросили. Мне пора было ехать, так что говорю теперь. Она никогда о нем не упоминала, он ведь был очень умным человеком, старше ее, и вот лет 35 назад, нет, кажется, 30, ей и 60-ти не было, или было, нет, 50 с чем-то, вот, с ним произошел несчастный случай, и он утратил умственные способности. Бедный Альберто стал просто вещью, а не человеком. Люси долгие годы ухаживала за существом, которое когда-то было ее мужем. Постоянно сидела при нем, но много читала и смотрела телевизор. Это ее спасло. Затем вместе мы несколько раз отправлялись в чудные путешествия. Такая вот жизнь, есть в ней и хорошее, и плохое. Более-менее как у всех, беда никого не обходит стороной. Жаль, зачастую у Люси было ощущение, будто все хорошее выпало не на ее долю, а на долю другой.

Это ужасно, но бывает хуже — забыть все хорошее и вспоминать только плохое. Тут надо бы выбежать в поле, как бедная Вильма, но, если ты сидишь взаперти в квартире, а на улице дождь, надо срочно браться за полезное дело, за что угодно. За что-то еще нужное. Подшить, подштопать, что под руку попадется. В этом спасение.

Рио-де-Жанейро, 31 января 1988 г.

Незабываемая сеньора Нидия!

Извините, что так задержалась с ответом, хотела сначала поговорить с сеньорой из 205-й, из дома Люси, вдруг ей известно что-то о ненормальном Роналду или о бедной няньке.

Наконец, встретила ее на улице, и никаких новостей. Девушка, в смысле няня, прислала записку родителям, пишет, что она в порядке, работает в Сан-Пауло, что парень собирается на ней жениться, так как родится ребенок. Но поскольку бедняжка не умеет ни читать, ни писать, неизвестно, где правда.

Большое спасибо, что вспомнили о моем сыне. Он совсем не пишет, только звонит, не знаю, как потом расплачивается, говорит-то часами. К счастью, дела у него идут хорошо, по его словам. Я уже смирилась, ему там понравилось, хочет остаться, это его жизнь. Рассказывает, что там ужасный экономический кризис. Здесь тоже, и в Аргентине не лучше, куда все катится?

К Рождеству на меня нашло, чуть не улетела в Мексику, билет стоил запредельно, оставались места только в бизнес-классе. Чуть не полетела, но позвонил Феррейра и дал понять, что я его бросаю в самый тяжелый период. Я и вняла, в Мексику все же поеду, но в отпуск, пробуду там почти месяц, не пять жалких дней.

Помимо этого, жизнь у меня все та же. Феррейра возникает время от времени, рассказывает о своем. Да, только сейчас поняла,

Вы же уехали до Рождества! Тогда у меня для Вас великая новость. В начале этого месяца он перебрался к новому "очагу"!

Звонил накануне, просил совета. Вопрос прежде всего материального порядка. Оказывается, его дочь хочет привести в дом парня, он студент из штата Парана, почти без денег, так как потерял работу. Короче, все из-за кризиса, здесь закрывают фабрики и конторы, так уже было в Аргентине несколько лет назад. И Феррейра предпочел, чтобы она привела парня в дом, чем скитаться по отельчикам ночью, днем, в любое время. Такие теперь домашние очаги, Нидия, не то что в Ваше время, правда?

Но, понятно, еще одному в доме места не нашлось бы. И тогда Феррейра переехал к этой женщине, ужасно далеко, но хоть относительно тихо. А по прошествии разумного срока он женится, не сейчас, ведь жена умерла совсем недавно.

Должна признать, что новость задела меня довольно сильно. Несколько дней я все видела в черном цвете. Но на прошлой неделе он позвонил и появился, все как раньше, было впечатление, что ничего не произошло. Его новая "жена" ведет занятия в средней школе, но по вечерам, в отличие от умершей, и всегда приходит домой после одиннадцати, когда заканчиваются курсы, они с семи до одиннадцати. Сегодня жду его снова, а пока пишу это письмо. Если он немного задержится, успею закончить.

Вы знаете, сеньора Нидия, как я страшно занята, столько всего, что нелегко выкроить время. И каждый вечер еще пишу моему мальчику. Хоть страничку. Я вменила себе это в обязанность, и это дает свои результаты. Так я стараюсь поддерживать с ним связь. Пусть он не отвечает, неважно, зато когда звонит, то помнит все, о чем я писала в письме, и тогда я ощущаю, что не теряю его совсем. Контакт не утрачивается, понимаете? Это хорошая система, не знаю, почему я раньше об этом не подумала. Он особенно любит, когда я рассказываю о пациентах, о динамике их болезни. Я всегда об этом рассказывала, ему очень интересно.

Я ему напишу, как только уйдет Феррейра, хочу рассказать об одной пациентке, какой у нее наблюдался сегодня резкий поворот. Это для меня уже как наркотик, не напишу страничку сыну, заснуть не могу. Он всегда говорит одно и то же: "Мам, не сердись, если я не пишу, много раз в день я мысленно говорю с тобой, разбирая все, о чем ты по секрету сообщаешь в письмах".

Ладно, сеньора Нидия, крепко Вас обнимаю, пишите время от времени.

Сильвия.

— Алло...
— Сеньору Нидию, пожалуйста...
— Это я, кто говорит?
— Сильвия. Как поживаете?

— Сильвия! Какая радость! Вы здесь, в Буэнос-Айресе?

— Нет, я звоню из Рио.

— Ой, какая честь... Скажите, вы в порядке?

— Да, дел полно, только и всего. Как там ваше давление?

— Более-менее. Но теперь установится хорошая погода, станет потеплее, а это очень помогает. Хотя, понятно, потом начнется зима, и для меня это самое ужасное.

— Получили мое письмо?

— Да, почта работает медленно, но пришло. На днях собиралась вам ответить.

— Нидия, я все равно очень хотела с вами поговорить, узнать, как вы там, но сегодня у меня есть что рассказать...

— Про Феррейру?

— Нет, о нем никаких новостей, всегда одно и то же...

— О чем же тогда? Что-то не так?

— Нет, в Леблоне объявилась та девушка, Вильма, жена Роналду.

— А...

— Уже работает в одном доме, там же, где работала раньше, больше двух лет назад, по-моему. Но там ее очень любят и сразу взяли, как только она приехала.

— А, да...

— Приехала, надеялась отыскать мужа, в этом смысле она в полном отчаянии. Заходила ко мне, спрашивала всякое.

— Бедная девочка...

— Много спрашивала о вас, Нидия...

— Да...

— Ей очень нужна поддержка, по-моему, ей очень плохо, она действительно в отчаянии.

— Бедняжка...

— Нидия, почему бы вам не приехать, когда начнутся холода? Квартира Люси по-прежнему не сдана.

— Что же ее никто не снимет? Она такая хорошенькая!

— Просто ваш племянник поставил агентству недвижимости нереальные условия, Нидия, запросил много, он исходит из цен в Швейцарии.

— Нет, такие подвиги мне уже не под силу, Сильвия.

— Теперь, когда в Буэнос-Айресе начинаются холода, ваши родные не будут противиться.

— Нет, Сильвия, правда, мне это уже не по силам.

— Меня очень беспокоит эта девочка, Вильма.

— Обнимите ее от моего имени, пожалуйста.

— Нидия, вы знаете, мы бы с удовольствием вас тут встретили.

— Правда спасибо, но не думаю, что это возможно. Мне уже много лет.

— Звоните, если что, я здесь, в Мексику не поеду до июльского отпуска.

— Нет, Сильвия. Я однажды допустила ошибку, больше не буду повторять. Не могу доверять людям такого рода.

— Да, я понимаю, но...

— Нет, я больше туда не вернусь.

— Подумайте, а если нет... в один прекрасный день я заявлюсь в вам в Буэнос-Айрес.

— Да... было бы чудесно, приезжайте скорей!

— Нет, Нидия, это я так, к слову... Нет времени, чего стоит одна поездка в Мексику, да и пациентов надо принимать.

— Не знаю, Сильвия, голос у вас что-то приунывший.

— Это тоска, Нидия, все от меня уезжают подальше.

— Феррейру часто видите?

— Обычно раз в неделю, в тот день, когда занятия у жены заканчиваются позже.

— В какой день недели, если не секрет?

— По средам. Хороший день, правда? Делит неделю надвое.

— Вчера вечером, значит. Но он не приходил, правда?

— Нет.

— А...

— Вы всегда все угадываете. Одним словом, раз в две недели, на самом деле. А если среда выпадает на праздники... и того реже. Она дома сидит.

— Маловато получается.

— По-моему, да. Ну ладно, рада, что вы в порядке, обнимаю вас.

— А погода хорошая?

— Да, хотя ночь наступает уже около пяти, дни становятся короче.

— Сильвия... извините за нескромность... почему вы не пошлете этого Феррейру к черту?

— Чуть не послала. Я обратила внимание вот на что. Оказывается, как только я упоминаю о поездке в Мексику, у него портится настроение.

— Мужской эгоизм.

— Но мне это понравилось, мне показалось, он не хочет моей поездки, потому что будет скучать.

— Так оно и есть, он по-своему вас любит, мне всегда так казалось. Он человек хороший, не ломайте больше голову. Но, в общем, сегодня сыт, а завтра будет видно, так что, если это вам неприятно... гоните его взашей без разговоров!

— Знаете, Нидия, нечто подобное уже было, насчет гнать взашей. Но это ерунда, вам будет неинтересно.

— Нет, никакая не ерунда, хочу знать сейчас же, Сильвия, прошу вас, расскажите!

— Поскольку он не хотел расставаться, не хотел, чтобы я ехала в отпуск, у меня снова возникли иллюзии, возможно, он меня любит... больше, чем кажется, чем он показывает. Но, с другой стороны, он находил любой пустяковый предлог, чтобы не прийти, и это противоречие меня тяготило. Тогда я устроила ему ловушку, бедняжке...

— Слушаю.

— Сказала однажды, что, вероятно, не смогу в итоге поехать в Мексику из-за недостатка времени. Ложь, конечно. И что за билет платила не я, что это по приглашению государства, и мне очень легко переписать билет на его имя, пусть воспользуется, поедет... прогуляется.

— Ах, Сильвия, не продолжайте...

— Нет, продолжу. Я-то ждала, что он скажет: "Отлично, никуда не едешь, остаешься со мной в Рио!" Но не тут-то было, он подскочил от радости, не потому что я оставалась, а потому что он мог поехать!

— Как гнусно...

— Его бесило, что еду я. Ревновал, но не ко мне, а к моей поездке!

— Ах, Сильвия, думаю, он вас недостоин. Я представляла его добрее, щедрее.

— Он добрый, Нидия. Но в душе его есть этот надлом, тоска по непрожитой жизни. Его бесит, что другие на что-то способны.

— Вы его понимаете, может, этим он и пользуется.

— У меня, вероятно, некая профессиональная деформация, я оправдываю людей.

— Да, но он пользуется этим, а вам ничего не дает.

— Ну, не совсем так. Мне от него что-то передается, причем очень позитивное. Наверное, его жизнелюбие, его нереализованные желания, из прошлого. Такое редко встречается, мечты, ожидания. Он уверен, что как только выберется из нынешней своей жизни, все будет изумительно, эти путешествия, о которых он мечтает... Это заразительно, так хочется подняться с ним на корабль, отплывающий неизвестно куда, не на корабль, на баркас, не знаю точно, как по-испански. Он всегда называет это на своем жаргоне. Короче, забываю я испанский.

— А я — то немногое, что выучила по-португальски.

— Не баркас, меньше баркаса, другое слово...

— Может, плот.

— Нет, плот — слишком мал. Неважно. Я бы села с ним, будь это даже плот. Плот, плывущий в никуда. Или куда-то.

— Не знаю, что и сказать вам, Сильвия, нелегко дать совет. Садитесь на этот... бот, или нет.

— Не думайте, мне уже одно это помогает, разговор с вами. Говорить полезно, многое проясняется. Но говорить можно не со всяким.

— Главное, чтобы вы не пожалели, когда получите счет за телефон.

— Нет, Нидия, если бы все проблемы упирались в деньги. Нет, про Феррейру мне очень важно, сейчас, в разговоре с вами, я лучше понимаю происходящее, просто, когда я с ним... что-то мне передается, и приходит уверенность, что плот действительно направляется куда-то, в надежную гавань. Но когда я одна, начинаю сомневаться, а это нехорошо — думать, будто ничто ни к чему не ведет.

— ...

— Вы замолчали, Нидия.

— Да, так хотелось сказать вам что-то хорошее, для поддержки, но в голову ничего не приходит.

— ...

— Теперь вы замолчали.

— Да...

— Хотя нет, придумала! Ни в коем случае не оплачивайте поездку в Мексику этому лоботрясу!

— Нет, что я, ненормальная?! И потом, там он мне будет помехой. Там я хочу быть с сыном.

— Он вам там правда помешает?

— Разумеется. Месяца мне еле хватит, чтобы насладиться общением с сыночком, бедняжкой. Сами знаете нас, матерей. И повидать всех прежних друзей. Там еще застрял кое-кто из аргентинских эмигрантов.

— А...

— Вы не одобряете?

— Не знаю, правильно ли я поняла. Вам не хотелось бы ехать в Мексику с Феррейрой?

— Нет! На что он мне там? Это здесь мне нужно немного нежности!

— ...

— Вы опять замолчали, Нидия.

— Нет, это я задумалась, только и всего.

— Звонят в дверь, пациент пришел.

— Ладно, Сильвия, пишите, не забывайте.

— Как ваш внук, нос уже не такой распухший?

— Не знаю, Сильвия, я его несколько дней не вижу.

— Ладно, Нидия, целую, и пусть будет до скорого...

— Крепко обнимаю, и спасибо, что вспомнили обо мне.

— Если увижу Вильму, передать что-то от вас?

— Да, что я очень сожалею о случившемся.

— Чао, до скорого... И приезжайте, Нидия, с большой радостью вас встретим.

– Нет, Сильвия, ездить куда-то – это для меня совершенно исключено.

– Жалко. Обнимаю...

– Чао, Сильвия.

Аргентинские авиалинии

Отчет о полете
Обслуживание пассажиров

Дата: 24 февраля 1988 г.

Рейс: 401 Буэнос-Айрес–Нью-Йорк, с посадкой в Рио-де-Жанейро.

Старший бортпроводник: Рауль Костанцо.

Единственное нарушение, отмеченное в ходе полета, имело место перед посадкой в Рио-де-Жанейро, где выходила пассажирка экономкласса Н. де Анхелис, которой было оказано особое внимание в связи с ее преклонным возрастом и высоким артериальным давлением. Ужин согласно бессолевой диете был ей подан в установленном порядке, и пассажирка выразила большое удовлетворение обслуживанием. Незадолго до посадки в Рио стюардесса Анна Мария Зиль доложила мне, что заметила, как упомянутая пассажирка прячет в своей вместительной дамской сумочке один из наших бортовых пледов. Стюардесса Зиль не решилась указать пассажирке на то, что плед является собственностью "Аргентинских авиалиний", учитывая возраст и состояние пассажирки, однако сообщила об этом составителю данного отчета. По общей договоренности решено было оставить происшествие без внимания. Тем не менее, данный эпизод фиксируется в качестве наглядной иллюстрации к проблеме постоянного исчезновения пледов. Посадка в Рио произведена мягко, и пассажиры отметили мастерство командира корабля аплодисментами.

Леопольдо Брисуэла

Счастливые беглецы

Повесть

Перевод Надежды Беленькой

Посвящается Гризельде Гамбаро

Когда индейцы перейдут на рысь, он сделает то же самое; и через час, когда они спешатся и возьмут коней под уздцы, он вновь повторит их действия. И тогда ему откроется нечто, чего он не ведал ранее.

Д. Саэнс *Родина, выбранная по ошибке*

1

Когда в конце девятнадцатого века Первый национальный конгресс Аргентины заговорил об "окончательном решении индейского вопроса", провинциальные сенаторы настойчиво потребовали у буэнос-айресских властей прекращения войны, развязанной правительством против индейских племен на южной границе. Огромный

© Leopoldo Brisuela, 2000
© Надежда Беленькая. Перевод, 2010

урон, нанесенный этой войной, — утверждали они, — кровоточащая рана на теле страны, а продолжительность войны, немыслимая для цивилизованного государства, объясняется лишь легендарной трусостью столичных военных.

Обитатели пограничных фортов, следившие за ходом дебатов с напряженным вниманием, лучше других понимали, сколь справедливо и своевременно прозвучало это дерзкое заявление. Каждому солдату пампы было известно: индейцы обладают таким глубоким знанием природы, что малейшая особенность климата и ландшафта становится для них орудием куда более грозным, чем самые изощренные военные планы белых. Однако никто не осмеливался высказать эти мысли прямо, словно питая надежду, что небрежение к мудрости врага поможет истребить его.

Но вот что любопытно: однажды белому человеку удалось разгадать военные хитрости индейцев, и, что еще более примечательно, этот белый человек был женщиной, и не просто женщиной, а почти что девочкой. Но и это еще не все: мало того что девочка сумела постичь саму суть их военной стратегии, она овладела логикой индейцев, попыталась ей следовать, и это принесло ей одновременно победу и поражение и породило легенду, которая жива и поныне, хотя с той далекой поры минуло более ста лет, и лишь пепел забвения покрывает и место, где был сенат, и кости индейцев.

Эту необыкновенную девочку, о чьей биографии нам почти ничего не известно, звали Росарио Бургос. Она жила в маленьком поселке неподалеку от знаменитого форта Кебранто, и в те суровые времена, когда набеги последних индейцев, осмелевших от голода и отчаяния, опустошали пограничные селения, в ее детском худеньком теле едва-едва намечались первые признаки созревания, а ее переменчивый нрав начинал обретать черты твердого характера. Когда бакалейную лавку, которую ее отец открыл на окраине поселка, разграбили и сожгли, а сам отец скончался после тяжелой болезни, Росарио решила перебраться в далекий передовой гарнизон по ту сторону границы, куда когда-то ее старшая сестра Северина отправилась вслед за мужем, бывшим каторжником, переведенным туда из тюрьмы Кочико́.

В то тревожное время, утверждает легенда, женщинам пограничных районов пампы частенько приходилось принимать отчаянные решения, поэтому не стоит незамедлительно приписывать Росарио необычные качества, которые станут очевидны лишь впоследствии, когда мы узнаем об ее удивительных приключениях. Будни были неразрывно связаны с войной, и люди охотно шли на риск, приобретая или теряя все разом, а потом, попадая в тыл, принимались рожать, хоронить — жить обычной

человеческой жизнью. Следует заметить, что работа в бакалейной лавке сделала Росарио очень расторопной, не в пример большинству ее односельчанок, кроме того, она была ловкой наездницей, а когда ей не хватало опыта, призывала на помощь смекалку. Привыкшая в своем сиротстве к независимости, она готова была самостоятельно отправиться в края неверных, но комендант поселка, Флоренсио Баутиста, едва прибывший из Буэнос-Айреса, дабы возглавить компанию по уничтожению индейцев, позволил ей отправиться в путь только в сопровождении почтенного лейтенанта Онесио Веги. Этот Вега, стоило ему захмелеть, принимался хвастать своими необыкновенными приключениями среди индейцев в те времена, когда ему было всего года три или четыре.

Отца и матери маленький Вега лишился во время одного из первых налетов касика Кальфукуры и потому стал одним из тех тридцати детей-сирот, которых в один прекрасный день его преподобие Доменико Малатеста собрал для мирной миссии среди индейцев в лагерях Салинас Грандес, — миссии, которую все белые военные осудили как чистейшее безумие. Первые несколько дней в стане индейцев прошли на удивление безмятежно, однако все закончилась полным провалом: как-то раз сам касик Кальфукура случайно обнаружил на лбу у одного мальчугана маленькое кроваво-красное пятно, и, убоявшись, что тот принадлежит к племени "вестников смерти" — невинных миссионеров из Росаса, которые в 1835 году, сами того не ведая, заразили индейцев чумой, унесшей больше жизней, чем иная война, приказал, чтобы мальчишку немедленно зарезали, а остальных заперли в крытой повозке, в которой их почти три года возили по безбрежным просторам пампы и, то и дело грозя расправой, использовали как заложников во время самых дерзких вылазок.

Учитывая столь печальный опыт, трудно представить, что же побудило дона Вегу стать спутником Росарио. Одно лишь, пожалуй, могло привлечь его: в те суровые времена, когда вся страна приготовилась к поголовному уничтожению дикарей, никто, кроме этой девочки, влюбленной в пампу, не стал бы слушать его небылицы; ибо никакой иной разумный довод или корыстные помыслы уже не могли проникнуть в его сумрачный разум, блуждавший в туманной мгле давным-давно минувшего детства.

История свидетельствует, что 13 сентября 1878 года военное руководство индейской конфедерации, обеспокоенное таинственным исчезновением касика Намункура, отправило генералу Баутисте ультиматум, получив который тот немедленно приказал засекретить план операции и все передвижения военных, а также строго-настрого запретил выходить

из форта. Таким образом, отъезд двух наших всадников состоялся 11 сентября в четверг или же 12 в пятницу. Нам известно, что выехали они на рассвете с главной площади форта, и среди утренней суеты их поспешный отъезд прошел незаметно. Они получили торопливое благословение капеллана и неожиданный подарок из рук самого генерала Баутисты — бурдюк вина и мешок вяленого мяса, который, сдается нам, не слишком обрадовал путников, поскольку делал их соблазнительной добычей для индейцев, и вот под звук горна часовой торжественно опустил мост.

Глубокая печаль и блаженный покой охватили старика и девочку, пока они удалялись вглубь заболоченной и покрытой тростником равнины, казавшейся из форта краем света. Воинственные и жадные отпрыски буэнос-айресских буржуа грезили о том, чтобы пересечь этот заветный предел и там, в глубине неведомых земель, основать поместья, подобные одиноким часовням. Для поэтов эти величественные просторы оставались неиссякаемым источником вдохновения. Однако старик и девочка были далеки от всяких романтических мечтаний: они погрузились в воспоминания... Что-то настойчиво подсказывало им, что с прошлым покончено, что оно постепенно уйдет в забвение, сотрется даже из памяти. И вот под вечер до них донесся далекий крик — девочка восприняла его как зловещий крик степной птицы, однако Вега сразу смекнул, что кричит индеец, мастерски вторя крику чахи — и они остановились, пристально вглядываясь в окружающий их со всех сторон простор. Чуть позже, когда они пересекали пастбища разоренной фермы, вновь послышался крик чахи, и они не спеша осмотрели стоявшие в отдаленье тополя, затем развалины хижины, потом проводили глазами медленно проплывшего над ними фламинго, — и наконец на гребне одного из холмов заметили неподвижные силуэты сидящих верхом индейцев.

— Они из племени Кальфукуры, — тут же определил старик: над головами индейцев торчали перья, а на копьях развевались светлые волосы жертв.

— Пресвятая Дева! — воскликнула Росарио. — Пресвятая Дева...

И раньше, чем один из индейцев приказал взять их в плен, девочка что было духу погнала коня галопом, а за ней немедля поспешил встревоженный Вега: словно сама природа — природа, которую, как ему казалось, он знал так, как знают ее лишь старики и индейцы, — неумолимо и властно погнала его вперед.

Вы, друзья мои, давно привыкли к тому, что индейцев не стало, и с трудом можете себе даже представить, как они выглядят, а посему, читая эту легенду, едва ли поймете, что же

заставило Росарио вести себя столь решительно для обычной девушки. Но не забывайте, что и Росарио, которую во время налетов прятали в подвалах и погребах вместе с другими детьми, не видела за свою жизнь ни одного индейца; однако пепелища и трупы, которые те оставляли после себя, и, главное, рассказы о немногих вырванных из их лап пленницах, которым дикари взрезали ступни ног, чтобы предотвратить побег, вселили в ее сердце стойкий ужас, какой оставляют в человеке только лично пережитые катастрофы. Тени вытягивались на испещренной мышиными норами заболоченной земле, а Росарио гнала и гнала коня к далекому форту, не обращая внимания на всхлипывания старика, и лишь изредка оборачивалась, чтобы взглянуть на индейцев, которые двигались вслед за ними. Казалось, погоня забавляла преследователей: спокойные и невозмутимые, они были уверены в ее благополучном исходе, словно, обратившись в бегство, девочка становилась легкой добычей. Индейцы ехали небрежной рысцой, и, лишь когда Росарио и Вега на миг теряли их из виду за неожиданно возникшим на пути холмом или стеной тростниковых зарослей, они убыстряли свой ход и вновь раздавались их леденящие душу крики "Чаха, чаха!", но затем к ним снова возвращалась их величавая неторопливость.

Край солнца коснулся горизонта, когда гнедой под девочкой начал сдавать, да и Вега закричал, что его кобыла выбилась из сил и настало время сдаться на волю Божью и милость врага. Но Росарио, не склонная к смирению и покорности, приобретаемой обычно солдатами, всю жизнь проведшими в пустыне, неумолимо неслась все дальше. Там, вдали, багрянец вечернего неба напоминал зловещий сюжет Библии, которую в раннем детстве читала мать, — картину Страшного суда с пламенем на черном небосклоне, и ей уже казалось, что душа отделяется от тела, каждая клеточка которого жаждет лишь отдыха и покоя, меж тем как душа рвется прочь... Споткнувшись, гнедой попытался остановиться, перешел на рысь, и она, яростно погоняя его шпорами и хлыстом, в отчаянии оглянулась, чтобы определить, как далеко отстали ее преследователи. И тут, когда Росарио увидела, что они тоже погнали коней галопом, словно готовясь атаковать, с ней что-то произошло.

Дернув повод, она воскликнула: "Стоять!" — так кричат гаучо, усмиряя дикого жеребца. А случилось вот что: в этот миг ее осенило и она поняла своих преследователей — сама суть их гордой надменности, столь удивительной для побежденного народа, казалось, внезапно открылась ей, словно тугая волна поднялась откуда-то из земли и, окатив вставшего на дыбы коня, коснулась ее.

"Стоять!" — повторила она, чувствуя, как душа вновь возвращается в тело, и это обновленное тело будто владеет неким могущественным тайным оружием.

Скакавший за ней Вега решил, что Росарио увидела вдалеке форт, когда же, нагнав ее, он убедился, что впереди, сколько хватает глаз, простирается лишь унылая пустая равнина, он закричал от отчаяния. Индейцы подняли руки, грозно засвистели пущенные из боло камни, но Росарио, вдохновленная своим тайным знанием, бесстрашно соскочила с коня на землю, выхватила нож, подаренный ей отцом перед смертью, и, взяв кобылу дона Веги за повод, приказала ему спешиться. Несчастный старик, решив, что девчонка задумала сразиться с индейцами в рукопашную, неохотно слез с коня и, стараясь превозмочь страх, бормотал что-то себе под нос. И вдруг Росарио сделала нечто невероятное: улыбнувшись, она вонзила нож в шею загнанной кобылы.

Когда-то давно, в те времена, когда она была совсем маленькой и вся ее семья жила на ферме, ей приходилось видеть, как дон Бургос забивает животных и как кровь льется на вытоптанную багровую землю бойни, и теперь она испытывала какое-то странное наслаждение, словно отомстила кому-то и восстановила свои законные права. Кобыла прянула, весело хлынула кровь, Росарио глубоко вздохнула, едва сдерживая переполнявший ее восторг. Старик замер в полной растерянности, а девочка уже вновь вскочила на своего гнедого и приказала Веге сесть позади нее на круп. Невдалеке просвистел пущенный из боло камень, шлепнулся на землю и покатился, путаясь в траве. Второй камень, тоже потерявший скорость из-за большого расстояния, просвистел рядом с их головами и испугал гнедого, который взвился на дыбы, пытаясь скинуть с себя сумасшедших седоков. Росарио подобрала повод, и гнедой поскакал коротким галопом, унося на себе девочку и сидящего позади нее старика.

Индейцы закричали им в след, словно повторяя чье-то имя, и дону Веге показалось, что они призывают своих богов, готовясь догнать и убить беглецов. Он обхватил девочку за талию, но вскоре услышал, как стук копыт позади стал тише и внезапно оборвался. Обернувшись, он увидел, что индейцы и в самом деле остановились, должно быть, затем, чтобы достать луки и стрелы. Однако старик ошибался: они спешились и, подойдя к мертвой кобыле, жадно припали ртами к ране на ее шее, поспешно утоляя голод, который терзал их долгие, долгие месяцы.

Дон Вега, считавший чудом малейшее проявление женского ума, решил, что Росарио так и будет мчаться галопом, пока они не доберутся до форта; но едва они отъехали от индейцев на приличное расстояние, — расстояние, равное, за-

метил Вега, тому, которое отделяло их в самом начале погони, — как девочка мягко остановила гнедого и объявила, что еще немного — и они устроят привал. Покуда индейцы потрошат и разделывают кобылью тушу, они тоже восстановят силы. В противном же случае, сказала Росарио, индейцы, отдохнув и утолив голод парной кровью и сырым мясом, возобновят погоню и в два счета их настигнут.

Эти слова, прозвучавшие ошеломляюще трезво в устах девочки тринадцати или четырнадцати лет, Росарио произнесла почти шепотом, спокойная и непреклонная, словно сама земная твердь. Это не равнодушное безразличие обреченного, с удивлением отметил про себя Вега. От девочки исходили решимость и твердость, с которой держатся воины во время недолгого отдыха между двумя сражениями, когда затишье — лишь краткая передышка в долгой кровопролитной войне. И Вега приободрился.

А повесть наша, добавлю я, не только о той погоне и о том далеком ночном привале, который понадобился индейцам, чтобы разделать добычу, доставшуюся им столь чудесным образом. Наша повесть о жестокой извечной борьбе двух миров — именно о ней рассказывает сия таинственная легенда.

2

Девочка и старик спешились на высоком берегу ручья, откуда Росарио отлично видела преследователей и заприметила бы какой-нибудь чудом оказавшийся в этих местах отряд белых. Не сводя глаз с индейцев, хлопочущих возле кобыльей туши, Росарио передала Веге повод и ослабила подпруги, давая гнедому немного отдышаться. Когда же конь остыл, Вега не спеша повел его к воде, нашептывая ему что-то в чуткое ухо: наконец-то нашлось существо, готовое его слушать.

Над зыбким ореолом парящей в сумрачном воздухе стаи падальщиков, слетевшихся к кобыльей туше, взошла полная луна. Росарио набрала зеленых веток, разложила их на земле шалашом, сунула внутрь листок бумаги, еще совсем недавно служивший ей пропуском для пересечения границы, высекла огнивом искры и, когда от костра повалил густой дым, скрылась в его клубах и стянула с себя заскорузлое от конской крови дорожное платье. Ее перкалевая нижняя юбка, освещенная костром, сияла, словно еще один маленький костер, перебегавший по стоянке с места на место. Скоро у индейцев тоже замигал огонек, и смутная улыбка мелькнула на плотно сжатых губах Росарио. Ее расчеты оправдались: индейцы провозятся с тушей еще немало часов, и в путь они тронутся, лишь когда солнце осветит унылые просторы пампы. Старик

Вега, пошатываясь от усталости, вернулся с берега, сел рядом с Росарио и впился зубами в кусок вяленого мяса, которое девочка разложила на своем платье, постланном вместо скатерти. Осмелевший от выпитого из бурдюка вина и одурманенный шелестом юбок Росарио, старик опять забормотал диковинные небылицы, которые чуть раньше довелось выслушать гнедому.

В этом краю, диком и пустынном, словно во дни сотворения мира, — рассказывает легенда, — было едва ли возможно пропустить мимо ушей сказки старика, и, ни на миг не сводя глаз с индейцев, девочка внимательно вслушивалась в его пьяную болтовню. Но ничего нового она не услышала — это была все та же история, которой он столько раз досаждал покупателям в отцовской лавке, — про то, как он был заложником у индейцев и как церковь в конце концов уплатила выкуп, отчасти затем, чтобы положить конец сплетням о безумном священнике, подтачивавшим веру прихожан, — и, уйдя в свои мысли, она принялась обдумывать план, зародившийся некоторое время назад в ее голове. Один из троих индейцев — на его шее висел загадочный синий камень — расположился в стороне от своих, чтобы следить за белыми. Впервые Росарио попыталась представить, какими видит их, белых людей, этот дикарь. Наверное, Вега, который преспокойно ужинал возле нее, досаждая ей своими россказнями, вполне мог сойти за ее отца, везущего беглянку-дочь в родные края, или за верного раба, который, по странной прихоти судьбы получив свободу, остался у своих бывших хозяев слугой.

На самом же деле, — размышляла Росарио, — старик походил на нее меньше, чем можно было даже вообразить. Испытания полностью преобразили Росарио, и теперь чувствительность всего ее существа обострилась так, как у других женщин это случается после родов или тяжелой болезни; а старик остался тем же, что и прежде, только еще больше одряхлел, и теперь в нем жили только тревога и страх, которые все дети пампы впитывают с молоком матери. Как говорят, одно злодеяние влечет за собой другое. Правда это или нет, но Росарио вдруг почувствовала острое желание поскорее отделаться от своего провожатого. Однако неожиданно обретенная ею прозорливость подсказывала, что для осуществления задуманного, хотя бы на первых порах, требовался часовой, а отыщешь ли часового надежнее, чем трус? И, приказав старику разбудить ее, как только индейцы чем-нибудь выдадут свою готовность продолжить погоню, она улеглась, положив под голову вместо подушки платье и укрывшись пончо, и забылась тревожным, но неожиданно глубоким сном.

Дон Вега не обманул ее ожиданий. Подавленный глубокой тишиной пампы, он наконец умолк. Сон одолевал его,

отяжелевшие веки слипались, челюсть бессильно отвисала, но едва занялись розовые сумерки утра и он увидел, что один из индейцев покинул своих собратьев и исчез вдали, остальные же поднялись, готовые пуститься в путь, как он проворно вскочил в седло и пронзительными криками разбудил свою спутницу. От внезапного пробуждения Росарио не сразу пришла в себя и уселась позади старика, не произнеся ни слова. И они возобновили бегство.

Вскоре они осторожно въехали в маленькую речку, надеясь пересечь ее вброд, но место оказалось неудачным — за несколько метров до берега гнедой потерял дно, и им обоим пришлось слезть в воду и плыть рядом с ним, крепко держась за седло, ибо течение стремилось унести их. В продолжение этой тяжелой борьбы с рекой Росарио не проронила ни слова, и старик испугался: уж не раскаивается ли она в своем безумном решении? Но нет, Росарио была спокойна и полна безрассудной непреклонной уверенности. Если расчеты оправдаются, сказала она, едва конь ступил на твердое дно и выбрался из реки, не пройдет и пяти-шести дней, как на горизонте появится форт. А сейчас самое главное — уходить от погони, скакать наперегонки по пустынной равнине.

Самое важное, размышляла Росарио, когда дрожащий от усталости конь вынес насквозь промокших всадников на берег, бережно расходовать силы. И конечно, надеяться, что на пути они не встретят новых индейцев. Завладев поводом, Росарио отчаянно пришпорила гнедого, и, пока преследователи осторожно направляли своих коней в речку, тот перешел на размеренный галоп и быстро покрыл расстояние, примерно равное тому, что разделяло их ночные стоянки. Затем Росарио придержала коня и перевела его на неспешную рысцу: именно так двигались индейцы накануне.

Жестом, которым на утреннем смотре солдат отдает честь офицеру, Росарио велела Веге, чтобы тот склонился ей на плечо и поспал. Старик, не смыкавший глаз вот уже вторые сутки, с готовностью повиновался и, погружаясь в дремоту, слушал рассуждения девочки: Росарио предлагала меняться каждые восемь часов — пока один правит конем, другой спит, — чтобы отдыхать, когда отдыхают индейцы, и убегать, когда они пускаются в погоню. Миновав речку, индейцы немедленно переняли их тактику: пока один, склонившись к конской гриве, закрывал глаза и дремал, другой забирал у него повод и рысцой двигался вперед.

Мимо них тянулось разграбленное поместье — последняя животноводческая ферма в этих местах. Его обитатели, отпрыски старинного рода Варела, уплатили щедрую дань из-

вечной войне индейцев с белыми. Выпрямившись в седле, Росарио задумчиво взирала на сады, вытоптанные угнанным скотом, на падальщиков, которые преспокойно влетали в окна усадьбы... Внезапно она заметила двух мальчишек-близнецов лет четырех — последние оставшиеся в живых потомки большой семьи. Близнецы отчаянно замахали, привлекая к себе ее внимание, но вдруг, заметив индейцев, исчезли, словно понимая, что единство беглецов и их преследователей — продолжение страшной игры, лишившей их семьи. А Росарио удалялась все дальше и дальше вглубь неведомых земель; она так несокрушимо верила в себя и в правильность своих действий, что уже размышляла о чем-то постороннем, рассеянно вглядываясь в горизонт, словно хозяйка, озирающая обширные владения.

Солнце стояло еще в зените, когда старик пробудился и испуганно оглянулся на преследователей, — те ленивой рысцой по-прежнему двигались позади, потеряв, казалось, всякий интерес к своим жертвам. Это придало старику уверенности, он пересел вперед и взял повод. Росарио, не проронив ни слова, устроилась позади него и задремала. Мерное цоканье копыт умиротворяло Вегу, и вскоре утомительное однообразие, с которым появлялись и исчезали болотца и заросли терновника, плыли по небу облака и вспархивали из-под копыт потревоженные конем птицы, усыпило в нем древний ужас перед неведомым, и ему уже начинало казаться, что каждое живое существо этой пустыни узнает его и радуется ему, как отец блудному сыну. На закате Вега заметил в траве страусовое гнездо и решил сделать привал; индейцы между тем окружили страуса и постепенно подбирались к нему все ближе. Обезумевшая птица металась, стараясь отвлечь внимание охотников от искусно сплетенной из веток огромной чаши, где, подобно усыпанной крапинками полной луне, матово поблескивало яйцо. Неожиданно затихший топот копыт разбудил Росарио, но, обнаружив, что индейцы преспокойно разделывают убитого страуса и от сложенного ими костра мирно поднимается дымок, вскрикнула от радости. Сомнений не оставалось: индейцы повторили то, что она сделала для них накануне! Они последовали ее примеру!

Старик тоже воспрял духом, и Росарио подумала, что он оказался куда более доверчивым и покладистым, чем она могла ожидать в начале пути. Казалось, они готовили праздничный ужин: Росарио приказала старику собрать хворост, постелила вместо скатерти платье и принялась осторожно со всех сторон обжаривать яйцо. С насмешливой улыбкой, которую старик воспринимал как одобрительную, она вновь выслушивала бесконечную сказку про то, как на лбу мальчи-

ка-сироты появилось кровавое пятно, а потом заявила, что в эту ночь дежурит она, а он, если хочет, может поспать. Ни один уроженец пампы не одобрил бы подобного решения, потому что, так или иначе, Росарио была всего лишь девочкой тринадцати-четырнадцати лет, и ей еще ни разу не доводилось дежурить по ночам. Однако было нечто настолько загадочное в отношении к ней индейцев, нечто такое, чего даже они и сами не сумели бы, наверное, объяснить, что Вега смирился и доверился ей, потому что почтение (как он для себя это определил), которое внушала девочка индейцам, неведомым образом сочеталось с его своеобразными представлениями о Боге, свойственными, как это ни странно, всем жителям пограничных районов пампы.

Когда же поутру погоня возобновилась, старик уже твердо знал, что отныне никто не возьмет на себя дерзость нарушить ее размеренный ход. И если накануне Росарио опасалась, что к их преследователям примкнут другие индейцы, посланные тем, кто, покинув собратьев, увез с собой остатки кобыльей туши, сейчас старик чувствовал в индейцах некий азарт борьбы, что по неписаным законам креольских поединков отводило любому чужаку лишь скромную роль наблюдателя.

Вечером, когда Росарио уже несла свой дозор у костра, небольшой отряд солдат, вероятно, побывавший в усадьбе Варела и направленный близнецами в погоню, напал на индейцев. Вега вскрикнул от радости и что есть силы замахал руками, призывая на помощь. Он не сомневался, что Росарио поступит так же, однако неожиданно девочка хлестнула его веткой по лицу и увлекла в густые заросли, откуда они, оставаясь невидимыми, могли наблюдать за сраженьем. Вскоре отряд, изнуренный многодневными скитаниями по просторам пампы, убрался восвояси, не нанеся ни малейшего вреда индейцам, которые, в отличие от напавших на них солдат, досыта наелись конины и теперь изнывали от тоски по крови белых. Но Вега быстро сообразил, что настоящую победу в этом сражении одержали не индейцы, которым досталась знатная добыча – еще одна лошадиная туша, два кисета табака и вдобавок к тому, величайшая драгоценность, подзорная труба, – а Росарио: пока индейцы разделывали тушу, беглецы, не торопясь, продвинулись на целых полмили вперед. Когда же путь индейцам преградил довольно глубокий и крутой овраг, они замедлили свое продвижение и перешли на шаг, ожидая, какое решение на сей раз примет мудрая девочка. Росарио и старик без особого труда перебрались на другую сторону оврага, следуя вдоль русла пересохшего ручья. Индейцы тут же последовали их примеру, и погоня пошла своим чередом.

А был это, друзья мои, тот самый знаменитый овраг Санха де Альсина: однажды некий высокопоставленный правительственный чиновник, проведя ногтем по извилистой линии нарисованного на карте оврага, обозначил границу своей не знающей пределов жадности... Там, по другую сторону оврага, оставалось последнее аргентинское владение — крошечный форт, где сосланный в наказание за жестокость полковник насилу справлялся с шайкой бывших каторжан и проститутками. Шел уже четвертый день погони, которая, надо заметить, стала чем-то столь размеренным и рутинным, что страх окончательно покинул души белых.

Постепенно пустыня становилась все суше, все ровнее, а время тянулось так неторопливо и безмятежно, что о нем напоминали только изменения светового дня да едва приметные колебания температуры. А луна, стараясь приноровиться к бегу коней, едва успевала очертить невидимый магический круг, замыкавший всадников в центре. И забывая о суете и заботах, к которым накрепко привязан человек, живущий в мире белых, Росарио и Вега ощущали, как постепенно их наполняет необычайный восторг, словно Творец, по секрету даже от них самих, даровал им вечную жизнь. И вот настал день, когда, заговорив о прошлом, они вдруг почувствовали, что все, оставленное позади: и дикая страна креолов с ее грязными предместьями, пустырями и солдатней, и индейские кочевые поселки с их всемогущими касиками — все это было лишь дурным сном. Истиной же со дня сотворения мира была эта пустыня, а их почти неуловимое для глаза продвижение по этой пустыне было единственно правильным способом жить, предначертанным людям самим Создателем, — исполненное гармонии подлинное бытие, в котором люди словно сливаются с природой, окружающей их, становятся ее частью, а неуемная тяга к новизне, свойственная индейцам, удивительным образом сочетается с жаждой вечности и покоя, испокон веков томившей души белых.

Если мы и далее будем описывать погоню в таком же духе, наше повествование покажется читателю слишком унылым и пресным, а легенда совсем не такова, ведь даже спустя столетие я чувствую на себе удивительную власть капризной девочки, пожелавшей, чтобы весь мир вращался вокруг нее, так что лишь воля неведомого божества смогла разрушить ее дерзкие притязания.

Кто-то, вероятно, предположит, что эта Воля уготовила для девочки суровую кару, и мы уже готовы спросить себя, за что же именно была она наказана — за дерзкое ли желание стать могущественной, как божество, или за какой-нибудь иной неведомый грех, скрытый в глубине ее души? А задумались ли вы, друзья мои, о каком божестве зашла речь — о бес-

пощадном и злопамятном боге белых или же о безымянном божестве индейцев, которое грозно ворвется в мир белых, стоит лишь к нему воззвать?..

3

Шло время, и между двумя маленькими отрядами — двумя воинствующими лагерями вечной войны — возникло единение, невиданное ни до, ни после этих удивительных событий. Вначале участников бегства-погони роднил азарт, но постепенно между двумя из них зародилось тайное неодолимое влечение. Отныне, неся свой дозор, Вега неизменно видел перед собой старика-индейца — из тех, кто по закону диких племен, сопровождает воина, посвящая его в тайны пустыни и подсказывая правильные действия. И вот, в который раз уловив на себе пристальное внимание хитрого следопыта, дон Вега почувствовал, что старик смутно его узнает, но не может понять, где и когда свела их судьба, когда же индеец вспомнит, завяжется битва, в которой белые неизбежно проиграют. Охваченный смутной тревогой, дон Вега покорно исполнял приказы девочки и ни на минуту не упускал из виду врага, который тоже посматривал в его сторону с возрастающим интересом, словно предчувствуя близость тайны, которую во что бы то ни стало надо разгадать. Вега изучал индейца исподволь, ни разу не взглянув на него в упор: он тяготился нежданно-негаданно нависшей над ним угрозой, о которой он не решался рассказать даже своей спутнице.

В те ночи, когда Вега спал, Росарио делила бдение в пустыне с тем самым воином, которого сопровождал старик-следопыт, — коренастым могучего телосложения индейцем, на шее которого висел синий камень. Будучи не намного моложе провожатого, он выглядел несравнимо более бодрым и подтянутым благодаря восхитительной способности владеть своим телом, царственной осанке и, главное, той живости, с которой он отзывался на каждый маневр девочки, словно погоня была увлекательной игрой. При свете дня Росарио, ехавшая впереди преследователей с дразнящим спокойствием, догадывалась, что для него она — всего лишь одна из многочисленных белых жертв, — она, Росарио, которая всегда считала себя совершенно непохожей на остальных белых женщин! С тем большей гордостью осознавала девочка, что ей удается дурачить своего преследователя, что она смеется над ним от лица всего христианского мира, и она летела впереди, словно Пресвятая Дева, которую несет на носилках невидимая процессия христиан, павших от руки язычников. То было днем. А ночами, когда индеец не сводил с нее пылающего взора, их непостижимая связь становилась все глубже, все

напряженнее: казалось, стоит погоне приостановиться, как в силу вступает другая, темная сторона ее души.

Едва индеец вооружился отнятой у белых солдат подзорной трубой, как Росарио почувствовала, что все изменилось: чтобы удержать индейца в плену своих чар, нужно было оставить мальчишеские выходки и пустить в ход какое-то иное, более утонченное, но не менее мощное средство. Пламя костра освещало пятачок земли, почти такой же тесный, как кухня где-то там, далеко, в ее хижине. И на этом крошечном пятачке Росарио проделывала нечто такое, что белые домохозяйки откладывают на ту пору, когда их семья, как нынче старик Вега, уже безмятежно спит в своих кроватях. Вначале все шло превосходно: каждое движение Росарио казалось основательным и ловким, как у заправской индианки, — она верила в свою неприкосновенность, словно ее охраняли всесильные древние лары, неведомые кочевникам.

Но стоило ей представить, что же именно видит наблюдавший за ней индеец, как она поняла, что угодила в ловушку: вести себя так, словно за ней никто не следит, было чрезвычайно рискованной игрой. Дрожа от волнения, Росарио вспоминала мать и сестер; с каким усердием скрывали они свою наготу от жадных взглядов мужчин. И все стыдные подробности, которые она не могла укрыть от чужих глаз, все секреты ее тела, стремительно меняющегося под сокрушительным напором юности, с некоторых пор, казалось ей, таили в себе притягательную силу, могущую навлечь на нее такие беды, что она не смела даже помыслить о них.

Это грех, твердила она про себя, терзаемая скорее чувством неловкости и смущения, нежели вины, это грех, — и, позабыв о враге, который того и гляди мог сняться с места и пуститься в погоню, Росарио думала только о своем теле — окрепшем от ежедневной езды верхом, легком и гибком от постоянного сознания грозящей опасности, и о взгляде индейца, все более пристальном и пугающем, от которого ее пробирала дрожь... Что же это такое, Боже, повторяла она, — что это? Охваченная смятением, Росарио достала вязальные спицы и клубок, — все, что оставила ей в наследство мать, — и, с трудом припоминая ее уроки, набрала петли. Это как раз он и есть, размышляла она, зов плоти, о котором так мало известно деревенским девочкам, тогда как индейцы знают его от рождения. За несколько дней им не встретилось ни одной, даже самой захудалой речушки, и на дно их мисок и меж полей их сомбреро не упало ни единой капли дождя, и теперь Росарио мучила такая жажда, какой ей никогда не доводилось испытывать. Стоит ли удивляться, что она начала подумывать о сдаче в плен?

Но однажды на рассвете у нее кончилась шерсть. И вот она, дрожа от смущения, накинула на себя нелепый жалкий балахон, который она старательно вязала бесконечными ночами. Пережив мгновение крайней неловкости, смутно осознавая, что мать уже не упрекнет ее за нерадивость, а индеец просто ничего в этом не смыслит, она открыла для себя еще одно ранее неизведанное ощущение: впервые в жизни она делала что-то для самой себя. Пока индейцы не настигли их, она совершенно свободна, и, как ни безумна ее затея с вязанием, ей, по крайней мере, удалось подвергнуть своего врага еще одной изощренной пытке. Вероятно, такое поведение было недостойно порядочной девушки, но кто и когда вел себя порядочно в войне с индейцами? Вскоре ее осенила новая идея: она обмакнула балахон в кувшин с остатками воды и жадно впилась в него губами, как потерпевший кораблекрушение моряк. Где-то вдали индеец зарычал от бессилия, не догадываясь, что в очередной раз стал жертвой ее рокового эксперимента. Росарио сделала неожиданное открытие: власть над индейцем была неотделима от грехопадения, и она принялась дальше разрабатывать свой хитрый план. Ей было очень на руку неистовое желание индейца: разжигая его все сильнее и сильнее, она могла одержать верх над своим врагом.

Как говорят в пограничных фортах, приказы отдают командиры, а мужество внушают друзья. Но что же помогало Росарио, этой девочке, воспитанной в труде рабыни и наивности знатной сеньориты, выдумать столь изощренную тактику? Быть может, подскажем мы, виною были те бродячие циркачки, нищие потаскушки, которые захаживали к ним в лавку, чтобы запастись провизией перед дальней дорогой в неведомые селения? В тесном закутке между стеной и прилавком, куда ее ставил отец, ей невольно приходилось выслушивать множество откровенных историй. Так или иначе, на следующую ночь, разведя костер поярче и силясь превозмочь страх, Росарио представила, что этот яркий кружок света вокруг нее — цирковая арена... И вот, едва оказавшись на сцене и ощущая близость жадной до зрелищ публики, она перестала стесняться и испытала нечто неизъяснимое: быть может, то самое, что захаживавшие в лавку циркачки называли "вдохновением". Росарио с трудом выносила рутинные заботы по дому и хлопоты в лавке, теперь же она ликовала: унылый сценарий жизни, которому безоговорочно и бездумно следовали все женщины мира, был отныне над ней не властен. И как гордилась она собою теперь, обнаружив, что способна на что-то, куда более достойное и славное!

Меж тем как Росарио ковала настоящее оружие из своей красоты и юности, индеец пустил в ход свою первобытную мужественность. Омываемый кроваво-красным светом костра, он

часами неподвижно сидел, глядя на нее, иногда он вскакивал и принимался ходить вокруг костра, словно часовой, а затем вновь садился, по-прежнему не сводя с нее глаз, потом вдруг падал на землю и принимался похлопывать и оглаживать себя руками, словно успокаивая встревоженное животное, а затем вздрагивал и отряхивался, точно раненая птица во сне. Как чутко реагировал он на каждое движение девочки, как преображался и каким казался покорным! Опьяненная властью, Росарио придумывала все новые забавы, неведомые обычным женщинам. Разве белой женщине взбредет в голову такое — подолгу тереть грязные ноги пальцами, смоченными слюной, прятать меж грудей голову спящего мужчины и выбирать вшей из его волос или, поймав и зажав в руке какую-нибудь степную птаху, заставлять ее склевывать крошки, рассыпанные по животу!

Новая игра так захватила Росарио, что постепенно она перешла за грань дозволенного. В одну из последних ночей индеец перешел в наступление: он швырнул камень в костер Росарио, и, когда сноп искр ярко осветил девочку, подросшую за эти дни и ставшую еще более соблазнительной, индеец встал в полный рост и продемонстрировал ей некоторые характерные изменения своего тела, перед которыми его белые наложницы стыдливо опускали глаза. Но Росарио была не такова! С невозмутимостью воина она спокойно, не отрывая глаз, выдержала непристойный вид его бедер и, главное, его взгляд — напряженный, глаза в глаза, — но душа ее оцепенела, словно мышь под гипнозом змеи. Проходил час за часом, но они не шевелились, дрожа от напряжения. С наступлением зари колдовские чары рассеялись: оба уже невольно прислушивались к шорохам утра, готовясь к бегству-погоне... Между ними вновь была ничья. Пока всевидящим взглядом опытного охотника индеец пядь за пядью прочесывал пустыню, он сохранял самодовольный вид мужчины, который настолько превосходит женщину, что она и вообразить себе не может. Но Росарио только посмеивалась. А однажды на рассвете одного из последних дней она с неожиданным проворством поймала просвистевший мимо нее камень, который индеец неудачно запустил в нанду, и таким ловким движением отправила его обратно, что чуть не прикончила охотника, хотя раньше она лишь внимательно наблюдала за тем, как с боло обращаются индейцы. После этого происшествия дикарь уже не был уверен, что именно он одержал победу в ночном поединке.

Однако их удивительные приключения подходили к концу. Старики чувствовали, что их молодые спутники уже не те, что прежде, они же про себя это знали доподлинно, они столько времени провели, следя друг за другом, что постепенно обрели

общность и тянулись друг к другу, как брат и сестра, рожденные в разных концах света. Заступая на смену воину, старик-индеец подолгу вглядывался в ночные просторы и размышлял о том, что самое нестерпимое одиночество — это одиночество человека в пустыне. Молодому же индейцу подобные мысли показались бы нелепыми: присутствие удивительной девочки было таким живым и волнующим, что ничье общество не могло с ним сравниться. Старик Вега, целиком предавшийся воле Росарио, время от времени спрашивал себя: а что, если девочка ошибается и ее слепая вера — всего лишь грех гордыни, вызов божественному смирению? Но Росарио не обращала внимания на старика, занятая лишь своими переживаниями: безмолвный обряд, который вершили она и ее противник, походил на обряд поклонения и верности новому божеству, которое открыла в них пампа, — божеству неведомому, но таинственному и всемогущему. Приобщение к его культу требовало от них обоих мужества, достойного самого отчаянного миссионера, потому что единственным ключом к постижению его замысла было полное смирение и беспрекословное следование его воле. Росарио понимала: узнать о том, что же ей причитается — награда или наказание, — можно только при одном условии — совершив грехопадение, и чувствовала, что ей придется оплатить наказанием высокую цену познания.

И вот однажды в раскаленный зноем полдень, когда силуэты Росарио и дона Веги дрожали в знойном мареве, старик-индеец разбудил молодого воина радостным известием: маленькая белая женщина оказалась настолько близко, что ничего не стоит сбить ее боло! Изумленный такой бесцеремонностью, молодой дикарь гневно ударил его хлыстом, но внезапно им овладела печаль, ибо старик лишь указал ему на то, о чем он и сам думал вот уже несколько дней подряд: с каждым днем они все ближе и ближе, а он никак не решится наброситься на Росарио и разом прекратить бессмысленную погоню. Размолвка индейцев озадачила Росарио, и она отъехала подальше, но к вечеру этого дня, когда на небе откуда ни возьмись показалась стайка облаков, дон Вега встревоженно указал ей на преследователей, которые вдруг очутились настолько близко, что пущенный ими из боло камень без труда настиг бы старика и девочку. Если дневное замечание старого индейца вызвало в молодом бурную вспышку ярости, то Росарио слова Веги повергли в чувство глубокого стыда. Она опустила голову и не произнесла ни слова. Смеркалось. Они остановились на ночлег. Поднялся и постепенно крепчал сухой пустынный ветер. И Росарио сказала себе: в эту ночь, чего бы это ни стоило, она должна на что-то решиться...

И вот случилось неизбежное. Росарио, сидевшая в красноватом свете терзаемого ветром костра, вновь почувствова-

ла себя на круглой сцене, очерченной устремленным на нее глазком подзорной трубы, но теперь она уже не старалась показать, что забыла о присутствии индейца, — она встала и посмотрела прямо на него, а он, словно принимая вызов, опустил подзорную трубу, тоже не спеша поднялся и глянул ей в глаза, и тогда между ними возникла столь глубокая близость, что весь мир вокруг замер и затаил дыхание. Словно притянутая напряжением пустоты, разделявшей индейца и девочку, стая встревоженных птиц пронеслась между ними, убегая от чего-то такого, о чем у них не хватало храбрости даже подумать... Дрожа всем телом, индеец развязал стягивавшую его бедра повязку. Росарио в безмолвном согласии скинула с плеч бретельки нижней рубахи и, вздрагивая от порыва крепчавшего ветра, осталась обнаженной. Индеец шагнул навстречу; в его глазах бушевал костер. Знай, что я не боюсь тебя, прочитала в них девочка, и если ты не скроешься, я тебя уничтожу. Но в то мгновение, когда бесстрашная девочка приготовилась шагнуть вперед и уже оторвала ногу от земли, чувствуя, что этот шаг вобрал в себя весь опыт ее небольшой жизни, ослепительный луч вспыхнул в небесах, и пустыня содрогнулась от раскатов грома, который разбудил стариков, а лошади испуганно заржали, разорвали поводья и понеслись во весь опор. Они едва успели прикрыть свою наготу, уже понимая, что мир готовит для них суровое испытание.

И вот с той бешеной силой, зарождение которой Росарио и индеец чувствовали в глубине одолевавшей их тревоги, но чью мощь осознали только сейчас, вокруг них завертелся смерч и рванул их вверх, будто пучок сорной травы, и теперь вращал в воздухе, и ливень хлынул на землю с таким сокрушительным напором, что заглушил их крики. Оказавшись снова на земле, они безуспешно призывали своих спутников, но в шуме воды тонули их голоса, и шлепанье невидимых ног, и ржание трех обезумевших коней.

Они не знали, сколько прошло времени, словно сам разгневанный Творец заключил их во взвихренную преисподнюю и неистово кружил, готовясь объявить им свою волю, которую они не умели разгадать. Будто в кошмарном сне индейцы и белые брели вслепую под шквалами воды и ветра. Как потерянные дети, они бессильно тянули руки, их ноги увязали в грязи, лица исказились от напряжения, а небо смешалось с землей, и не было уже ни неба, ни земли — и ничто теперь не указывало им путь сквозь хаос и тьму. Они кричали до хрипоты, призывая древних богов, но дыхание у них спирало от ледяного града, внезапно они останавливались и поворачивали назад, потому что из тьмы перед ними вдруг появлялся их собственный враг, еще недавно столь грозный, а

теперь жалкий и испуганный. И так, сталкиваясь в потемках вновь и вновь, они поняли, что настала их погибель.

Так продолжалось часы, дни, месяцы, годы... И вот наконец дождь стал слабее, чутье помогло лошадям отыскать хозяев, и с высоты конских спин Росарио и индейцу удалось различить своих спутников. Вода пела свою заунывную песню тысячеголосым хором плакальщиц на исходе похоронного бденья, и вскоре они вновь увидели друг друга — разделявшее их расстояние было тем же самым, что и все эти долгие, долгие дни. Буря улеглась, но едва ли они были вне опасности: на бесконечных просторах пампы не сохранилось ни единой приметы. Отныне их, чудом спасшихся в буре, поджидало новое, куда более суровое и изнурительное испытание: слепое странствие по просторам пустыни.

4

Первозданный девственный мир, еще совсем недавно казавшийся им земным раем, превратился в ад, потому что ни преследователи, ни их жертвы не знали, куда лежит их путь. Пустынная равнина расстилалась вокруг бесконечным водным зеркалом, и не было видно берега. Только небо — выстланное тяжелыми серыми тучами низкое небо — тянулось до горизонта, сколько хватало глаз. Охваченные беспросветным отчаянием Адама, для которого Божий гнев обернулся вездесущей опасностью, индейцы громко поклялись настигнуть беглецов или умереть. А Росарио, которую страх тяготил куда меньше, нежели чувство раскаяния, погнала гнедого галопом куда глаза глядят, полагаясь лишь на свою интуицию, изрядно притупленную утомлением и неуверенностью, неизменными спутниками роковых ошибок. Она упрямо продвигалась все дальше, но никто уже не мог бы сказать ей наверняка, что она двигалась в сторону заветного форта. Правя гнедым вслепую, она то проваливалась в яму, то увязала в болоте. Множество гиблых мест, тысячи скрытых водой ловушек, издавна известных индейцам, поджидали ее на пути.

Голосом, ставшим вдруг детским, молила девочка старика Вегу, чтобы тот не засыпал, чтобы вывел ее из этого лабиринта без стен. Но старик, сраженный лихорадкой, только тихонько бредил: ему казалось, что он в плену у индейцев, что он снова ребенок, запертый в повозке. И он глухо бормотал, добавляя к своему нескончаемому рассказу все новые подробности, каждый раз менее правдоподобные. Росарио едва сдерживала слезы, к ней вернулись ужас и усталость, которые она пережила в первый день бегства, и внезапно тело показалось ей тяжелым перезрелым плодом, источенным за много дней жаром солнца

и дурными помыслами. Она почувствовала себя крошечной раскаленной точкой в ледяной пустыне отчаяния и думала, что она слишком одинока, чтобы противостоять врагу.

После короткого затишья вновь хлынул дождь, и долгие часы, а быть может, и дни, Росарио гнала гнедого сквозь водяной хаос, а не ведающая сострадания природа словно смеялась над ней: один шквал дождя набегал вслед за другим, порыв ветра налетал и мчался прочь, стаи измученных птиц тянулись одна за одной над безбрежным озером, которым вдруг обернулся весь мир. Словно воплощение безумия, клубки перекати-поля, вращаемые ветром, неслись навстречу и тонули под копытами коня. А Росарио продвигалась все дальше и дальше, ненависть индейцев гнала ее вперед, и она чувствовала, что силы вот-вот иссякнут и нечто более могучее и неотвратимое, чем смерть, поразит ее грешное тело.

В ней оставался лишь тот последний запас сил, который мы находим в себе в минуты крайнего напряжения. Росарио уже почти не верила, что где-то их ожидает форт, и она вновь и вновь пыталась представить себе, что ждет ее, если она сдастся. Пройдет еще немного времени, и гнедой — она знала это — выбьется из сил. Мимо нее тянулись однообразные зеленые холмики полузатопленных кустарников. Она вздрогнула, представив свой последний миг — индеец нависает над ней, вода достает им обоим до щиколоток, властная рука сжимает ее шею, нож входит в сердце... Гнет неизбежного навалился на нее, и в это мгновение Росарио впервые в своей жизни почувствовала, как, словно сок переспелого тяжелого плода, которым она себя ощутила, словно бесстыдный вызов тела, брошенный самой вечности, у нее между ног потекла кровь.

Смятение и гнев охватили ее, словно эта так некстати появившаяся кровь стала символом ее поражения. Самым важным теперь было скрыть досадное происшествие от преследователей. Однако в том не было нужды, молодым индейцем владели теперь только жажда погони и ненасытная, жгучая ненависть к белым. Владевшее им прежде ощущение тайны, странная робость рассеялись без следа, и его уже ничуть не интересовало, что переживает жертва, это беззащитное, затравленное существо. Сидя впереди старика, совсем ослабевшего от лихорадки, Росарио тщетно призывала из глубин своего сознания древнюю мудрость кочевников, которая помогла бы ей отыскать дорогу на запад, но наталкивалась лишь на смутный образ прабабки, индианки из племени Ранинкео: в один прекрасный день эта прабабка, эта почтенная мать семейства, почувствовала, что больше не в силах выносить постылое однообразие оседлой жизни, бросила свой дом в поселке и вернулась в родное племя. Росарио казалось,

что кровь, которая обжигает ей ноги, сочится прямиком из этой досадной прорехи в ее благополучной и основательной родословной. Мучило Росарио и другое: индейцы, эти опытные следопыты и охотники, отныне утратили всякий интерес к неожиданно захватившей их забаве и желали только одного — поскорее покончить с белыми, а заодно с этой бессмысленной и наскучившей им погоней.

Как знать, размышляла она, выехав из густого тумана и минуя дремучие дебри сочного тростника, которые на миг показались ей знакомыми, как знать, сколько выдержит тело, истекающее кровью от бессилия и унижения? До каких пор будет она дразнить индейцев багряным символом своего безумия? Почему, вопрошала она, ты не убьешь меня на месте, Господь? Самое простое решение — прекратить бегство и сдаться на милость врага — все чаще приходило ей в голову, но, испытав на себе мощь Божьего гнева, она находила в себе силы лишь неустанно двигаться вперед с упрямством и неутомимостью сердца, которое стучит в груди, невзирая на все перипетии судьбы. Ну а если, ужаснулась она, это кровотечение не прекратится никогда, если оно так и останется знаком, по которому любой догадается о ее бесстыдстве и которым она будет помечена до самого Страшного суда? Глубокая тоска охватила Росарио. Она проехала мимо разрушенных загонов, едва взглянув на них, и, лишь когда они спустились с небольшого пригорка и Вега, подняв голову с ее плеча, в полузабытьи шепнул "Мамочка!", лишь когда гнедой вдруг резко замер и начал оседать на задние ноги, отчего она подлетела кверху, а старик рухнул наземь (индейцы тоже приостановились в нерешительности, словно готовые повернуть обратно) — лишь тогда Росарио очнулась от нахлынувшей на нее тоски и поняла, что произошло.

Пресвятая Дева, — бормотал Вега, — Пресвятая Дева...

А произошло нечто и в самом деле неожиданное: дымящиеся останки сторожевых башен, угрюмо черневшие на их пути, охраняли въезд вовсе не в далекий форт, куда им так не терпелось попасть, а всего лишь, друзья мои, в злополучный форт Кебранто, откуда они выехали годы, века, тысячелетия назад и который в их отсутствие опустошили и сожгли индейцы. Девочка Росарио замерла в изумлении и растерянности, но, когда с одной из уныло торчавших башен кто-то невидимый издал приветственный клич, подражая крику чахи, она вскинула голову и перед ее глазами предстало то место, где она прожила всю свою жизнь. Боль и отчаяние охватили ее с такой силой, что она не заметила, как ее преследователи спешились и осторожно подкрадывались сзади. Старик Вега машинально сжал свой мушкет, но от жара у него закружилась голова и он рухнул в грязь. А в памяти Росарио, замершей в седле, пронеслись годы, которые она прожила в посел-

ке, и она представила себе будущее, ожидавшее ее, если она решит остаться, и ей показалось, что попасть в руки индейца — не такая уж горькая доля...

Но когда индейцы были уже в двух шагах от Росарио и дона Веги, случилось нечто непредвиденное. Поделив свои жертвы в согласии с порядком, заведенным во время ночных бдений, старик-индеец грозно окликнул Вегу, и в миг, когда тот обернулся и обратил к индейцу свое лицо, искаженное детским ужасом, оба старика узнали друг друга. Ага, пробормотал Вега в полузабытьи, вот он, тот палач, которого послал Кальфукура к повозке с детьми, чтобы перерезать нам глотку! Ага, сказал индеец, этот старик — один из тех проклятых мальчишек, которые принесли с собой смерть! Но кто же эта странная девочка — уж не сама ли смерть? Именно она пришла именно к тебе, прошептал Вега, после того как, собрав последние силы, уложил старика-индейца выстрелом в упор, и тут же сам рухнул замертво.

Молодой индеец кинулся к Росарио, уверенный, что она, сидя на своем гнедом спиной к нему, станет еще более легкой добычей, чем больной старик. Но странный диалог Веги и следопыта-индейца словно разбудил Росарио, и внезапно ее осенило: она поняла, зачем понадобилось судьбе связать ее жизнь с жизнью старика. И в очередной раз вдохновленная своей мудростью, она незаметно погрузила палец между ног, смочила его потаенной женской кровью и мазнула ею лоб как раз там, где несчастные дети-сироты носили багровую отметину смерти. Проделав это, она улыбнулась и взглянула в лицо тому, кто так страстно желал ее столько ночей подряд. Она увидела, как ярость индейца сменилась неописуемым ужасом — ужасом таким неподдельным и глубоким, что он замер и съежился, потому что это был древний извечный ужас, таящийся в самой глубине человеческой природы. Из башни выскочили индейцы, чтобы прийти на помощь своему собрату, но воин повернулся и сломя голову помчался прочь от Росарио.

Она глядела ему вслед с улыбкой, пока между ними не пролегло то же расстояние, какое разделяло их ночные стоянки, и затем легкой рысцой устремилась за ним, уверенная, что сама земля давала ей на этот раз возможность отомстить.

Но в те мгновения, когда индеец со всех ног удирал от Росарио, от гнавшейся за ним по пятам чумы, с отчаянием Каина, бегущего от Божьего ока, гневно взирающего на него с небес на иллюстрациях походной Библии, Каина, который был бессилен и совершенно одинок в неравной битве, — да и кто посмел бы мериться силами с Тем, Кто его преследовал? — и пока завороженная девочка смотрела, как индеец удирает от ее коня, как его упругие потные ягодицы играют в такт раз-

машистым движениям ног, — в эти мгновения, друзья мои, Росарио впервые поняла, что все это удивительное приключение — не что иное, как долгая любовная схватка.

Небо расчистилось. Росарио видела, что со стороны форта по направлению к ним двигается отряд и что это индейцы, а вовсе не белые солдаты, но ей было уже все равно. Единственное, что занимало ее теперь — это погоня за врагом. И когда ровная почва начала вдруг понижаться и перед ними встали густые заросли тростника, в глубине которых скрывалась протока, и он, зная, что девочка не сможет подъехать к реке верхом, скрылся в прибрежных зарослях, Росарио, не обращая внимания на угрожающие вопли индейцев, пытавшихся ее отвлечь, не повернула вспять и не отказалась от преследования. Она спешилась, схватила нож, как это делают крестьяне, когда дело принимает дурной оборот, и тоже исчезла в зарослях тростника на целый метр выше ее самой и такого густого, что она не видела ничего, кроме собственного носа. Но не было препятствия, способного ее остановить, и ни один лабиринт на свете не был так запутан и грозен, как потайные ходы ее собственного желания, которое она теперь отчетливо различала в глубине своего существа.

Она упрямо пробиралась все глубже и глубже в заросли, и туча насекомых, назойливых, как ее любовное томление, вилась вокруг нее, и она чувствовала, как острый словно бритва тростник обжигает ее голые икры, подобно жадным мужским поцелуям... Она вслушивалась: не издаст ли жертва какой-нибудь звук? Сердце готово было разорваться, едва ей чудилось, как босые ноги чуть слышно ступают по глине, или шуршит сминаемый второпях стебель, или цапля, громко хлопая крыльями, взмывает в воздух, невольно выдавая место, где притаился индеец, и тогда Росарио отчаянно ломилась сквозь заросли, веря, что теперь он у нее в руках. Индейцы меж тем тоже вошли в чащу тростника и замерли, пытаясь уловить движение или шорох, которые выдали бы ее присутствие, но она твердо знала, что расстояние, отделявшее ее от жертвы, было куда меньше, и индейцы вряд ли сумели бы настигнуть ее до того, как она совершит свое злодеяние.

Внезапно заросли поредели, почва резко пошла под уклон и внизу заблестела вода. Она услышала плеск воды, и у нее перехватило дыхание. Если бы индеец пустился вплавь, Росарио ни за что не догнала бы его, потому что, как все женщины пампы, она панически боялась течения. Но снова настала тишина: должно быть, это всего лишь испуганная нутрия бросилась наутек из-под ног индейца и нырнула в воду. Зато теперь она знала наверняка, где притаился ее недруг. Опьяненная желанием, она раздвинула тростник, росший на берегу, и увидела его: он стоял у самой воды, испуганный, дрожащий, он

тоже, как и Росарио, боялся течения и стыдился своей нерешительности. Росарио приближалась. Она ступала медленно, торжественно, и, когда подошла так близко, что тяжелый дух мужского тела смешался с терпким запахом женского, индейцем овладел такой ужас, что он не заметил перемены: ручьи пота, стекавшие по ее лбу, смыли кровавое пятно. Он трусливо попятился, застонал и зажмурил глаза. В этот миг из зарослей тростника прямо на них выскочили индейцы, однако Росарио не испугалась. Казалось, вся ее жизнь была всего лишь подготовкой к этой минуте: она издала пронзительный вопль, кинулась на врага, вцепилась одной рукой ему в волосы, приставила нож к горлу — индейцы, устремившиеся было к ним, в ужасе замерли — и припала к его губам долгим, яростным поцелуем. И затем они оба — она, сраженная усталостью, он, уверенный, что получил поцелуй самой чумы, — обнявшись, рухнули в вязкий прибрежный ил.

Индейцы кричали: "Намункур! Намункур!" И за секунду до того, как закрыть глаза, Росарио поняла, что преследовавший ее воин — новый властелин пампы. Тут индейцы догадались, что произошло всего-навсего досадное недоразумение, окружили Росарио и Намункура, словно те были двое влюбленных, которые долго искали случая остаться вдвоем и наконец уединились в этом странном месте, принялись в шутку поздравлять их, а затем сдержанным и величавым движением священника, готовящего причастие, достали свои походные бурдюки. Пока влюбленные пребывали в объятиях друг друга, сраженные глубоким забытьем, они не спеша приложились к бурдюкам, а затем дали испить Росарио, и, почувствовав чудесный аромат джина, девочка поняла, что это настоящая свадебная церемония, которая, пусть лишь на одну ночь, сделает ее королевой пустыни. Когда же Намункур тоже сделал глоток и снова закрыл глаза, по-прежнему беспокоясь, не заразила ли его Росарио чумой, индейцы подхватили девочку под руки и, следуя непреложным законам пампы, осторожно взрезали ей подошвы ступней.

Андрес Ривера

Рассказы из сборника "Mitteleuropa"

Перевод Татьяны Ильинской

Безмолвное поле

Он сказал полицейским, что он тот самый человек, кого они ищут. Полицейские зачитали ему бумагу и приказали следовать за ними.

Он вышел из дома и побрел к своему грузовичку. Один из полицейских сопровождал его, второй сел в машину, на которой они приехали. Стоял полдень.

Он посмотрел поверх автомобиля. Деревья. Поле. Проволочная изгородь. Мельница. Снова поле. Скотный двор. Коровы. Вдалеке опять изгородь. Всюду жаркое солнечное безмолвие. И нигде не видно ее.

Они подъехали к участку, когда утро уже совсем превратилось в день. Ему велели ждать и указали на скамью. Он сел. Скамья была длинной и узкой. Дежурный за стойкой печатал что-то двумя пальцами на пишущей машинке. Он закурил, прислонился к стене и закрыл глаза. Хотелось есть. В голове было абсолютно пусто.

© 1993, Andrés Rivera
© Татьяна Ильинская. Перевод, 2010

Дежурный кончил печатать, вынул из машинки лист, поставил на него штамп и вышел из комнаты. Он сделал последнюю затяжку, бросил сигарету на пол и растер окурок башмаком. Через пятнадцать минут вернулся дежурный и сказал, что следователь ждет. Они пересекли пустую после полудня площадь и вошли в здание суда. Дежурный велел подождать, и он снова прислонился к стене.

Его провели в комнату, скудно обставленную темной мебелью. Молодой человек, встав из-за письменного стола, представился следователем, назвал свое имя и пригласил его сесть. Он чуть заметно наклонил голову в знак приветствия и сел по другую сторону стола.

Следователь спросил у него, теперь сидящего напротив, как его зовут, и он ответил. Следователь кивнул и спросил, сколько ему лет. Он ответил и заодно сообщил свою национальность и место рождения. Следователь снова кивнул и отметил что-то на листке бумаги, лежащем перед ним на столе.

Затем следователь попросил его сообщить, чем он занимается. Он, всегда питавший отвращение ко лжи и полуправде, уже готов был сказать "ничем", но побоялся, что его слова могут быть истолкованы как дерзость. А дерзость и нахальство он также очень не любил. И ответил, что занимается полем. И подумал, что не соврал. Он подумал, что у него есть поле, есть коровы, мельница и резервуар для воды на три тысячи литров, есть каменный дом, возведенный его прадедом и достроенный дедом. А больше у него нет ничего. Ну, еще небо и воздух, тишина, летние вечера, дожди и дни, которые уже прошли и которые еще пройдут, потускневшие в памяти образы его прадеда и деда, родителей и братьев, смутные воспоминания о вечеринках с танцами и женщинами, которых он любил. Да, еще оружие его предков, воевавших в гражданских войнах и в войне за независимость. Но к оружию он был равнодушен. Он никогда ничем таким не интересовался и не хотел интересоваться. С какой стати?

Следователь согласно кивнул, откинулся назад в кресле и спросил, знает ли он, что ему вменяется в вину. Он, сидя напротив, ответил, что не знает. Следователь сказал, что его дочь — а их семья, согласно полученным сведениям, принадлежит старинному роду, одному из самых уважаемых в округе, — обвиняет своего отца в том, что он ее изнасиловал.

Он, выслушав обвинение, спросил, можно ли закурить. Следователь сказал, что можно. Он вынул из кармана куртки пачку сигарет и протянул ее следователю. Тот поблагодарил, взял одну сигарету, чиркнул спичкой, прикурил сам и поднес спичку ему. Какое-то время они курили, не произнося ни слова. Потом следователь спросил, желает ли он что-либо сказать, опровергнуть предъявленное ему обвинение или при-

гласить для своей защиты адвоката. Он ответил, что, если дочь обвиняет его в изнасиловании, он не станет ничего опровергать или добавлять к заявлению женщины, то есть его дочери.

Дежурный объявил, что он арестован. Он не возражал. Дежурный велел ему отдать документы, деньги, а также ключи и шнурки от ботинок. Он согласился, сказал, что у него нет при себе оружия, и спросил, можно ли оставить сигареты. Дежурный сказал, что можно.

Он попросил дежурного, чтобы ему, за его деньги, принесли ужин – то, что разрешается правилами, а также завтрак на следующее утро.

Потом был еще один ужин, и еще сигареты, и почти механическое чтение городской газеты, и раннее утро, когда ему вернули его вещи – всё, включая шнурки от ботинок. Дежурный, который снова что-то печатал двумя пальцами на пишущей машинке, повел его к следователю.

Следователь, сидя по другую сторону стола, сказал, что в силу полной очевидности не стал подвергать его дочь психиатрической экспертизе, что поведение его дочери, ее слова и показания ее знакомых свидетельствуют о том, что она вполне нормальный человек.

Следователь сказал, что дочь человека, который сидел перед ним, призналась в том, что отец никогда не насиловал ее, что она, с тех пор как себя помнит, любит своего отца, любит так, как женщина любит мужчину, и что, когда отец сообщил ей о своем намерении уйти из дома, чтобы освободить ее от обязанности заботиться о старике, она не знала, что делать. Потому что отец, в жизни не бросавший слов на ветер, непременно исполнит то, что обещал. И тогда она заявила на него.

Она призналась, сказал следователь, что ей нужно было время, чтобы обдумать, как удержать человека, который собрался покинуть ее и которого она любит, как женщина может любить мужчину. И что именно поэтому она оговорила его.

Он ответил, что не станет ничего опровергать или добавлять к заявлению женщины, которая является его дочерью.

Следователь сказал, что, принимая во внимание показания подателя заявления, а также показания самого подозреваемого, у него нет оснований задерживать далее человека, сидящего по другую сторону письменного стола.

Он вышел на площадь и сел в свой грузовичок. Ночью прошел дождь, и колеса поднимали на земляной дороге лишь маленькое облачко пыли. Он выдвинул небольшой

ящик под ветровым стеклом и достал оттуда ружье с прикладом из полированного дерева. Зарядив его длинным красным патроном, он остановил машину, вышел из кабины, поставил одну ногу на подножку, прицелился и выстрелил в куропатку, которая как раз взлетала. Куропатка упала неподалеку от проволочной изгороди. Он подобрал ее и аккуратно положил в кузов.

Тронувшись и проехав несколько метров, он снова остановился, но не выключил мотор. Снова зарядил ружье, вышел из грузовичка и выстрелил. Чуть больше, чем за час, он подстрелил восемь куропаток.

Утро было еще свежим и ясным. Сидя за рулем, он подумал, что, когда приедет домой, поцелует женщину и выпьет свой утренний кофе, который ждет его на кухонной плите, женщина, наверное, скажет, что никто не умеет готовить куропаток лучше, чем он. Так она говорит всегда.

И он ответит, что никогда еще не слышал от нее такой похвалы за те долгие годы, что охотился на куропаток, а потом готовил их и ел вместе с ней. Или произнесет тост. Или предложит ей отправиться куда-нибудь в горы. Или пойти окунуться в тихую и спокойную гладь бассейна. А может, и промолчит.

Сидя за рулем грузовичка, он подумал, что уходить надо без предупреждений, и прибавил газу.

Вилли

Я оглядел свое жилище, я не боялся. Я слышал за стенами вой бури. Снежной бури. Она именно выла — по-другому не скажешь. Она выла и шла сюда. Но я не боялся. По радио сказали — температура понизилась до двенадцати градусов ниже нуля. И передача оборвалась. Из-за бури. Но свет в доме — или хижине, если угодно, — горел исправно. И горел огонь в камине — приятно было на него смотреть. И приятно было думать, что дров у меня в избытке — сколько ни продлится буря, их хватит. И что у меня есть лук, чечевица, фасоль, окорок, кофе, сыр и порошковое молоко. И галеты. И отличная железная плита, которую я растопил сразу же, как услышал о погоде по радио, перед тем как буря заставила его замолчать. Бог ты мой, я даже представить себе не мог, чтобы кто-нибудь там, снаружи, шел сейчас по улице Флорида, да еще заглядывал в витрины.

Я съел две тарелки чечевицы с копченой колбасой, и у меня осталось еще на завтрак и на ужин следующего дня. Здесь, в Эль Больсоне, нужно быть предусмотрительным. И воздержанным. Было около десяти вечера, и я сказал себе: Вилли,

иди спать! И почитай перед сном "Похищение сеньориты Блэндиш"[1], хотя я столько раз читал эту книгу, что знал ее почти наизусть. Ну, можно взять что-то другое, три-четыре романа Чейза валяются на книжной полке в доме — или хижине, да называйте как хотите. Я их читал не знаю сколько раз, ведь здесь, в Эль Больсоне, не станешь занимать себя Кантом. Мне сделалось жарко после чечевицы с колбасой и после двух стаканов белого вина, сухого, чуть кисловатого. Я сказал себе: Вилли, кинь два-три полешка в камин и иди спать. И ложись одетым, Вилли. Ты в Эль Больсоне, Вилли. Наедине с природой.

Я не спеша расшнуровал и снял ботинки. Пошевелил пальцами в шерстяных носках. И тут мне показалось, что в дверь дома — или хижины, если угодно, — стучат. Я подождал, сидя на кровати. В Эль Больсоне принято презирать Буэнос-Айрес с его грязью, шумом и безбожием. Здесь ненавидят жителей столицы, их одержимость бизнесом, их страсть к наживе, их духовную бедность. В Эль Больсоне вечно говорят о возвращении к земле и о том, как земля облагораживает человеческое существо, но я все-таки снял ружье со стены дома — или хижины, если угодно, — и зарядил его.

На цыпочках, с ружьем в руках, я подошел к двери, в которую кто-то — я не ошибся — стучал, а в завываниях бури время от времени явственно слышался человеческий голос. Я спросил, кто там. Два раза спросил, кто там. Дом — или хижина, если угодно, — сооружение довольно прочное, я в этом абсолютно уверен, но мне показалось, что он зашатался, когда я услышал, как кричит Грасьела: это я, Грасьела, открой мне, Вилли. Я знаю один еврейский анекдот, там евреи, спасаясь от снежной бури, укрываются в хижине. Но я не еврей. И все эти еврейские штучки, пусть даже очень смешные, не доставляют мне никакой радости.

И я не понял, почему Грасьела кричит, при минус двенадцати градусах, приложив рот к грубо сколоченной двери моего дома — или хижины, как ни назови, все равно. Не выпуская из рук ружья, я спросил, что она делает там, снаружи, в такой час. О! — крикнула она, — открой мне, я умираю от холода. Она, как всегда, преувеличивала. Я положил еще одно полено в камин и глотнул вина. Оно крепкое, это белое вино: я закашлялся. Помню, что закашлялся и задумался. Нет, если быть точным, дело обстояло так: я кончил кашлять, глотнул еще немного вина и только потом стал думать.

Мы познакомились с Грасьелой на литературных курсах, вел их один тип, называвший себя аргентинским Селином. И

1. Роман Д. Х. Чейза "Нет орхидей для мисс Блэндиш" ("No Orchids for Miss Blandish", 1939). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

этот тип, который считал, что он аргентинский Селин, держал себя так, словно он уже получил Нобелевскую премию. Очень скоро я понял, что французский Селин нагоняет на меня скуку: я даже не смог дочитать книгу, которая привела его к славе, где-то на половине я почувствовал, что уже сыт по горло его философией провинциального маэстро, несчастного рогоносца. Именно так я и сказал Грасьеле через два месяца посещения классов Селина-аргентинца. И добавил: извини, Грасьела, но пойдем лучше в кино. Мы посмотрели то ли "Грозовой перевал", то ли "Унесенных ветром" и прониклись доверием друг к другу. Грасьела призналась мне, что она тоже умирает от скуки.

На занятия к Селину-аргентинцу собиралась уйма перезрелых дамочек, приходивших в экстаз, стоило ему произнести "семиотика искусства" или упомянуть какое-нибудь одиозное имя, вроде Пуига или Делёза. И эти дамочки, которые курили черные сигареты, оплачивали ужин и что-нибудь еще тому, кто имел отвагу залезть к ним между ног. Всюду старухи, вздыхала Грасьела, и на работе тоже, так надоели. Мы с ней смеялись. Мы служили в одной конторе, которая занималась жалобами пенсионеров. Эта работа повергала нас в уныние. Пять дней в неделю перед тобой старческие морщины, слезящиеся глаза, ты терпишь гнилое дыхание, слушаешь склерозный вздор, наблюдаешь, как слова у них словно спотыкаются о вставные зубы.

Все это сошлось вдруг у меня в голове: лицо Селина-аргентинца и лица перезрелых дамочек, посещавших его литературную студию, запах конторы и худоба Грасьелы. И тот день, прошлым летом, когда я увидел, как она стоит, положив руки на огромный голый живот подруги, выставившей свою беременность на солнце. Это было на ферме ее "итальянского любовника", Грасьела что-то радостно кричала, а руки — на голом животе подруги. И Грасьела смеялась, просто чуть не падала от смеха.

На минуту я перестал думать. Я приник ухом к двери дома — или хижины, если угодно, — и на всякий случай — в Эль Больсоне нужно быть предусмотрительным и осторожным — спросил о ее дружке. Хуан Хосе? — сказала она, и голос у нее задрожал. Правильно, крикнул я, Хуан Хосе, что случилось с Хуаном Хосе? Грасьела, всхлипнув, сказала: он меня прогнал. И зарыдала так безутешно, что сомневаться в ее словах не приходилось.

Около двух лет, наверное, Грасьеле писали ее друзья. Они писали ей из Эль Больсона. И Грасьела читала мне эти письма. И Грасьела — она знала, что у меня в банке лежат под процент несколько тысяч долларов, — не переставая твердила: чего ждать, надо взять деньги из банка, купить немного земли в Эль Больсоне — как внушали ей друзья — и жить дарами

земли, дышать чистым воздухом, купаться в речке с прозрачной водой, закалять себя в долгих прогулках по горным тропам и созерцать безмолвный мир, застывший перед восходом солнца. Грасьела такая тощая, лирика ей вполне к лицу.

А я ничего не ждал. Я хорошо знал своего брата и предпочитал мусолить тему долларов, унаследованных от папочки и мамочки, в изматывающих меня разговорах с Грасьелой, чем иметь дело с ним. Этот сукин сын просто железный человек, понятно, что именно он управляет всеми нашими финансами. Брат держит механическую мастерскую, работает по шестнадцать часов в день. И никогда не устает. Я навещал его раз в году — на Рождество. Едва поздоровавшись, он сразу же спрашивал, чем я собираюсь заняться в своей жизни. А я отвечал, что работа в конторе дает мне такую радость, какую, наверно, Рокфеллеру — его империя. Брат наполнял мне стакан сидром, и я переставал для него существовать.

Вилли, открой.

Я придвинул стул к двери, сел и, не выпуская из рук ружья, спросил: ты одна? Она ответила, что одна, но я научился, живя наедине с природой, быть предусмотрительным и осторожным, я встал со стула и посмотрел на часы, была половина одиннадцатого, и я подумал, что там, снаружи, температура, должно быть, опустилась уже до четырнадцати градусов. Ты меня не обманываешь? — спросил я, тщательно подбирая слова. Я одна, поверь, ответила Грасьела. И мне показалось, что она стонет. Я не хочу тебя слушать, сказал я, садясь на стул и подвигая ноги поближе к камину. Она пнула дверь дома — или хижины, да называйте как хотите, какая разница? Дверь у меня очень крепкая. Он прогнал меня, Хуан Хосе меня прогнал, крикнула Грасьела. В эту секунду я почувствовал голод. Я встал, открыл холодильник, достал кусок сыра и положил его на стол. Нарезал несколько одинаковых сырных квадратиков. Остренький — этот сыр. И вино — сухое и крепкое. Какая жалость, Грасьела, сказал я, встав вплотную к двери дома — или хижины, если угодно. Возвращайся, Грасьелита, посоветовал я ей, Хуан Хосе уже забыл про размолвку. Возвращайся. Она прошептала еле слышно, но я хорошо разобрал ее слова: он живет с Аидой. Я услышал ее слова, несмотря на вой снежной бури. Слух так же избирателен, как и память.

Вилли, открой мне. Откроооой, Вилли.

Дело в том, что между Грасьелой, день и ночь твердившей о простой и чистой жизни, о возделывании своей земли, о молоке от своей коровы, о хлебе, испеченном своими руками, и моим братом я выбрал Эль Больсон. Брат дал мне пару тысяч долларов, не проронив ни звука. Словно плюнул мне в лицо.

Я купил клочок земли в пустынном месте около озера Пуэло и нанял людей, чтобы они помогли мне соорудить дом — или хижину, или что бы то ни было, — где мы с Грасьелой жили, и спасались от холода, и осенне-зимними вечерами, полуголодные, вели долгие разговоры, нахваливая умеренность крестьянской жизни. Я купил корову голштино-фризской породы и устроил так, что ее покрыл бык хороших кровей. Я купил леггорнских кур. Я посадил помидоры и всякое другое, чем обычно земля одаривает тех, кто с ней возится. Я сфотографировал дом — или хижину, как ни назови, все равно, — помидоры, корову, кур, куриные яйца и послал фотографии брату. Не верю своим глазам, написал мой брат. Ничего приятнее этого я в жизни своей никогда от него не получал.

Ви-и-и-лли, открой.

Но очень скоро Грасьелу перестала вдохновлять простая жизнь и польза умеренного питания. Она не вставала с кровати, ссылаясь на "женские" недомогания. У меня пропал урожай помидоров, и несколько кур погибли от какой-то загадочной болезни. Однажды она выразила недовольство тем, что я отдал свой голос за НПР[1]. Она придавала всему этому слишком большое значение и сама всегда голосовала за перонистов. А по мне — никакой разницы. Потом она перестала поддерживать огонь в камине. И вот настал день, когда я оказался один в опустевшем доме — или хижине, да называйте как хотите, — а на столе лежала записка. Я прочитал, что Грасьела уходит от меня к Хуану Хосе, что он добрый, веселый и очень щедрый. Я не расстроился. Я просто спросил себя: а кто я есть? Человек, несущий в себе, как говорит Библия, все смертные грехи? И ответил себе: нет, я всего-навсего человек, который встает в три часа утра, чтобы дать рожок с молоком только что родившемуся теленку.

Вилли, позволь мне войти!

Я съел еще квадратик сыра. Я тебя слушаю, Грасьела, сказал я.

За дверью молчали. Но недолго. Снова взвыла буря. О, Вилли, всхлипнула Грасьела. Она тихо плакала. Я подождал: она была мне никто. Вилли, сказала Грасьела, я нехорошо поступила с тобой.

Я ответил, что сейчас не время вспоминать прошлое. Слава Богу, сказал я ей, у меня есть все необходимое. Да, Грасьелита, это так: я честно зарабатываю свой хлеб.

Вилли, открой мне... Я умираю, Вилли.

Я бросил еще полешко в камин: дрова в этих краях стоят недешево, но меня это не волновало. Мои шерстяные носки нагрелись — от них шел пар.

1. Народная партия реконструкции — El Partido popular de la reconstrucción (*исп.*).

Я посмотрел на квадратики сыра, на бутыль с вином и ружье на столе. Все аккуратно разложено, все под рукой.

Вилли, пожалуйста... Открой, пожалуйста.

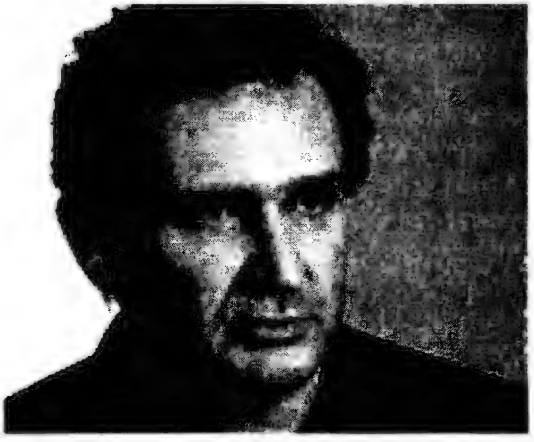
Так лучше, Грасьелита... Я хочу, чтобы ты меня поняла: я тебе не "итальянский любовник" — "веселый и очень щедрый", но я и не жадный, и не распускаю нюни. Я упорно работаю, плачу все налоги, обрабатываю свою землю и слежу за домом. Ты понимаешь, о чем я, Грасьелита?

Мгновение она молчала, и потом я услышал:

Вилли, я сделаю для тебя все, что захочешь.

Этой ночью я злоупотребил сыром, вином и уменьшительными суффиксами. В остальном я был упорным и стойким, как и полагается небогатому крестьянину, имеющему клочок земли и домашний скот.

Густаво Ньельсен



Марвин

Рассказ

Перевод Александра Казачкова

ПРЕЖДЕ чем слезть с мотоцикла, человечек снял шлем и повесил его на руль. Мотоцикл был старый, выкрашенный черной синтетической эмалью, с прицепом на велосипедных колесах, из которого виднелись разноцветные картонки. Когда человечек подошел к дверям школы, я увидела его заячью губу. Косая линия разбивала улыбку на две неравные, обособленные кривые, и потому он понравился мне далеко не сразу.

Я пол-утра провозилась с Анитой, добиваясь от нее ответа хоть на один вопрос, а от других учеников — чтобы они оставили ее в покое. Учительствую я сорок два года. К тому времени я не проработала в школе и трех лет, но уже знала, что в деревне нравы жестче. В чистом поле хромому псу не уйти от пули. А Анита, бедняжка, была самой слабой в классе.

Ближайшее селение находилось в двадцати километрах. Дети приезжали верхом, в двуколках, кое-кто на машине. Кроме тех, кто приезжал на машине, остальные ходили в школу из-за обеда. Стряпала мать Аниты. Она резала овощи и мясо на крохотные кусочки и во все добавляла грибы. Это были коричневые, ужасно кислые шляпки, и с ними все блюда получались одинаковыми на цвет и вкус. Так фасолевый суп с требухой ни-

© Gustavo Nielsen, 2003
© Александр Казачков. Перевод, 2010

чем не отличался от чечевичной похлебки. Мать Аниты, толстая упрямая сеньора, вечно ходила в полотняных сандалиях. О родной дочери она говорила, словно о чужом человеке. "Ничего ей не втолкуешь, хоть кол на голове теши, — поясняла она, награждая дочь ласковыми подзатыльниками. — Если так дальше пойдет, проку от нее в хозяйстве не будет никакого".

В тот день дети особенно изводили Аниту. Одного даже пришлось выставить за дверь. Стояла зима. Я выглянула в окно — малыш Гастон дрожал от холода. Тогда-то и появился человечек с мотоциклом. Я видела, как он пожал мальчику руку, как поклонился ему. Затем я повернулась лицом к классу и к матери Аниты, пришедшей с вопросом. Просто невероятно, как могла эта женщина, видя на глазах дочери слезы, беспокоиться лишь о том, добавлять лук в соус или нет. В волосах Аниты висел чей-то плевок. Я заметила это, обнимая ее. Ощутила, как восьмилетний комочек жарко прижимается к моей груди. Она перейдет в следующий класс, ведь на второй год никого не оставляли. Так заведено в сельских школах. Так будет и здесь, в единственном маленьком классе, затерянном в глуши. Даже если приедут инспекторы.

— Побольше лука, поменьше грибов, — ответила я. Она вышла.

Человечек дважды постучал по стеклу. Он растирал руки. Я вышла к нему.

— Гастон, можешь вернуться в класс. — Мальчик пнул ногой камень.

— Да?

— Я маг, — сказал человечек.

Он дышал горячим паром себе на руки. Пар клубился из-под шрама, точно столб дыма. Руки были тонкие, без колец и часов.

— И что? — спросила я.

— Езжу по школам, — добавил он, — даю ученикам представление...

Прицеп у мотоцикла выглядел даже более странно, чем губа на лице человечка.

— Когда?

— Сейчас.

Я ответила, что сейчас невозможно, поскольку идет урок. Он явно разочаровался. Посмотрел на детей, притихших на мгновенье.

— Хотите, я вернусь на перемене... Или приеду потом.

Он развел руками, приоткрыв рот. Обе половинки его верхней губы змеились.

— Когда потом?

Человечек пожал плечами. Он не вернется.

— Ладно, — ответила я. — Только подождите, пока они закончат изложение. Входите, а то замерзнете.

Он согласился. Потер онемевшие руки и направился к прицепу. Выгрузил картонки. Теперь он щеголял в цилиндре, выкрашенном краской, явно оставшейся от покраски мотоцикла.

— Где можно это собрать? — поинтересовался он.

— На кухне.

Я проводила его до двери. Кухарка стояла спиной. Тем временем дети стащили у Аниты тетрадь.

— Закрываем глаза, и тетрадь появляется сама собой, — объявила я.

— Это он, это он, — кричала Анита.

Краешком глаза я увидела, как из другого конца класса девочка-первоклашка бросает ей тетрадь.

— Тихо! — велела я.

В дверях стояла мать Аниты. "Что это за господин? Какая неслыханная наглость, чмокнул меня в щеку и стащил яблоко. Я велела ему немедленно убираться, но он заявил, что это вы его прислали".

— Позовите его.

Я открыла тетрадь Аниты на странице с изложением. На нее кто-то наступил. След подошвы, точно клеймо, отпечатался поверх строчек и детского почерка. Девочка только и успела написать "У каровы вкусное мясо"; я исправила ошибку и отыскала чистую страницу.

— Меня выгнали, — произнес человечек.

Я предложила ему сесть на свободную скамью. Он опять вышел, вернулся с двумя сборными ящиками и поставил их на пол. На одном — золотистого цвета — красовалась надпись "Марвин"; другой был ярко-красный с драконами. Человечек поставил цилиндр на крышку с драконом, а другие картонки прислонил к стене. Перед тем как сесть, он засучил рукава рубашки и показал пустую ладонь; затем резко тряхнул пальцами в воздухе и в руке оказался цветок. Гвоздичка. Гастон подошел к магу, тот что-то шепнул ему на ухо. Гастон вышел к столу и преподнес мне гвоздику. Марвин весело мне подмигнул. Я пожалела, что согласилась впустить его. Все дети, кроме Аниты, осаждали его просьбами. Мать Аниты, вне себя от ярости, снова возникла в дверях.

— Пусть скажет, куда он подевал мои луковицы.

Носок ее правой сандалии загибался над гладким цементным полом. Марвин повел бровями, когда я взглянула на него.

— Наверно, они пропали, — ответил он. Дети прыснули со смеху и запустили бумажный самолетик. Мама Аниты с ворчанием ретировалась.

— Ладно, — сдалась я. — Ваша взяла. Начинайте представление.

— Здо-о-о-рово, — завопили дети, кроме Аниты, которая все так же грызла ногти, шмыгая сопливым носом. Маг вышел вперед под свист и аплодисменты. Потребовал тишины, чтобы установить ящики.

Я села на его место. Единственный паренек из третьего класса, носивший прическу с бриллиантином, свистнул, точно подзывая лошадь. У Марвина было шесть ящиков. Три из них он поставил один на другой, соорудив башню высотой с подростка. Маг открыл три дверцы, и мы увидели, что внутри них пространство соединяется, словно в ларчике на подставке. Марвин надел цилиндр.

— Этот опыт я показываю во всех школах, от самого Асуля. Волшебное умножение голов. Вы верите в это?

— Да-а-а, — ответили дети.

— Я нет, — заявила я.

— Вы не верите? — удивился Марвин. — Странно. Учительнице следовало бы верить в умножение голов, — добавил он.

— Я не верю, поскольку не знаю, о чем идет речь.

— Все очень просто, — пояснил он. — Есть такая теория.

— Т-с-с-с, — призвала я детей к тишине.

Гастон взгромоздился на парту и крикнул: "Что у тебя с губой?" Я велела ему сесть. Он меня не послушал.

— Теория моя такова, — начал маг. — У каждого из нас не одна голова а, возможно, несколько. У мальчика может быть одна голова, чтобы влюбляться, другая — думать о родителях, третья — играть, четвертая — чтобы есть и спать. В таком случае у него будет четыре головы.

— Пять, — сказала девочка, заканчивающая седьмой класс.

Марвин посчитал на пальцах.

— Если та, что нужна ему для еды, и та, что для сна, разные, тогда и вправду пять.

Произнося это, он схватился за собственную голову, будто хотел оторвать ее от шеи.

— У меня всего одна, — воскликнула Мария, девчушка с косичками торчком.

— Но с двумя антеннками, а это, пожалуй, означает, что у тебя две головы: по одной на каждую косу.

— Нет, — обиделась девочка.

Маг улыбнулся ей своими странными губами. Благодаря этому дети ненадолго успокоились. Все, кроме Аниты, которая и так сидела спокойно, опершись правой щекой на мягкую руку.

— У кого из вас больше одной головы?

— У Чоло! — завопили несколько ребят в один голос.

Чоло являл собой мужскую версию Аниты, правда, ему уже исполнилось четырнадцать, он перешел в шестой класс и обладал огромным телом, увенчанным крупной головой с густой растительностью на щеках и подбородке.

— Двойная голова! — воскликнул маг, и все, кроме Чоло и Аниты, засмеялись. Даже я.

— У учительницы! — крикнула девочка из седьмого.

— Три головы! У барышни три головы! — продолжил Марвин, поднимая руки. Он взял деревянную указку. — Три головы — довольно, но недостаточно. Прошу тишины. Ну-ка... ну-ка... Сдается мне, что в этой школе есть кто-то, у кого на одну голову больше, кто-то с четырьмя головами... Ну-ка... — он стал прогуливаться между партами.

— Почему у тебя губа такая?.. — не унимался Гастон.

— Какая — такая? — остановился Марвин.

— Ну рваная.

— Это для двух ртов. Хорошему магу требуется два рта: один — объявлять фокус, другой — молчать о секрете. Потому они у меня и отделены, — он указал на шрам, — так я уверен в их правильной работе. С головами это порой не получается. Иногда у человека бывает несколько голов, но они слабо подсоединены к телу, даже та, что на виду, через которую надевают свитер. Часто так бывает, когда число голов переваливает за три.

Он обогнул последнюю скамью и одарил меня двуротой улыбкой. Выступление красило его. Придавало изъяну его лица нечто особенное. Он медленно направился к доске.

— Готово, — произнес маг. — Я ее нашел. Четыре головки... Имя?

Дети недовольно зашумели. Анита подняла глаза — кончик указки выбрал ее. Девочка сонно взглянула на мага. Я чуть не остановила его.

— Имя? — спросил он меня.

— Анита, — ответила я.

Она встала и, не глядя на меня, вышла вперед. Дети притихли. Я задумалась, сколь пагубным может оказаться для нее такое вмешательство, но Марвин уже поместил малышку в башню из ящиков. Все происходило само собой. Девочке вроде нравилось. Чоло выстрелил бумажным шариком, тот ударился о доску. Маг наклонился и подобрал его.

— Анита, нам шлют послание, — сказал Марвин, разворачивая бумажку. — Дважды головастик желает тебе удачи в ходе операции.

Девочка улыбнулась. "Ничего я ей не желаю", — заорал мальчишка. Я знаками попросила его сесть и придержать язык. Марвин спросил Аниту, хорошо ли она себя чувствует.

— Да, — ответила та.

Маг бережно закрыл дверцы двух нижних ящиков. Голова девочки виднелась из последней открытой дверцы.

— Точно?

Анита пожала невидимыми плечами, во всяком случае так мне показалось, когда голова ее немного опустилась. "Лишь бы мать не вошла", – подумала я. И суеверно скрестила пальцы.

– Итак, – продолжал Марвин. – Если не ошибаюсь, Анита наделена незаурядными мыслительными способностями и необычайным воображением, просто пока она их не развила, она же еще очень маленькая. Сколько тебе лет?

Девочка просунула над дверцей восемь пальчиков.

– Разумеется, восемь... И четыре головы, я же вам говорил?

– Да, – ответили дети.

– Только они пока не заметны, их ведь никто не подключил. Тук-тук, – он постучал костяшками пальцев по ящику. – В этой голове короткое замыкание?

– Да-а-а-а, – закричали две единственные подруги Аниты.

– Я ее спрашиваю. Барышня, у вас не искрит, когда вы думаете?

– Не знаю, – ответила девочка.

– Ах, не знаете. Ну ладно... Не возражаете, если я закрою дверцу?

– Нет, – последовал ответ.

Я подумала, что девочка заплачет, как только окажется в темноте. Маг закрыл дверцу. Дети смотрели широко раскрытыми глазами. Было слышно дыхание маленьких легких. Я встала.

– Ты в порядке, Анита? – спросила я.

Маг подал мне знак. Я повторила громче.

– Да, – отозвалась та. Ответ донесся словно из глубокого колодца.

Я снова села. Меня охватило сильное волнение, а случившееся затем столь поразило, что в следующие минуты выступления я растерялась, не зная, что делать. Маг завладел всеобщим вниманием и принялся поворачивать самый верхний ящик над нижними. Он орудовал двумя руками, как бы откручивая голову Аниты ценой неимоверных усилий. Губа его складывалась пополам от напряжения. Откуда-то маг извлек черную фанерку и просунул ее в щель на уровне Анитиной шеи. Отделив верхний ящик, он отнес его на учительский стол. Я с детьми не отрывала глаз от ящика. На полу оставалась усеченная башенка. Дети стали приподниматься из-за парт. Марвин тихо постучал по крышке ящика, стоявшего на столе, и спросил:

– Ты еще там?

Ответа не последовало.

– Анита, я тебя спрашиваю: ты в порядке, малышка?

– Да, – ответил голос девочки изнутри.

Маг совершил пассы с указкой в руке. Когда он открыл крышку, стоявшие дети отпрянули на шаг.

– Привет, – сказала Анита.

Хотя это была не сама Анита, а голова Аниты, отделенная от тела и невероятным образом помещенная поверх моего стола.

— Тебе не больно?

— Ни капли.

— А тело в порядке?

— Г-м-м-м, — отозвалась она.

— В смысле — да?

— Да.

— Хочешь чего-нибудь?

— Из чего?

— Ну что-либо; может, хочешь что-то узнать...

— Нет.

— Тогда не шевелись, — сказал маг и снова закрыл дверцу. Он взял три пустых ящика, оставленных на полу в начале выступления. Поставил один справа и два сверху, построив большую призму. Тишину в классе впору было резать ножом. Марвин встал перед дверцами. Открыл ту самую — первую. Анита была по-прежнему там. Открыл ту, что сбоку, и две верхние. Итого: четыре головы.

— Ух ты... — произнесли все четырнадцать учеников.

— Привет, — повторила Анита, теперь уже в четыре голоса.

Я скрестила пальцы еще сильнее, в надежде, что мать Аниты не войдет с объявлением "Обед готов" и не увидит, как ее дочь обезглавлена, четырехкратно умножена, озарена непостижимой улыбкой.

— Здесь нет волшебства, — пояснил Марвин, — это заложено в самой Аните. Я лишь извлек это наружу, чтобы и вы смогли увидеть. Хотя тут есть одна загвоздка.

— Какая? — спросила я. Дети повернулись ко мне.

— Путаница, — ответил маг. — Проблема Аниты в путанице. Головы у Аниты расположены не так, как следует. По не зависящим от нее причинам головы сбились с пути и поменялись между собой местами. Это все равно, как если бы — тебя как звать?

— Гастон.

— Как если бы Гастон сел на место Аниты, а та на его место.

— Я бы уже не смог бросаться в нее мелками, — сказал Гастон.

— Может, она бы стала бросаться мелками в тебя, — предположил маг.

Анита слушала объяснения, словно оцепенев. Я взглянула на часы. Было без пяти двенадцать. В двенадцать в дверь войдет мать Аниты — бедняжка такая бестолковая. Я махнула рукой, давая понять магу, что следует поторапливаться.

— Допустим, Гастон, все поменялось местами... Мелки бы лежали не у доски, а в аптечке, а лекарства у доски.

— Было бы нельзя писать! — крикнул мальчик, носивший прическу с бриллиантином.

— И лечить! — добавила девочка с косичками.

— У нас не осталось бы выхода, кроме как привести все в порядок, — сказал маг. — Или научиться лечить мелками и рисовать при помощи пластыря и марли. — Кое-кто засмеялся. Марвин поочередно закрыл четыре дверцы ящиков. И добавил: — Поэтому я перемешаю ящики, чтобы все снова оказалось в порядке. Лекарства в аптечке, мелки — в коробочке. И каждая голова на своем месте.

Он взял верхний ящик и поместил вниз, левый поставил справа; поколебался и снова переставил верхние ящики.

— Готово, — произнес он.

Я внимательно следила за его движениями. Маг почему-то не трогал самый первый ящик, стоявший внизу справа. Он открыл его дверцу. Анита была там.

— Чувствуете разницу?

— Нет, — ответили мы.

— А ты? — спросил Марвин.

— Нет, — ответила Анита.

Маг снова закрыл дверцу у ее лица, поставил три других ящика на пол, а первый поместил на прежнее место, поверх двух других, в которых находилось тело Аниты. Убрал черную фанерку. Опять изобразил чрезмерное усилие, пытаясь привернуть все на место.

— Никто ничего не заметил, — произнес он, — но теперь вы сами увидите. Головы у Аниты снова подключены. Это очень важно, и, если вы не поймете, значит, путаница у вас в головах, и, возможно, это непоправимо. У нее же в голове неразбериха закончилась.

Он одновременно открыл дверцы ящиков, словно то была единая панель. Девочка шагнула вперед. Мать Аниты заглянула в класс, презрительно посмотрела на мага и его ящики и объявила:

— Обед, кукурузная каша с томатным соусом без лука.

Дети вскочили. Толкаясь, ринулись в столовую. Анита села за свою парту. Я подошла к Марвину, который уже начал все разбирать.

— Как вы это сделали?

— Зеркала, — ответил он, склонившись над ящиками. Развернул картонку; ее внутренняя сторона представляла собой отражающую поверхность. Он вышел из классной комнаты с полным снаряжением, собираясь погрузить его в прицеп. Сменил цилиндр на шлем.

— Вы не останетесь обедать? — предложила я.

— Не думаю, что кухарке это придется по душе. К тому же в четыре меня ждут в Олаваррии.

— Указка моя.

— Ах да.

— Вы были прекрасны, — поздравила я мага. Рука у него была как ледышка. — Право, это просто восхитительно.

— Спасибо.

— Вы не вернетесь?

— Зачем? Они уже это увидели.

— Это ваш единственный фокус?

— Нет, есть еще. Но власти платят только за этот. Когда станут платить за другие, быть может...

Он сел на мотоцикл. Трижды пнул ногой педаль, пока тот не завелся.

— Еще раз спасибо.

— Спасибо вам.

Марвин развернулся, перебирая ногами, пока не вырулил на грунтовую дорогу. Я вошла в класс и закрыла дверь. Анита все еще сидела за партой.

— Ну как тебе?

— Странно и великолепно, — ответила девочка.

Изменения стали обнаруживаться постепенно, с течением времени. Непонятно, каким образом, но к этой весьма отсталой девочке вернулась способность к общению и учебе. Она стала бегло читать и писать без ошибок. Я одолжила ей свои книги. Если кто-то из детей не справлялся с заданиями, она помогала. Учась в четвертом, решала задачи для седьмого класса. Я диктовала Аните предложение, и она выделяла подлежащее, сказуемое, прямое дополнение, другие части речи. Она единственная выучила наизусть всю таблицу умножения. Товарищи прониклись к ней уважением. Только мать жаловалась.

— Совсем вы заучили Аниту, еще вырастет бойкой и не станет помогать по хозяйству. Поди, уйдет от меня.

Об этом и шла речь. Я сама рекомендовала ее одной инспекторше, чтобы та выбила для нее стипендию в средней школе в Никочеа. Анита поступила с самыми высокими баллами в гимназию на городской площади. Затем на какое-то время я потеряла ее из виду.

В школе все шло уже по-иному. С детьми мне приходилось все труднее, я скучала без Аниты. Ее мать теперь относилась ко мне с такой неприязнью, что пришлось ее уволить. Она даже кидала в пищу золу и сигаретные окурки. Я видела из окна, как она уходит, — из этого же окна я наблюдала когда-то приезд мага. Я неизменно ждала его возвращения. Прошло пять лет, и вернулась мать Аниты. Она раскаялась и просила снова взять ее на работу: бедняжка сидела без денег. Она сильно исхудала и вся покрылась морщинами. Я ответила, что жду перевода на юг, в начальную школу, такую крошеч-

ную, что там даже нет столовой. Ученикам придется обедать в классе. Я представила себе тетради с жирными пятнами от соуса. Она согласилась с моими доводами. Я взяла с нее обещание, что она бросит безобразничать, и тогда я порекомендую ее новой учительнице.

На мой вопрос о том, есть ли новости от Аниты, она показала три конверта. Я открыла первый из протянутых конвертов и тихо прочитала письмо в ее присутствии. Анита закончила школу с золотой медалью и собиралась в столицу, учиться на адвоката. "Вы гордитесь дочерью", — сказала я. "Не спешите", — ответила мать серьезно. И дала второе письмо, которое сама извлекла из конверта. У Аниты завелся жених: студент-агроном.

— Село зовет? — подмигнула я заговорщицки.

— Я размечталась не меньше вашего... Но не радуйтесь, читайте третье.

Из последнего письма следовало, что любовь не заладилась. Учеба шла хорошо. Адвокатское дело казалось Аните легкой и интересной специальностью.

— Бесстыжая она у меня выросла, — заключила женщина.

Анита передавала привет только матери и спрашивала, каковы виды на урожай.

— Спасибо, хорошие, — прошептала я. И разложила письма по конвертам.

В тот вечер, мой последний вечер в школе, солнце озарило невиданным багрянцем пшеничные колосья. Женщина спрятала письма в карман рабочего халата.

Да, я, конечно, постарела, но лишь потому, что была переведена на должность главного инспектора. Из одной школы меня направили в другую, в третью, в четвертую и, наконец, в Ла-Плату, где была решена моя дальнейшая судьба. Я не хотела. Но вновь стала ездить по всем этим школам, хотя теперь провожу в каждой не больше дня. Всякий раз, как я вижу двадцати-двадцатипятилетнюю учительницу, представляю себя молодой, еще до всяких морщин и гусиных лапок. Подумать только, ведь и я когда-то поправляла воротничок, выпрямляя спину, прежде чем войти в класс. Теперь я заполняю графики, проверяю отметки, задаю школьникам легкие вопросы.

В тот день меня пригласили обедать, что случалось нечасто. Дело было в Тандиле, в школе с квадратным двором, посреди которого красовались вымпел и знамя, и кухонькой, где работала стряпуха-индианка. Стояла сильная жара.

— Вы любите салат из листьев цикория? — спросила кухарка.

— Очень, — ответила я.

И облокотилась на подоконник — окно выходило на улицу. Пейзаж отличался от обычного: помимо подсолнухов, по-

лей пшеницы и неба, виднелись горы; у школы стоял мотоцикл. Прицеп. Мотоцикл с прицепом на велосипедных колесах, груженный картонками. Он почти не изменился; только над фарой добавилась афиша на блестящей жестянке со словами "Чудесный Марвин". Значит теперь он, ко всему прочему, еще и чудесный. Я повернулась к двери. У детей была перемена. Учительница беседовала с кем-то, от окна мне было не разглядеть.

— А чеснок, сеньора? Вы любите мелко нарезанный чеснок?

— Т-с-с-с.

Я выглянула за дверь. Человечек снял шлем. У него кое-где появилась проседь, волосы отрасли, взлохматились. Я не расслышала, о чем они говорили, учительница слегка наклонила голову, почувствовав, что за ней следят, и мне пришлось спрятаться. В одном из котлов отражалось мое постаревшее лицо — карта прожитых лет. От долгих скитаний по земле лицо твое становится отражением лика земли. Я вновь подошла к окну. Учительница должна решить сама, это ясно. Я вспомнила Аниту. Вообразила ее — дипломированного адвоката с лучшими оценками — в ее столичном бюро, защищающую людей от людской нетерпимости. Я скрестила пальцы. Я не заметила, остался ли у человечка дефект губы. Он, похоже, собирался разгрузить свое снаряжение, стоя спиной к окну. Это были все те же золоченые и красные ящики. Он повесил шлем на руль и вернулся в класс с пустыми руками, откликнувшись на зов учительницы. Лицо он прикрывал рукой, так что мне не удалось разглядеть его шрам. Я ничего не расслышала из-за гомона детей, игравших и галдевших во дворе.

— А копченой колбаски положить?

— Посмотрим?

Я подошла к котлу. Овощи плавали в красноватом вареве. Зазвонил колокол. Дети угомонились, заканчивая свои игры. Построились друг за дружкой, вереницей. Учительница взяла за руку первого мальчика — альбиноса. Шедший за ним лупил его пластмассовой линейкой по голове. Я спешила зайти в класс, но вдруг услышала шум выхлопной трубы.

— А тот человек? — спросила я.

Вереница детей вклинилась между вопросом и моей судьбой; между барышней, пробормотавшей "Понимаете, у нас ведь урок..." и странным жестом указательного и большого пальца ее правой руки, которыми она ущипнула верхнюю губу почти посередине; между желанием этой двадцатилетней девушки, которая охотно посмотрела бы представление, и строгим видом главного инспектора. Я выбежала на дорогу. Шлем человечка удалялся, скрываясь за холмом, за горизонтом серой ленты шоссе.

Андрес Неуман

Из сборника "Свечение"

Перевод Татьяны Ильинской

Хустино

ВХОДЯ в столовую, Хустино, садовник, уже в дверях съеживал плечи, чтобы никому не помешать. Он производил впечатление робкого человека, это сразу бросалось в глаза. Он постоянно хмурил тонкие светлые брови, словно только что вышел от умирающего, а губы сжимал с такой силой, что казалось – он пробует на вкус свое молчание. Хустино, садовник, смущался всякий раз, как мы приглашали его позавтракать с нами, за одним столом со всей семьей, и мы понимали, что наша вежливость ставит его перед сложным выбором: принять приглашение – значит оказаться в роли нахлебника или, что еще хуже, нуждающегося, а не принять – проявить бестактность. И Хустино удрученно принимал наше приглашение. Он проскальзывал на свое место, и гибкость его спины и плавные, почти плывущие, движения ног, огибающих стул, позволяли нам представить, как хорошо он, наверное, танцевал в молодости. Приятного аппетита, сеньоры, произносил он тихо, и сдавленный голос выда-

© Andrés Neuman, 2006
© Татьяна Ильинская. Перевод, 2010

вал его напряженность. Не желая набрасываться на еду, чтобы не произвести на нас плохого впечатления, и не желая докучать нам никаким промедлением, Хустино всегда начинал есть последним и заканчивал первым – но не намного раньше нас, всего на две-три ложки.

Поначалу мы клали ему обильные порции. Мы уважали его, мы знали, как добросовестно он работает, как, подстригая кусты, старается не оставить неподрезанной ни одной ветки, как тщательно поливает нашу крохотную лужайку. Мы старались наполнить его тарелку до краев, но вскоре заметили, что Хустино оставляет несъеденной примерно четвертую часть еды, и тогда мы стали уменьшать его порции. Служанка получила соответствующие указания, и на тарелке Хустино теперь оказывалось такое количество пищи, какое обычно съедает ребенок, а может даже и поменьше. Но мы ничего не добились – все равно в его тарелке четверть порции неизменно оставалась нетронутой. Мы поняли, что у Хустино очень плохой аппетит. Но его явная неуверенность и его робкие манеры навели нас на мысль о том, что надо, для его удобства, еще сильнее уменьшить порцию. Поскольку Хустино упорно съедал лишь три четверти завтрака, мы, желая найти точную меру, продолжали уменьшать и уменьшать содержимое его тарелки, и в конце концов дело дошло до двух-трех ложек овощного рагу.

Тот полдень, когда мы видели Хустино у себя за столом в последний раз, вроде ничем не отличался от предыдущих, но я с самого утра чувствовал, что все будет не так. Его походка – он почти волочил ноги, его голос, потерявший всякую силу, даже верхушки наших маленьких елок, ставшие в последнее время неровными, все отдавалось во мне страхом за него, особенно когда я вспоминал, как мало он ел. Он уселся, как обычно, это да – словно проплыв вокруг стула, словно став невесомым вместе с ним, – проронил почти шепотом "Приятного аппетита, сеньоры" и скрестил пальцы в ожидании трапезы. Аккуратные, крепкие, ловкие пальцы – прямо как несколько пар ножниц. Над столом уже стоял густой аппетитный дух, но я, не торопясь, сообразно хорошим манерам, подал служанке знак нести еду. Когда Хустино увидел крошечную сиротливую горстку чечевицы на дне своей глубокой тарелки, он осторожно встал, попросил разрешения уйти и не вошел в наш дом больше никогда.

Двенадцатисловник рассказчика

I

Умение рассказывать истории означает умение хранить секреты.

II

Даже если повествование идет в прошедшем времени, действие рассказа происходит всегда *сейчас*. Другого времени просто нет.

III

Рассказ, где действие развивается слишком бурно, страдает анемией, а то и вовсе умирает в результате асфиксии.

IV

Начинаясь, рассказ рискует жизнью; завершается он всегда воскресением. Что же касается его заглавия — чем оно пышнее, тем быстрее забывается.

V

Нельзя просто описать героя рассказа, он должен действовать.

VI

От рассказа в памяти может остаться его атмосфера. Или выражение глаз главного героя.

VII

Сдержанный лиризм порождает волшебство. Безудержный лиризм — всего лишь трюк.

VIII

Голос рассказчика настолько важен, что не должен звучать слишком громко.

IX

Исправлять — значит сокращать.

X

Талант — это чувство ритма. Все решает пунктуация.

XI

В рассказе минута может стать вечностью, а вечность — сжаться до минуты.

XII

Рассказывать — значит искушать: никогда не удовлетворишь полностью любопытство читателя.

Новый двенадцатисловник рассказчика

I

Без эмоций нет рассказа.

II

Краткость не измеришь линейкой, у нее свои собственные параметры.

III

В здании рассказа детали — опорные столбы, а сюжет — черепичная крыша.

IV

Красота в рассказе должна быть обоснованной, но само обоснование должно быть красивым. Прилагательные нужно бросать в рассказ, как семена в землю.

V

Единство действия не означает, что все в рассказе должно подчиняться чему-то одному. Рассеивая внимание, ты лишь сосредотачиваешь его на главном.

VI

Заколдованный круг: с тем, кто пишет рассказы, всегда что-то приключается, а тот, с кем всегда что-то приключается, пишет рассказы.

VII

Персонажи появляются в рассказе почти случайно, проживают свою жизнь на наших глазах и... остаются жить вечно.

VIII

Ничего нет более тривиального для рассказа, чем многозначительный диалог.

IX

Хороший сюжет никогда не теряет ни минуты сюжетного времени понапрасну.

X

Не стоит бояться описаний, они не отклонение от пути, а кратчайший путь к цели.

XI

Рассказ сам знает, когда он заканчивается, и дает об этом знать — обычно задолго до того, как иссякнут пустые слова рассказчика.

XII

Десятисловник[1] не догма, его можно и не соблюдать. А уж двенадцатисловник — и подавно.

1. Десятисловник, или Декалог — 10 заповедей, записанных в Пятикнижии Моисея. (*Прим. перев.*)

Хуан Хельман

Звезда и жизнь аргентинского поэта

Стихи

Перевод и вступление Натальи Ванханен

Один из самых известных поэтов мира, Хуан Хельман родился в Аргентине, сейчас живет в Мексике, и на вопрос "Почему?" отвечает: "Потому что я влюблен в свою жену, она из Мексики — вот и все". Ответ четкий и вполне достойный поэта — любовь и этим все сказано. Да и зачем снова о горестном: о репрессиях, изгнании, тяготах эмиграции, испытаниях и потерях? Пусть в этом разбираются биографы, если охота. А сам он о многом сказал в стихах, хоть и не напрямую — поэты вообще редко высказываются напрямую.

Аргентина страна эмигрантов, Буэнос-Айрес — столица мировой эмиграции. Тут с ним посоперничает разве что Париж, и неизвестно еще, чья возьмет. Кого только ни встретишь на здешних улицах: итальянцев, немцев, испанцев, чехов, поляков, украинцев, русских, евреев со всех концов света. Так уж вышло, так написалась история. Аргентина почти всегда принимала желающих — богатые невозделанные земли остро нуждались в рабочих руках. В последний раз на нашей памяти эта страна открывала двери для выходцев из России в девяностые годы минувшего столетия: россиянам, растерявшимся в дни крушения СССР, давалась возможность переехать на край земли и заняться крестьянским трудом.

Родители Хуана Хельмана — наши соотечественники. Его отец принимал активное участие в революции 1905 года в России. После ее поражения

© Juan Gelman, 2010
© Наталья Ванханен. Перевод, вступление, 2010
Редакция журнала "Иностранная литература" благодарит автора за безвозмездно предоставленное право публикации этого материала.

вынужден был скрываться и в конце концов оказался в Аргентине. Когда произошла большевистская революция 1917 года, он с воодушевлением бросился назад, на родину, — строить свободное общество и... ужаснулся происходящему. Один Бог знает, как и с каким трудом выбирался он назад из страны своей мечты, но в двадцать восьмом году он вновь возвращается в Аргентину. Здесь, в Буэнос-Айресе, в густонаселенном районе Вилья Креспо, 3 мая 1930 года у него появляется третий ребенок. Хуан Хельман в краткой биографии писал: "Я единственный аргентинец в нашей семье: родители и старшие братья родились на Украине". Мать поэта в юности изучала медицину. Она была дочерью раввина из небольшого местечка.

Еврейская семья не была ортодоксальной. Хуан Хельман признавался, что никакого религиозного воспитания он не получил вовсе. Зато унаследовал от отца острую жажду социальной справедливости, а на примере брата Бориса рано обнаружил, как сладостно быть читателем. В восемь лет Хуан прочитал "Униженных и оскорбленных" Достоевского, да и поэзией увлекся совсем ребенком. В одиннадцать юный стихотворец напечатал свое первое стихотворение в журнале "Рохо и негро".

С ранних лет пришлось ему зарабатывать на жизнь. Водил грузовик, работал на металлургическом заводе, пробовал себя в журналистике — эта работа осталась на всю жизнь: Хуан Хельман-журналист почти так же знаменит, как Хуан Хельман-поэт. В молодые годы он входил в разные поэтические группы, был членом бунтарского литературного объединения "Эль пан дуро" ("Черствый хлеб").

Честного человека, которого вдобавок угораздило родиться поэтом, к бунту подталкивало многое из того, что происходило в стране. К бунту или к уходу в себя. Хуан Хельман, впрочем, оказался скорее бунтарем, чем отшельником.

Юность его пришлась на правление Перона, воспитанника итальянских фашистов. В народе царил истерический культ его молоденькой хорошенькой жены, посредственной актрисы Эвы Перон. Влюбленные домохозяйки — немаловажная часть местного электората, — нежно сюсюкая, называли ее Эвитой. Ранняя смерть этой невероятно популярной женщины позолотила пьедестал, на который народные массы ее возвели при жизни, закрыв глаза на чудовищную коррупцию, царившую в стране в годы правления ее фашиствующего супруга. Именно Перону, этому открытому поклоннику Гитлера, многие нацистские преступники обязаны жизнью — это он после разгрома Германии обеспечил им гостеприимный приют в Аргентине. Надо ли объяснять, что для еврейской семьи с левыми убеждениями обстановка была не самой уютной. Однако худшее было еще впереди. В шестидесятых годах, после отставки Перона, молодой Хуан Хельман попадает под арест за свои левые убеждения. А после военного переворота 1976 года он, уже известный поэт и не менее известный журналист, сотрудничающий в столичных журналах "Панорама" и "Кризис", и вовсе вынужден покинуть Аргентину. Изгнание растянулось на двенадцать лет. Все это время он пытался разыскать своего сына и его жену, арестованных новыми военными властями. Сыну к моменту задержания исполнилось двадцать, невестке — девятнадцать лет; она была на седьмом месяце бере-

менности. Девятнадцатилетнюю дочь Хельмана тоже арестовывали, но ей повезло — она вернулась домой. А вот найти сына и невестку поэту было не суждено: они оказались в числе тридцати тысяч тех, кого в Аргентине называют *desaparecidos* — *исчезнувшие*, пополнив длинный список расстрелянных, замученных и сгноенных в тюрьмах и лагерях между 1975-м и 1983-м, в эпоху, которая в Аргентине получила название "Грязной войны".

В годы изгнания Хуан Хельман жил в Европе. Разыскивая сына и невестку, он выяснил, что в тюрьме у него родилась внучка. Однако лишь много лет спустя ему удалось отыскать ее в Уругвае, уже взрослой девушкой. Это было настоящим чудом.

В этом году поэту исполнилось восемьдесят. Уже тридцать лет назад в предисловиях к стихам Хуана Хельмана говорилось о разливанном море его поэзии. Сегодня количество изданных им книг с трудом поддается подсчету, а вот сам он говорит о себе: "Честно говоря, не думаю, что в моем случае речь идет о множестве книг. Я полагаю, поэт всю жизнь пишет одну единственную книгу. Или, если хотите, говорит о двух-трех вещах, разве не так? О том, что его волнует: о поэзии, любви, революции".

Революция понимается им широко — не как победа какой-нибудь левой партии, а как необходимое обретение человечеством чувства справедливости, братства и взаимопонимания, как вечная жажда сострадания и сочувствия. Его гражданская и социальная поэзия не головное построение, а сердечный порыв. Чуть ли не основная особенность мироощущения поэта — неистребимая детскость восприятия. Невинность и непосредственность ребенка — лучшее оружие против ощетинившейся дулами машины зла. И это удивительным образом роднит его, не религиозного, не христианского человека, с любимым им Достоевским и напрямую ведет к Христу с его "не мешайте детям приходить ко мне" и "будьте как дети".

С первой книги "Скрипка и прочие разности", вышедшей в 1956 году, Хуан Хельман остается верен поэтике обыденности — вечному вещному миру. Ему чужда усложненная метафорика Октавио Паса или Хосе Лесамы Лимы, он предпочитает более прямое высказывание, где, тем не менее, "сквозь быт явственно проступает бытие, за обыкновенным таится чудесное".

Стихи Хуана Хельмана чрезвычайно популярны в Латинской Америке и во всем испаноговорящем мире. Они переведены на четырнадцать языков планеты.

Среди его многочисленных литературных наград Национальная премия Аргентины (1997), премия Хуана Рульфо (Мексика, 2000), премия Пабло Неруды (Чили, 2005), премия королевы Софии (Испания, 2005) и наконец крупнейшая премия, Нобель испаноязычной литературы, — премия Сервантеса (Испания, 2007).

В старинном городке Алькала де Энарес под Мадридом — именно там и родился Сервантес — в легендарном средневековом Университете перед залом, в котором торжественно вручается престижная литературная награда, есть небольшой вестибюль. В нем на беленой каменной стене маленькие серебристые звездочки и возле каждой — фамилия лауреата. В этом блестящем причудливом созвездии ярко сияет и звезда Хуана Хельмана.

Иногда

Без намёка, без упрёка
в день воскресный, день погожий
город счастлив одиноко
и на что ему прохожий?
И такая стать и сила —
этой улицы начало,
что и горечь отпустила,
даже память замолчала.
Верно, тут и буду жить я:
добираться до причала
и откладывать отплытье.

Кинжал

Марко Антонио Кампосу

Марокканский кинжал знал
вкус человечьей крови, но внове
ему, что точит забвенья ржа
сверкавшее в лучах остриё.
Он в ножнах зачах, но её —
великую сушь пустыни — не взять у него, ей-ей,
а также её коней — они заодно навеки.
Вечность, не ты ли шлешь
фурий, грызущих нож?
Кому же ещё их слать?
Не ты ли
    следишь, как рана смежает веки? Или
    с беззвучным стоном обнимаешь — как мать?

Дитя

Дремлет дитя
у древесных корней. Набегая,
воздух сияет, светя —
словно жизнь, но другая.
Ветром кружимо,
веселье воздушное бродит,
и по щекам без нажима
тропинки проводит.
Осень приходит сторонкой,

и осень, похоже,
любит ребёнка,
что дремлет у ветра в изножье.
Страхи отступят, затихнут шаги молчаливо,
и никому не слыхать ни шагов, ни прилива.

Вопрос

Вопрос без ответа
становится ивой плакучей,
зеленой-зеленой. И в ней
и вокруг нее — пенье.
В груди ее — ветер,
и воды, и луны былого.
Оплакало время
упругие гибкие ветви,
и вот они меркнут.
Под ними укрылись собаки.
"Увы!" — только некому выдохнуть это "увы!"

Там

Не видеться — это смотреть на дерево,
забывшее нас. Кто сказал, что в забвении
ничего не растёт? А как же
ростки несбывшегося, там,
в нашептанном мире,
в пустынных безднах,
где в темном уголке, вдали от солнца,
стоит пианино,
на котором никто не играет.

Другой

Багряный конь, как тень
слепого слова,
и неизменный ваш вопрос:
"Скажите, *вы* это написали?" Нет, не я.
Я по утрам тащусь за хлебом в лавку,
покорно пью какие-то таблетки,
сто раз на дню, чтоб оттянуть конец.

А конь себе летит, покуда слово
взбирается на дерево апреля
и там с вершины воспевает женщин,
на веточке качаясь. Вы сказали,
я это написал? Но где, когда?
И как я мог? Я ежедневно бреюсь
и собственному зеркалу наскучил.
Что вы спросили? О коне багряном?
Кого? Меня?
Вот *этого* — меня?

Не *по нутру*

Если вам не по нутру
слово "сердце",
пора сходить к кардиологу.
О, поэты, вечно витающие в облаках,
какое отношение имеет
это слово — его упрямый, назойливый стук —
к нищему попрошайке
с маленьким ребёнком на руках, в лохмотьях беды.
Ну, глядите, глядите же,
что там, в уличных подворотнях,
где маячит всеми покинутая тень
нашей совести.

П*оспешим*

Поэзия, давай поторопимся,
пока всех нас окончательно не поглотила тьма.
Наше кровавое извращенное время
так нуждается в глотке света, капле ясности,
наконец, в мужестве, встающем в полный рост
навстречу опасности
против древней
изношенной машины зла.
Надо повернуть жизнь лицом к ней самой,
прекратить эту погоню невесть за чем,
уводящую прочь от смысла.
Надо поспе...

Эпитафия

Птица жила во мне.
Цветок расцветал в душе.
Скрипка пела в груди.

Любил, не любил. Порой
Бывал любим. Но всегда
Радовался весне,
Сплетенным крепко рукам.

Всегда говорил: человек, будь счастлив,
Будь счастлив, друг!

(Прохожий, под камнем сим
скрипка,
птица,
цветок.)

Яблоко

Яблоко на дне фонтана.
Что оно делает там — одно, без рая? Никому
не видны его раны.
Может, оно спрашивает:
да знает ли еще хоть кто-нибудь,
каково это — биться в наглухо закрытые двери,
уходя туда, в распахнутый плотный закат.
И ещё — грезить.
Грезить и грезить,
и Бог с ним, с утраченным?..
Там, в тиши,
тенью листьев играет ветер.

Дикая утка

Хорхе Бокканеру

Над безлюдьем,
над величьем мира
пролетает перелётная утка.
Так летит —

словно пламенем пишет,
ставит огненно-незримые вехи.
И такие на пути перегоны,
что печальное
становится жалким,
с высоты полёта — неприметным.
Ave, птица, иже
в поднебесье,
не случившегося луч небывалый,
под сияньем безучастного солнца.

Нищие

Монета катится вниз,
как страна, не сберёгшая душу.
Школьники старательно выводят гимн,
но внутри он пуст — необитаем;
наша слава в прошлом, далёко.
Власть, закоченевшая в своем величии,
выхолащивает всё, до последнего звука,
в каждом из нас, во всех до единого.
Где взять свою порцию радости,
если всё вокруг — сон?
Сон — разновидность труда, где земля
сливается с небом.
Мы смотрим на свои руки, как на чужие:
вот эти самые пальцы
могли бы коснуться осени — светлой осени,
той, что еще настанет. Счастье
куда-то спряталось, и — ни слова.

О *поэзии*

Пару слов я б сказал о ней. Во-первых,
что ее немногие читают.
Во-вторых, что немногих этих мало.
И вообще экономический кризис
плюс потребность ежедневная в пище.
Почему-то на этом самом месте
вспомнил я про дядю Хуана,
умиравшего от голода кротко,
со словами: Я сыт, не беспокойтесь!

Но пришлось побеспокоиться позже,
когда денег на гроб не хватило,
и приехал фургон муниципальный,
чтобы дядю погрузить, а тот — как птичка.

И чиновники муниципалитета
были дядею страшно недовольны.
Мы, сказали, люди и привыкли
хоронить людей, а не пичужек.

А и то, дядя был оригиналом:
всю дорогу в крематорий чирикал.
Чик-чирик — это ж чистое глумленье,
если вас за казенный счет хоронят.

Уж ему давали подзатыльник,
чтобы он немножечко заткнулся,
но мой дядя Хуан не из таковских:
чик-чирик — никакого нету сладу.

Он и раньше любил попеть, при жизни,
и, должно быть, смерть ему казалась
недостаточно веским основаньем,
чтоб оставить любимую привычку.

Он и в печь-то спустился, напевая.
Что-то пискнул его прах прямо в урне.
А чиновники краснели, насупясь:
до того им за него было стыдно.

Но вернемся к поэзии. Поэты
времена переживают не из лучших,
потому что их немногие любят,
да и этих немногих очень мало.

Весь престиж стихоплётство растеряло,
и поэту с каждым днем труднее
что любви от красавицы добиться,
что пройти кандидатом в президенты.
Бакалейщик в долг дает им со скрипом,
воин к подвигу подходит с прохладцей —
где ж поэту посвистать про геройство?
Короли пошли какие-то скряги —
нет, чтоб шапку золотых за куплетик!
А уж как это всё получилось,
не берусь вам объяснить. Может, просто
короли перевелись и герои,

бакалейщики тоже в дефиците,
и красавиц на улице не встретишь?
Может, просто нет хороших поэтов?
Ничего я этого не знаю,
даже голову ломать неохота.

Все же счастье, если кто-то способен
зачирикать вдруг неадекватно,
как мой дядя в том казенном фургоне,
я — сейчас, чтобы вы нас полюбили.

Друзья

иржи волькер аттила йожеф и я иже с ними
вот были бы друзья не разлей водой
иржи рассказывал бы о Праге
о своем слепом кочегаре что по-прежнему
провожает нас невидящим взглядом
йожеф славил бы Флору и Революцию
и ни-ни — ни тебе поездов чтобы броситься
ни тебе больничной койки чтобы испустить дух

как вам это? иржи йожеф и я иже с ними
трое неутомимых мы бы шлялись себе
по странам пабам и бабам
выпивали сочиняли замечательные стихи
мир был бы бескрайним — нашим! — за душой ничего
а в душе всё — такова молодость

нас ждал бы блестящий конец как мы всегда мечтали —
на баррикаде
иржи йожеф и я ух как здорово мы бы насвистывали
напоследок
вручая вечности свои немощные мощи

иржи умер в больнице
йожеф под колесами поезда
жаль! как лихо мы бы выдали на троих
последний наш геройский мотивчик.

Антонио Порчиа

Голоса

Перевод и вступление Павла Грушко

Поэзия аргентинца Антонио Порчиа (1885—1968) — музыка мысли. Это наикратчайшие максимы, лишенные литературных доспехов, свободные от каких-либо приёмов и средств регулярной поэзии.

"Голосами" называл их Порчиа, *поющими голосами мысли* следовало бы их назвать.

Приверженность этой, и только этой, форме мыслеизъявления позволяет считать Антонио Порчиа одним из оригинальнейших писателей Латинской Америки. Андре Бретон сказал: "Хочу отметить, что для меня наиболее эластичным мышлением на испанском языке является мышление аргентинца Антонио Порчиа".

Антонио Порчиа не получил систематического образования. Семья его — выходцы из Италии — осела в Аргентине, когда будущему мыслителю было совсем немного лет. Жили они на окраине Буэнос-Айреса. Антонио работал каменщиком, но часто бывал в кругу художников, они-то и убедили его собрать вместе *голоса*, которые он записывал на вырванных из тетради листках. В начале сороковых они увидели свет в Аргентине, затем были переведены и опубликованы во Франции, а в 1969 году вышли в США, в переводе известного поэта Уильяма Стэнли Мервина.

Точнее других говорит об Антонио Порчиа хорошо знавший его аргентинский поэт Роберто Хуаррос: "Он был предрасположен к осмыслению того, что, по-видимому, не нуждается в осмыслении, и, однако, из этого осмысления он извлекает невостребованное — то, что мы не увидели. Он бу-

© 1999, Universidad Nacional Autonoma de Mexico
© Павел Грушко. Перевод, вступление, 2010

квально жил в этих голосах. Но это не внешние голоса, а голоса внутренних глубин... Есть в Порчиа поэзия? Да, есть. Есть в нем философия? Да, есть философия. Есть чувственность? И она есть. Есть предвидение? Конечно. Но ничто из всего этого само по себе не объясняет его. Как же назвать все это вместе взятое? Не знаю..."

И, конечно, понять этого своеобразного аргентинского мыслителя помогает суждение его соотечественника Хорхе Луиса Борхеса: "Максимы всегда рискуют казаться простыми словесными уравнениями: мы склонны считать их плодом случайности или неких искусных комбинаций. Этого не скажешь о Новалисе, Ларошфуко и Антонио Порчиа... Мы не были с ним лично знакомы... Но могу заверить, что благодаря его 'Голосам' Антонио Порчиа ныне мой близкий друг, если он об этом и не знает... Его афоризмы простираются далеко за пределы написанного текста, они не завершение, а начало. Они не стремятся произвести впечатление. Мы можем заподозрить, что автор писал их для себя, не ведая, что создает для других образ одинокого человека, блистательного, сознающего неповторимое таинство каждого мгновения".

Для того чтобы взяться за перевод "всего этого", не менее важной для меня, чем бретоновская и борхесовская рекомендации, была надпись на "Голосах" моего друга — аргентинского поэта (и переводчика русской поэзии) Серхио Виаджио, приславшего мне лет тридцать тому назад книгу Порчиа: "В Аргентине у многих эта книга лежит в изголовье".

Если бы не было глупого тщеславия являть себя миру, мы ничего бы не видели и ничего бы не существовало.

Иногда я как в аду и не жалуюсь. Не на что.

Рассудок губится рассудочностью.

Я теперь в одном шаге от всего. И остаюсь тут, вдали от всего, в одном шаге.

Ты ничего мне не даёшь. Потому что я ничего у тебя не прошу — вот и не даёшь мне ничего.

Душегубу не обязательно сгубить сто душ, достаточно и одной.

При каждой новой драме я думаю: драма ли это?

Так мало во мне меня, что мне почти безразлично, что из меня делают.

Мою жажду я испил до дна.

Ребёнок показывает свою игрушку, взрослый её — прячет.

Где есть хотя бы маленькая зажжённая лампадка, я не зажигаю свою.

Почему ты на миг застыл, бросаясь в пропасть?

Когда ты сделала меня другим, я оставил тебя при себе.

Я могу смотреть на цветы, только когда никто на них не смотрит.

Ты связан с ними и не понимаешь — каким образом, потому что они не связаны с тобой.

Заглядывая в себя, я думаю: что стремятся увидеть в себе другие?

Если бы мне сказали, что я умер или что я не родился, я бы призадумался.

Да, я занят собой, только забыл, что означает — заниматься собой.

Так, пустяк. Всего лишь боль.

Сегодня я не смог бы свыкнуться с тем, каким буду завтра; завтра — смогу.

Иногда мне снится, что я не сплю. Вот так мне снится сон моего сна.

Не оказывай мне любезность, я не вижу ее в тебе.

Так как я готовлюсь лишь к тому, что могло бы со мной случиться, я не готов к тому, что со мной случается. Никогда.

Если тучи считают, что парят на своих крыльях, значит они и парят на своих крыльях, разве что не могут ими махать.

Ты вечно рассказываешь о своих снах. Когда они успевают тебе сниться?

Иногда мне достаточно огонька спички, чтобы осветить звёзды.

Когда я приближаюсь к чьей-то душе, у меня пропадает желание познать её. Когда удаляюсь, желание появляется.

Когда я не витаю в облаках, я слоняюсь, словно потерянный.

Выбрасывая какую-то вещь, я не хочу обзавестись другой, чтобы однажды не выбросить и её.

Когда ты и правда говорят со мной, я не слушаю правду. Я слушаю тебя.

Что сказать о нынешнем человечестве? Улицы стали шире.

Кто смотрит на меня, чтобы меня рассмотреть, плохо меня разглядит.

Отдавал себя всем, ни за кем не следуя. И это в мире, где почти все следуют за всеми, не отдавая себя никому.

Нельзя не ранить, но можно ранить меньше — там, где ранимость меньше.

Решив, что ты меня понял, ты перестал меня понимать.

Одни вещи ведут к другим. Они как дороги — как дороги, которые лишь ведут к другим дорогам.

Хулио Кортасар

Рассказы и эссе

из книги "Найденные рукописи"

Перевод Людмилы Синянской
Вступление Бориса Дубина

© Herederos de Julio Cortázar, 2009
© Людмила Синянская. Перевод, 2010

Неумолкающая речь

Памяти Эллы Владимировны Брагинской

Кортасар любил фотографию (одна из миниатюр, следующих ниже, — прямое и пылкое признание в этой любви), и все же, мне кажется, его книги живут не смертоносной меткостью фотоснимка, а стихией живой речи. Дело не только в том, что кортасаровская проза чаще всего роздана голосам героев, хотя и это черта, согласимся, характернейшая. Но тут ведь и реплики "автора" — не столько нейтральный фон, на котором рельефнее выступает "чужая" речь, сколько еще один голос среди множества голосов. Потому и по-настоящему чужих среди них для Кортасара, прислушаемся, нет, а один из ведущих мотивов у него — метаморфоза, превращение в другого (второго, третьего...), буквальное перехватывание слов у него с губ. Перед нами, вокруг нас, наконец, в нас самих — неостановимое движение языка, звучащая здесь и сейчас, ни на миг не умолкающая речь. Начинаясь с любой, самой непредвиденной, точки и круто, без подступов, разворачиваясь, опять-таки в самую непредвосхитимую сторону, рассказ у Кортасара вместе с тем как будто не может остановиться. Больше того, не хочет закончиться.

Рискну предположить, что это качество поэтическое. Кортасар дебютировал стихами и хотя в дальнейшем не аттестовал себя поэтом, но стихотворный (всегдашняя опечатка — *стиховторный*) способ организации речи сохранил. Смысл в поэзии прирастает по вертикали, как она и записывается: отсюда ее свойство замедлять, останавливать, переворачивать, а то и вовсе отключать время. Проза же движется сюжетом, расчетливо хронометрирующим линейное действие и неумолимо торопящим к концу. Два этих начала постоянно борются в кортасаровской прозе. Вероятно, поэтому его романы — всегда "модели для сборки", где хитроумно перетасованы начала и концы. И, может быть, поэтому его рассказы так часто завершаются гибелью: рассказчик здесь отводит неизбежную кончину от себя, передавая ее героям. Он, можно сказать, репетирует собственную смерть — конец рассказа, — транспонируя ее в уход героя и тем самым еще раз спасаясь от самоубийства. Так выжил Гёте, убив Вертера.

Речь у Кортасара — Шахерезада: ей, под угрозой казни, просто нельзя заканчиваться. Зато она как будто бы всегда в начале, а потому необычна и неожиданна (название посмертной книги писателя, из которой взяты публикуемые ниже вещи, можно перевести и так — "Неожиданные бумаги"). Поразительно, что новые книги писателя, которого нет с нами уже больше четверти века, выходят и выходят, и его работа все не завершается. Не зря же героиня одной из печатаемых здесь новелл многозначительно, едва ли не пророчески роняет: "Стоит мне начать говорить..."

Борис Дубин

© Борис Дубин. Вступление, 2010

Рукопись, найденная подле руки

Моему тезке Де Каро

Я буду в Стамбуле в половине девятого вечера, а концерт Натана Мильштейна начинается в девять, но мне не обязательно быть на первом отделении, я приду в конце антракта, после того как приму ванну и перекушу в "Хилтоне". От нечего делать забавно вспоминать все, что предшествовало этому путешествию, всем путешествиям в последние два года. Не первый раз я записываю эти воспоминания, но всегда благоразумно, прибыв на место, рву свои записи в клочки. Я с удовольствием читаю и перечитываю эту замечательную историю, но потом все-таки предпочитаю стереть следы. Сегодня путешествие мне кажется бесконечным, журналы скучными, а у стюардессы глупое лицо — не догадывается даже пригласить другого пассажира, чтобы поиграть в карты. Ну, так будем писать, чтобы отвлечься от гула турбин. Сейчас вспоминается, что я скучал и в тот вечер, когда мне вздумалось пойти на концерт Руджеро Риччи. При том, что я не выношу Паганини. Но было так скучно, что я пошел и купил дешевые билеты, которые остались в кассе чудом, поскольку публика обожает Паганини, и, кроме того, *надо* слушать Риччи, когда он играет *каприччо.* Концерт был великолепный, меня поразила техника Риччи, его невероятная способность превращать скрипку в нечто, подобное огненной птице, звездной ракете, взбесившемуся карнавалу.

Этот момент я помню очень хорошо: люди застыли, точно парализованные, при блистательном завершении очередного каприччо, и Риччи — почти без перехода — набросился на следующее. И тут я подумал о моей тете — такое бывает, когда в минуту напряженного внимания вдруг по-дурацки отвлекаешься, — и в тот же миг у скрипки лопнула вторая струна, вещь чрезвычайно неприятная, потому что Риччи пришлось поклониться, уйти со сцены и вернуться с перекошенным лицом, в то время как в публике спадало напряжение, которого каждый исполнитель хочет добиться и потом использовать. Пианист принялся за свою партию, и Риччи снова заиграл. А у меня осталось смутное и в то же время назойливое ощущение какой-то незавершенности, как будто разрозненные элементы хотят, но не могут соединиться. Я никак не мог вернуться к музыке и стал анализировать все случившееся, вплоть до той самой минуты, когда меня, на середине каприччо Паганини, отвлекла мысль о тете. Я подумал, что, наверно, виновата моя тетушка, и в этот самый момент у рояля с оглушительным грохотом упала крыш-

ка, зал пришел в ужас, концерт был сорван. В полном замешательстве я вышел на улицу и решил выпить кофе; я думал о том, как мне не везет, и тут появилась мысль немного развлечься.

Я, наверное, наивен, но теперь знаю, что даже у наивности могут быть свои преимущества. Проглядев афиши, я узнал, что Руджеро Риччи продолжит свои выступления в Лионе. Пойдя на кое-какие жертвы, я оказался в поезде, в вагоне второго класса, пропахшем плесенью, не забыв, однако, взять больничный лист в Институте судебной медицины, где я работал. В Лионе, наскоро перекусив на станции, я купил билет в театр на самые дешевые места, и, терзаясь сомнениями, главным образом из-за Риччи, не входил в зал до самого последнего момента, то есть до Паганини. Намерения у меня были исключительно научного характера (однако, правда ли это, не замышлял ли я все-таки некоего плана?), и поскольку я не желал навредить артисту, то дождался короткой паузы между двумя каприччо, чтобы подумать о тетушке. Не веря своим глазам, я увидел, как Риччи внимательно разглядывает смычок, потом кланяется и с жестом извинения уходит со сцены. Я тотчас же вышел из зала, боясь, что не смогу сдержаться и снова подумаю о тетушке. Из гостиницы в ту же ночь я написал первое из своих анонимных посланий, каковые некоторые знаменитые артисты окрестили "черными письмами". Разумеется, Риччи мне не ответил, но мое письмо предусматривало не только насмешливый хохот адресата, но и свой собственный конец в мусорной корзине для бумаг. На следующем концерте – это было в Гренобле – я точно вычислил момент, когда войти в зал, и на середине второй части сонаты Шумана подумал о тетушке. Свет в зале погас, в публике началось смятение, и побледневший Риччи, полагаю, вспомнил кое-что из моего письма прежде, чем заиграл снова; не знаю, хороша ли была соната, потому что я уже шел в гостиницу.

Его секретарь принял меня два дня спустя, и, поскольку у меня нет презрения к людям, я согласился на небольшой показ на дому, не будучи вполне уверенным, что особые условия не повлияют на результаты опыта. Так как Риччи не пожелал видеть меня, за что я в душе был ему благодарен, то решили, что он останется у себя в номере, а я расположусь в приемной, рядом с секретарем. Стараясь скрыть естественное для новичка волнение, я сел на диван и прислушался. Потом тронул секретаря за плечо и подумал о тетушке. В соседней комнате раздались проклятья на великолепном американском языке, и мне как раз хватило времени выйти за дверь, прежде чем из другой смерчем ворвался человек, вооруженный скрипкой Страдивари с повисшей струной.

Договорились, что ежемесячно они будут класть тысячу долларов в банк на счет, который я намеревался открыть по получении первого взноса. Секретарь, принесший мне деньги в отель, не скрывал, что готов на все, чтобы воспрепятствовать тому, что он квалифицировал как мерзкую махинацию. Я предпочел промолчать, спрятать деньги и ждать следующего взноса. Когда же через два месяца банк не известил меня о новом поступлении, я полетел на самолете в Касабланку, хотя это путешествие стоило мне значительной части первого взноса. Думаю, что в тот вечер моя победа решительным образом утвердилась, потому что письмо мое к секретарю было достаточно определенным, а круглых дураков в этом мире нет. Таким образом, я мог вернуться в Париж и добросовестно заняться Исааком Стерном, начинавшим свои гастроли во Франции. А через месяц я был уже в Лондоне, где встретился с импресарио Натана Мильштейна и с секретарем Артура Грумо. Деньги давали мне возможность совершенствовать мою технику, а самолеты, эти скрипки воздушного пространства, позволяли сберечь массу времени; менее чем за шесть месяцев мой список пополнили Зино Франческатти, Иегуди Менухин, Рикардо Однопособфф, Кристиан Феррас, Иври Гитлис и Яша Хейфец. Не вполне получилось у меня с Леонидом Коганом и обоими Ойстрахами, они убедительно доказали, что могут платить только в рублях, и мы договорились, не без колебаний, что они положат свои взносы в Москве, а мне пришлют об этом подтверждения. Я не теряю надежды, если дела позволят, как-нибудь наведаться в Советский Союз и по достоинству оценить красоту их музыки.

Понимая, разумеется, что число знаменитых скрипачей довольно ограничено, я проделал эксперименты и в сопричастных областях. Виолончель прекрасно отреагировала на воспоминание о тетушке, а вот рояль, арфа и гитара проявили полное безразличие. Пришлось ограничиться исключительно смычковыми инструментами, и я занялся новым разрядом клиентов — Грегором Пятигорским, Гаспаром Кассадо и Пьером Мишленом. Договорившись с Пьером Фурнье, я отправился отдохнуть на фестиваль в Прадес, и там у меня произошел довольно неприятный разговор с Пабло Касальсом. Я всегда уважал старость, но мне было неприятно, что почтенный каталонский маэстро настаивал на скидке в двадцать процентов или, в крайнем случае, в пятнадцать. Я согласился на десять процентов, взяв с него честное слово, что он не проговорится о скидке никому из своих коллег, однако я остался в накладе, потому что для начала маэстро целых шесть месяцев не давал концертов, а потом, как и следовало ожидать, не заплатил ни гроша. Пришлось снова садиться в самолет и лететь на другой

фестиваль. Маэстро заплатил. Такие вещи меня ужасно раздражали.

На самом деле мне бы следовало отдохнуть, мой банковский счет прирастал 17900 долларами каждый месяц, однако неверность моих клиентов не знала границ. Стоило мне более чем на два километра отдалиться от Парижа, где, как им было известно, находится мой оперативный центр, и они тотчас же прекращали переводить мне условленные суммы. Согласитесь, что стыдно так вести себя людям, которые деньги гребут лопатой, но я не терял времени на упреки и увещевания. "Боинги" создавались совсем для других целей, однако с их помощью я добросовестно и лично освежал память уклонявшихся от обязательств. Уверен, что Хейфец, например, накрепко запомнил один вечер в Тель-Авиве, а Франческатти никак не может прийти в себя после финала своего последнего концерта в Буэнос-Айресе. Я знаю, они изо всех сил пытаются освободиться от своих обязательств, и я хохотал, как никогда в жизни, узнав о военном совете, который они устроили в прошлом году в Лос-Анджелесе, воспользовавшись нелепым приглашением какой-то калифорнийской наследницы-меломанки, одолеваемой еще и манией величия. Результаты были ничтожны, однако незамедлительны: в Париже полиция без особого пыла допросила меня. Я признался, что являюсь любителем музыки, отдаю предпочтение струнным инструментам и восхищаюсь великими виртуозами, что заставляет меня ездить по всему миру на их концерты. Кончилось тем, что они оставили меня в покое, посоветовав, ради моего же здоровья, подыскать себе другие развлечения; я пообещал сделать это и через несколько дней послал письмо моим клиентам, поздравив их с хитроумным выпадом и посоветовав оплачивать в срок свои обязательства. Именно тогда я купил загородный дом в Андорре, а когда неизвестный при помощи пластикового заряда взорвал мой парижский офис, я отметил это событие посещением великолепного концерта Исаака Стерна в Брюсселе — с чуточку подпорченным финалом, — а на следующее утро послал ему коротенькое письмо. Как и следовало ожидать, Стерн показал письмо всей моей клиентуре, и я с удовольствием отмечаю, что на протяжении последнего года почти все они ведут себя как настоящие кабальеро, выплачивая все, включая возмещение, которое я потребовал за ущерб, причиненный военными действиями.

Несмотря на беспокойство, которое доставляют мне упрямцы, должен сказать, что я счастлив, а их порою проявляющаяся строптивость дает мне возможность глубже познать мир, и я, к примеру, по гроб жизни благодарен Менухину за великолепный закат, который наблюдал в Сиднейской бухте. Я

думаю, что даже мои неудачи обернулись для меня счастьем, потому что если бы я сумел пополнить мою клиентуру пианистами, которых несметное полчище, то у меня просто не осталось бы и минуты отдыха. Несколько недель назад в Андорре, у себя в имении, я проделал несколько экспериментов, вспоминая тетушку, и еще раз убедился, что ее власть распространяется исключительно на то, что каким-то образом связано — какой бы абсурдной эта связь ни казалась — со скрипками. Если я думаю о тетушке, глядя на летящую ласточку, она роковым образом начинает кружить на месте, сбивается с курса и выправляется, лишь совершив некоторое усилие. Подумал я о тетушке и на площади, глядя, как художник легкими лирическими движениями руки делал набросок. И вдруг уголь в его пальцах рассыпался в прах, а я едва удержался от смеха, глядя на его ошеломленную физиономию. Такие вот странные взаимосвязи... Что поделаешь. А с роялями — не получается.

Достоинства нарциссизма: объявили, что уже прибываем через четверть часа, а я прекрасно провел время, исписав эти странички, которые, как всегда, уничтожу прежде, чем мы приземлимся. Сожалею, что придется так сурово обойтись с Мильштейном, он замечательный скрипач, однако на этот раз он заслуживает примерного наказания, это приструнит и остальную клиентуру. Я всегда подозревал, что Мильштейн считает меня мошенником, а мою власть над ним — не более чем эфемерным результатом внушения. Мне известно, что он пытался подговорить Грумо и других открыто восстать против меня. По сути, они ведут себя как дети, и обращаться с ними надо точно так же, однако на этот раз наказать придется сурово. Пожалуй, я испорчу концерт Мильштейна с самого начала; остальные примут это известие со смешанным чувством радости и ужаса, что свойственно их братии, и, как говорится, поберегут свои скрипочки.

Вот и подлетаем, самолет пошел на снижение. Наверное, из кабины пилота потрясающий вид: под ними грозно дыбится земля. Представляю: пилот, несмотря на весь его опыт, напрягся, руки впились в штурвал. Да, шляпка была розовая, с фестончиками, тетушке она очень

Чао, Верона

— Tu n'a pas su me conquérir — prononça Vally, lentement. — Tu n'a eu ni la force, ni la patience, ni le courage de vaincre mon repliement hostile vis-à-vis de l'être qui veut me dominer.
— Je ne l'ignore point, Vally. Je ne formule pas le plus légère reproche, la plus légère plainte. Je te garde l'inexprimable reconnaissance de m'avoir inspiré cet amour que je n'ai point su te faire partager.

Renée Vivien
Une famme m'apparut...[1]

ПРОИЗОШЛО это в Бостоне, в отеле, причина — таблетки. Ламиа Мараини, тридцать четыре года. В общем, это никого особенно не потрясло, какие-то женщины поплакали в далеких городах, а та, что жила в Бостоне, отправилась в тот вечер в ночной клуб и завила там горе веревочкой (как она сообщила своей мексиканской подружке). Среди немногих бумаг в вещах были почтовые открытки, подписанные просто именем, и длинное любовное письмо, едва ли прочитанное, в продолговатом голубом конверте. Не знаю, Ламиа, — почерк круглый, писал, по-видимому, тот, кто не делал черновиков, — не знаю, пошлю ли я тебе это письмо, ты так давно молчишь, что ясно, ты их не читаешь, а я так и не научилась посылать тебе коротенькие писульки, на которые, возможно, тебе и захотелось бы ответить, черкнуть пару строчек или какой-нибудь рисуночек: стрелочки, лягушата — вроде тех, что я иногда получала от те-

1. — Тебе не удалось завоевать меня, — произнесла Валли медленно. — Ни силой, ни терпением, ни напором ты не победил моего полного неприятия того, кто желал властвовать.
— Разве я этого не понимаю, Валли. И ничуть не упрекаю тебя, и ни на что не жалуюсь. Я испытываю к тебе несказанную признательность за то, что ты вдохнула в меня эту любовь, которую я не сумел заставить тебя разделить со мной.
Рене Вивьен *Мне женщина явилась...* (*Здесь и далее – прим. перев.*)

бя с Исчии или из Манагуа, так, от нечего делать, в свободное время, знак вежливости, чуть ироничный.

Видишь, я только начала разговаривать с тобой, как чувствую — ты-то почувствуешь это еще раньше и недовольно, точно потревоженная кошка, отбросишь это письмо, — что я не смогу быть краткой, что стоит мне начать говорить с тобой, и времени как не бывало, и снова мы в СЕРНе, где долгие беседы спасают нас от бюрократической мути, среди будто запылившихся бумаг на наших столах, *срочно, перевести немедленно*, и где удовольствие — не замечать этот мир, к которому мы, в общем-то, по-настоящему никогда и не принадлежали, надеясь выдумать какой-нибудь другой, без этой спешки, но упруго закрученный, взвихренный и полный неожиданных радостных праздников. Я говорю о себе, разумеется, ты никогда на это так не смотрела, но как мне было знать это тогда, Ламиа, разве я могла догадаться, что, разговаривая со мной, ты все равно как причесываешься или прихорашиваешься, а я-то — всегда одна и всем своим существом обращена к тебе, я — твое зеркало-Мирей, твое эхо-Мирей, до того самого дня, когда ты распахнула дверь — контракт закончился — и выскочила наружу, в жизнь, газанула свой "порш", и тот умчал тебя, наверное, в совсем другие края, где ты живешь и думать не думаешь обо мне, которая тебе пишет.

Будем считать, что я пишу тебе только затем, чтобы заполнить твое свободное время, когда ты пьешь кофе и то и дело отрываешься от письма посмотреть на входящих в кафе, бросить оценивающий взгляд на щиколотки, безупречно отчеркнутые красной юбкой и сапожками из мягкой кожи. Где ты, Ламиа, на каком берегу, в какой постели, в вестибюле какой гостиницы тебя застанет это письмо, которое я вручу равнодушному служащему, и он, не глядя на меня, привычным движением проштемпелюет конверт и скажет, сколько стоит его отправить. Все так ненадежно, так зыбко: ты его прочтешь, а может, оно вообще не попадет к тебе, или попадет, но ты его не прочтешь, занятая более интересными играми; или прочтешь его, попивая вино, или отвечая на вопросы, которые тебе всегда будут задавать женщины, одаренные несказанным счастьем сидеть с тобой за столом вдвоем или в дружеской компании; словом, если повезет и под настроение, и конверт выглянет из сумочки, и ты решишь открыть его просто от скуки, а может, наоборот, засунешь его поглубже, туда, где расческа, пилочка для ногтей, горсть монет и ворох записок, адресов и телефонов. А если и прочитаешь, потому что невыносимо думать, что не прочитаешь, если даже не до конца, а только до этого места, до этих самых слов, то пусть они вопьются в тебя, пусть удержат твой взгляд на том, что говорится дальше, если ты, ко-

нечно, читаешь, Ламиа, и, может, тебе будет интересно то, что хочу рассказать, нет, не о том, что я тебя люблю, это ты и без того давным-давно знаешь, и тебе на это плевать, подумаешь, новость, на самом деле, что́ это за новость для тебя там, где ты, наверное, уже любишь другую, или просто смотришь на поток женщин, которых ветер улицы гонит к твоему столику и несет дальше плавным галсом, давая тебе возможность проследить их курс и рассмотреть их ростры и многоцветье их парусов, и какая-нибудь, сама того не ведая, победит, когда ты поднимешься и пойдешь вслед за ней и повернешь ее, единственную из всей вечерней толпы, и в точно рассчитанный момент возьмешь ее на абордаж, и в нужном подъезде твоя улыбка, твой вопрос и предложение ключа от этой ночи налетят как ястреб, а за сим — пиршество до беспамятства.

Так вот, я хочу рассказать тебе о Хавьере, чтобы позабавить немного. Не себя, конечно, меня это не забавляет, просто это еще одно жертвоприношение вдобавок ко всем тем, что я вывалила к твоим ногам (купила ли ты, наконец, эти туфли от Грегссона, которые видела в "Vogue" и которые ты желала, как пошутила однажды, больше губ Анук Эме?). Нет, меня это не забавляет, просто мне надо поговорить об этом, как, бывает, тянет снова и снова трогать языком застрявший в зубах кусочек мяса; мне необходимо поговорить о нем, потому что после Вероны я чувствую в нем что-то от sucubo (или incubo?[1] Ты всегда поправляла меня, а я, видишь, все еще путаю), словом, это акт экзорцизма, заклинание, чтобы изгнать его из меня, как он хотел изгнать меня из себя в том тексте, что так понравился тебе, когда ты в Мексике прочитала его последнюю книгу, твою открытку я не сразу поняла, потому что ты так играла словами, так сплетала слоги, а строчки закручивала полукружьями, и они рассекали друг друга и смысл так, что глазам было трудно за ними уследить. Интересно, Ламиа, что в каком-то смысле этот текст Хавьера — то, что было на самом деле, он сумел превратить это в рассказ и опубликовать как литературное произведение под несколько нумизматическим названием[2], однако, в жизни все происходило именно так, во всяком случае внешне, что для Хавьера было важнее всего, а иногда и для меня. Его глупая ошибка — в числе многих других — заключалась в том,

1. Инкубация (в античности) — храмовый сон, обряд для вступления в контакт с божеством; sucubo — демон, принимающий женское обличие для совокупления с мужчиной; incubo — демон, принимающий человеческий облик для совокупления с женщиной.
2. Нумизматическое название — имеется в виду рассказ Х. Кортасара "Две стороны медали".

что он верил, будто его текст охватывает нас полностью и даже в некотором роде нас объясняет; он решил так потому, что он писатель и тщеславен, что, возможно, одно и то же, те фразы, где он говорит о себе и обо мне во множественном числе, дополняют это ощущение совместности; такую точку зрения в этом тексте я, пожалуй, вправе оспорить. Мое преимущество в том, что я — не писатель и потому могу говорить с тобой о нем просто и честно, в письме, от первого лица; и я не оставлю копии, Ламиа, так что никто не сможет послать открытку Хавьеру с ироническими замечаниями. Потому что пришло время видеть вещи такими, какие они есть, для него его текст — чистая правда, и так оно и есть, но только для него. Легко рассуждать о двух сторонах медали и верить, что ты способен переходить с одной на другую, переходить от я к некоему литературному множественному числу, которое претендует на то, чтобы включить в него и меня. Иногда это бывало, не отрицаю, я говорю все это не от обиды, Хавьер, поверь (Ламиа простит мне эту резкую смену адресата, когда мучаешься над причинами, следствиями и их необъяснимостью, поди знай, не тебе ли я пишу это, мой бедный, до невозможности униженный друг), однако необходимо, чтобы другая сторона медали тоже могла говорить своим голосом и показала, каков человек, когда его вытаскивают из удобной привычной жизни и совлекают с него все прикрывающие его одежды, мифы и маски.

А кроме того, я должна кое-что пояснить тебе, Ламиа, хотя ты не преминешь заметить, что это не тебе, а Хавьеру я должна пояснить, и конечно же ты права. Если ты внимательно читала его текст (бывает, что внезапная жестокость искажает справедливость твоего суждения, и тогда никто и ничто не может изменить это дьявольское ви́дение вещей, потому что оно теперь — твое), ты, наверняка, заметила, что он как бы стыдится того, что написал, то есть о некоторых вещах он не может не сказать, но вообще-то он предпочел бы обойти это молчанием. И для него это тоже своего рода акт заклинания, ему необходимо было это выстрадать и, думаю, он страдал, когда писал об этом, и верил, что освобождается, как бы смывает кровью. И потому, когда решил послать мне этот текст, задолго до того, как опубликовал его вместе с другими рассказами, он сопроводил его письмом, где признавался именно в том, что ты сочла нестерпимым, и он, Ламиа, да, и он — тоже. Воспроизвожу его слова: "Я знаю, Мирей, что непристойно писать о таких вещах, выставлять их напоказ. А что делать, кто-то ходит исповедоваться в церковь, кто-то пишет бесконечные письма, а кто-то делает вид, что сочиняет роман или рассказ о том, что пережил сам. Что делать, любовь рвется на улицу, хочет свежего ветра, она не умеет уми-

рать в одиночестве. За этим грустным спектаклем из слов трепещет робкая надежда, что я не умру окончательно в твоей памяти". Видишь, какой он человек, Ламиа; конечно, я не говорю тебе ничего нового, потому что для тебя все они — презираемые и одинаковые, в чем ты ошибаешься; однако, к несчастью, он точно укладывается в этот их стандарт, который ты так определила раз и навсегда.

Никогда не забуду твоей гримасы в тот день, когда я сказала, что мне жалко Хавьера; это было ровно в полдень, мы с тобой пили мартини в привокзальном баре, ты уезжала в Марсель и только что отдала мне список вещей, которые забыла сделать: зайти в банк, позвонить по нескольким телефонам — то были мелкие поручения, которые ты постоянно оставляла мне в наследство, а иногда, может, и придумывала специально, чтобы подать мне хотя бы эту милостыню. Я сказала, что мне жалко Хавьера и что я в ответ на его почти истерическое письмо из Лондона черкнула ему пару вежливых строк и написала, что мы встретимся с ним недели через три в дружеской туристической поездке. Ты не высмеяла меня прямо, но, услыхав, что для этого выбрана Верона, сверкнула глазами, расхохоталась, но обошлась без классических реплик и ушла, так и не сказав, что ты об этом думаешь; твой поцелуй, может, и был дольше обычного, да и пальцы на мгновение сомкнулись на моей руке. Мне даже не удалось сказать тебе, что ничто не заставит меня изменить решение, мне так хотелось сказать тебе это, потому что ты уже опять уходила за своей добычей, это чувствовалось по тому, как ты поглядывала на часы, как отсчитывала в уме время, которое оставалось до свидания. Не поверишь, но в последующие дни я мало думала о тебе, но ты и отсутствующая становилась все более ощутимой, мне почти не нужно было видеть тебя, потому что наш офис и без тебя раз и навсегда стал твоей территорией, твой неизменный карандаш на одной стороне стола, чехол от пишущей машинки, скрывающий клавиатуру, на которую я так любила смотреть, когда по ней плясали твои пальцы, окутанные дымом "Честерфильда"; мне не надо было думать о тебе, все эти вещи были тобою, ты никуда не ушла. Понемногу тень Хавьера снова начала появляться, подобно тому, как он сам, бывало, входил в офис, якобы о чем-то посоветоваться, останавливался около моего стола и в конце концов предлагал пойти на концерт или прогуляться куда-нибудь в субботу и воскресенье. Поскольку я, как ты знаешь, терпеть не могу беспорядка и импровизаций, то написала ему, что сама закажу гостиницу и распишу план по часам; он из Лондона поблагодарил меня, приехал майским утром в Верону на полчаса раньше, чем я, и, ожидая, выпил в гостиничном баре; он сжал меня в объя-

тиях, прежде чем взял у меня чемодан, сказал, что ему просто не верится, засмеялся как ребенок, проводил меня в номер и обнаружил, что он почти напротив его номера, чуть дальше, вглубь коридора, затененного коричневыми стенами и шторами, — та самая гостиница "Академиа", где я останавливалась во время другой своей поездки и где одинаково хороши постель и обслуживание. Он ничего не сказал, разумеется, только посмотрел на обе двери и ничего не сказал. Другой упрекнул бы в жестокости — зачем так близко, или спросил бы, случайно ли это получилось. Так оно и было, не сомневаюсь, по правде сказать, я не просила поселить нас на разных этажах, довольно трудно объяснить это итальянскому служащему гостиницы, к тому же мне казалось, что так все будет чище и яснее, всего-навсего встреча друзей, которые просто хорошо друг к другу относятся.

Я понимаю, что все это оборачивается ложной линейностью, как все линейное, и может иметь смысл, только если между твоими глазами (они по-прежнему все такие же синие, все так же отражают другие цвета и искрятся золотом, вспыхивают страшным зеленым блеском, а потом — один взмах ресниц — и снова заливаются морской синевой, а в ней для меня всегда "нет", всегда отказ?), если между твоими глазами и этой страницей окажется лупа, способная выявить для тебя иные из бесчисленных моментов, которые определили решение встретиться в Вероне и прожить неделю в двух разных комнатах, разделенных одним коридором и двумя невозможностями. Так вот, то, что я ответила на письмо Хавьера и назначила ему свидание в Вероне, означает лишь молчаливое признание прошлого, всего того, о чем ты знаешь до финальной точки в тексте Хавьера. Не смейся, но эта встреча была задумана как нечто совершенно будничное, мне хотелось поговорить, сказать ему правду и, может быть, найти пространство общения, чтобы дальше идти вместе, как было в Женеве. Не смейся, но мною руководили уважение и нежность, и чтобы Хавьер мог под вечер прийти ко мне домой, а потом мы могли бы пойти на концерт, он мог быть мне другом, чтобы вместе бродить по городу, слушать Шумана, говорить о Маргерит Юрсенар (не смейся, Ламиа, это было бы пространство радости и духовной близости, которые он прикончил, разбил вдребезги своим глупым поведением, как взревновавший медведь); и, когда я рассказала ему мой план и согласилась встретиться в Вероне, чтобы сказать ему все то, о чем он должен был догадаться давным-давно, я увидела, что он обрадовался, и мне показалось, что, наверное, для нас открывается это общее пространство, где возможны прежние отношения, и, спускаясь в бар, где я должна была встретиться с ним, чтобы выйти на улицу под легкий полуденный

дождик, я снова почувствовала себя прежней, освободившейся от воспоминаний, которые нас запачкали, от этих двух бесконечно глупых ночей в Женеве, и мне почудилось, что он тоже словно бы отмылся от своей ничтожности и ждал, полный планов и надежд, как мы будем гулять, как отыщем в Вероне лучшие в Италии спагетти, какие увидим часовни и мосты, и как наши долгие беседы прогонят печаль и наваждение.

Я вижу — как не увидеть — твою улыбку, в ней злорадство и жалость, и представляю, как ты пожимаешь плечами, а может, даешь прочитать мое письмо той, что пьет или курит рядом с тобой, эдакая приятная передышка после сиесты под нежный шепот на мягких подушках. Я готова к твоему презрению и жалости, но после твоего отъезда из Женевы Хавьер был для меня гаванью. Его ладонь на моей руке ("ты хорошо одета, ничего, что дождик?"), и он ведет меня куда глаза глядят по городу, который я знаю лучше, чем он, пока в какой-то момент я не показываю ему дорогу, и мы спускаемся к площади Пьяцца-дель-Эрбе, а там в охряно-красных тонах спорим о готике — и город сам ведет по своим улицам, мимо витрин, мы спорим у могил Скалигеров, я говорю да, он — нет, и наслаждаемся, блуждаем без цели, обедаем там, где я когда-то ела креветок, хотя на этот раз их нет, но какая разница, все равно вино хорошее, а в тени так славно беседовать и смотреть друг на друга без этих взглядов со стороны, унижающих вдвойне, как было в Женеве. Он был такой же, как всегда, нежный и в то же время порывистый, бородка чуть короче и глаза более усталые, чем обычно, худые пальцы мяли сигарету, прежде чем закурить, и в голосе, когда он смотрел на меня, слышалась нежность, только его пальцы уже не тянулись к моему лицу. Было некое ожидание, настороженное и необходимое, долгий перерыв, который мы заполняли работой и путешествиями, рассказами о жизни, которую проживали врозь, и странах, где бывали порознь, вспоминая и Эйлин мимоходом, потому что он всегда был верен мне, и теперь не замалчивал этой маленькой тупиковой истории. Нам было хорошо пить вместе кофе или граппу (ты же знаешь, я в граппе разбираюсь, и он принимал мой выбор и одобрял его детским жестом, робко дотрагиваясь пальцем до моего носа и тотчас же убирал руку, будто боялся, что я рассержусь); мы накупили схем города и разработали маршруты, я должна была водить его по дворцам и церквям, кроме того, ему нужен был зонтик и носовые платки, и он хотел, чтобы я помогла выбрать ему носки, потому что ясно же, что мужские носки — в Италии. Да, друзья, и снова ищем Сан-Дзено, и идем по нашему первому мосту, и неверный холодный свет мерцает над холмами.

Мы вернулись в гостиницу с намерением вечером снова гулять и устроить затейливый ужин, играя в туристов, наконец-то, выкроивших свободное от работы и обязанностей время, и Хавьер пригласил меня выпить по глоточку в его номере; пока он открывал бутылку коньяка, я превратила его постель в диван, а он сел в единственное кресло и принялся показывать мне английские книги. Мы приготовились спокойно и без спешки провести вечер, разговаривая о Вероне, и в разговоре время от времени наступали паузы, необходимые и прекрасные, как музыка, да и сами паузы были музыкой; нам было хорошо, мы могли просто смотреть друг на друга. В какой-то момент я должна была, наконец, сказать, собственно, для того мы и приехали в Верону, но он ничего не спрашивал, только совсем по-мальчишески с восхищением смотрел на меня, сидевшую в позе йоги на его постели, снова совсем рядом с ним. И все-таки я сказала, что можно подождать до завтра, завтра поговорим; он опустил голову и сказал "да", сказал, не беспокойся, еще есть время, погоди, мне так хорошо. А потому мне следовало отправляться ночевать к себе в номер, скоротать там время под душем, а потом стоять и смотреть на крыши домов и холмы. Не считай меня более наивной, чем я есть, но в этот вечер случилось то, что Хавьер, необъяснимо увлекающийся боксом, назвал бы разведкой в первом раунде, сдержанное и осторожное поведение того, кто опасается боковых ударов, внезапной фронтальной атаки, однако за благоразумием затаилось все темное, что было в прошлом; сейчас мы выжидали, каждый на своей стороне, каждый в своем углу.

Следующий раз настал после прогулок, было холодно и весело, кьянти и креветки, река Адидже вздулась, люди пели на площадях. Ах, Ламиа, как трудно передать ясными словами то, что я хочу восстановить для тебя — почему для тебя, чужой, насмешницы, — хочу восстановить то, что в самом себе уже содержит финал, и финал этот — всего лишь слова, путаные и неясные, как, например, *ciao*, при встрече или прощании — одинаково, или пуговица, трубка, отказ, советский фильм, последний глоток виски, бессонница, в общем, слова, которые мне говорят всё, только их надо очистить, связать с другими, чтобы и тебе было понятно, чтобы мой рассказ лег на страницу так же, как все это укладывалось во времени на протяжении тех дней. Вот, например, пуговица: я принесла к себе в комнату рубашку Хавьера, чтобы пришить пуговицу; или трубка: на другой день после того, как мы бродили по рынку на Пьяцца-дель-Эрбе, он вдруг посмотрел на меня этим своим новым цепким взглядом, как, должно быть, смотрят боксеры в первом раунде, посмотрел, видимо, уверенный в том, что все в порядке и что все так и будет продол-

жаться в этой новой манере, мы будем вот так смотреть друг на друга и ходить вместе, а потом улыбнулся загадочно и сказал, что заметил, как я рылась в сумочке, когда мы разговаривали в комнате, и по моему разочарованному виду понял, что я забыла трубку в Женеве, а с каким удовольствием я курила по вечерам у камина в моей хижине, когда мы слушали Брамса, и как красиво, смешно и трогательно напоминала ему Жорж Санд, и как любила голландский табак, который он презирал, он-то курил смесь шотландских, нет, так не может быть, сегодня же вечером просто необходимо нам вместе выкурить трубки в моей комнате или в его, он уже посмотрел витрины, пока мы гуляли, и знал, куда надо пойти, чтобы я выбрала трубку, которую он мне подарит, и пачку ужасного табака — одно из моих заблуждений, и я видела, как он счастлив, говоря мне все это и шутливо убеждая меня принять его подарок, а потом мы по очереди долго взвешивали на ладони трубки, выбирая подходящий размер и цвет. И, вернувшись в его номер, слаженно повторяя маленький ритуал, закурили, оценивающе глядя друг на друга, каждый — свой табак, но неотличимый один от другого дым постепенно заполнял комнату; он молчал, а его рука вдруг коснулась моего колена, и тогда, именно тогда пришло время сказать ему то, что он уже знал, глупо, неловко, но, наконец-то, сказать, переложить на слова и фразы то, что он должен был каким-то образом узнать, даже если думал, что никогда этого не знал. Ламиа, сдержи насмешливое слово, я чувствую, оно готово сорваться у тебя с языка едкой каплей, не оставляй меня одну в этот миг, когда я опустила голову, а он понял и переставил на пол маленькую лампу, чтобы только огоньки наших трубок загорались попеременно, в то время как я не называла тебя, но все, все тебя называло, и моя трубка, и мой голос, словно обожженный печалью, да просто сама ужасная ситуация — я сижу напротив него, и он меня слушает с закрытыми глазами, немного бледный, хотя мне всегда казалось, что бледность — это специальный прием писателей-романтиков.

От него я ждала только одного — что он это примет, а потом проговорит, мол, все в порядке, что тут скажешь, что поделаешь. Ну, торжествуй, засмейся, дай выход своей так и рвущейся наружу извращенной мудрости. Потому что все было не так, разумеется, а просто его рука снова сжала мое колено, как бы в знак горького признания вещей, а потом пошли слова, слова, а я потихоньку соскальзывала в постель, пытаясь ухватиться за тишину, которую он разрушал сдавленными рыданиями. Такое уже было в Женеве, в других обстоятельствах, я уже слышала, как он защищал гиблое дело и просил меня стать его, потому что только после, потому что до этого ничего нельзя сказать и нельзя знать наверняка, по-

тому что истинное начнется только по ту сторону, когда закончится путешествие тел и все будет сказано на их особом языке. На этот раз было иначе, на этот раз он знал (он знал это еще раньше, до того, как точно узнал, до того, как его тело узнало от моего тела, и в том была моя ошибка, моя ложь умолчания, дважды позволить ему, обнаженному, прийти ко мне, обнаженной, тогда я сдалась, чтобы все случилось холодно и стыдно на рассвете среди ненужных простыней), теперь он знал это от меня и не соглашался, но весь напрягся, и прижался ко мне, и целовал мою шею и волосы, неважно, что Мирей такая, не знаю, до такой ли степени все правда, или просто это желание ходить по острию ножа, по самому коньку крыши, а может, ты просто хочешь освободить меня от моей вины, что держал тебя в объятиях и — ничего, невстреча. Как сказать ему "нет", которое, возможно, как раз "да", как объяснить ему и объяснить себе самой полный отказ, выдавая его за робость и ожидание, вот так тело девственницы зажато атавистическими страхами (не смейся, пантера диких мхов, мне только и остается теперь низать слова), как сказать ему, что мой отказ бесповоротен, что никогда его желание не пробьет путь к тому, что ему всегда будет чужим и может быть только твоим или принадлежать какой-то другой, которая прильнет ко мне с объятием совершенной симметрии, ее груди к моим грудям, ее лоно к моему лону, пальцы к пальцам, точно в зеркальном отражении, и губы попеременно в исступлении вбирающие друг друга.

Но они так глупы, Ламиа, вот теперь можешь разразиться обжигающим горло хохотом, чего ожидать или что можно противопоставить тому, кто отступает, не отступив, кто блюдет невозможность и в то же время совершенно бессмысленно бунтует. Я знаю, ты называешь это надеждой, будь ты сейчас рядом, ты посмотрела бы на меня иронически и спросила между двумя затяжками "Честерфильдом", не ожидала ли я, несмотря ни на что, от себя некой мутации, или, говоря его словами, я хожу по коньку крыши и вдруг на мгновение соскальзываю к нему; несмотря на столькие годы одностороннего упорства, не надеялась ли я на счастливый случай, на короткую вспышку страсти. Что я могу тебе сказать? Да, возможно, в тот момент я надеялась на это и что он тут именно для того, чтобы я на это надеялась, но для этого должно было произойти кое-что, надо было начисто отказаться и от дружеских отношений, и от Verona by night, и от моста Рисорджименто, его рука должна была рвануться от моего колена к грудям, утонуть меж ног, сорвать с меня одежду, а он вместо этого являл собой образец почтения, его желание тонуло в табачном дыму, и в словах, и во взгляде, как у доброй собаки, в укрощенной безнадежной надежде, ему бы

попросить, попросить как истинному кабальеро, каким он и был, умолять меня переступить черту, за которой могла бы, наконец-то, родиться радость, молить, а в это самое время раздевать меня, и он бы вывел меня, — на этой самой постели, в тот миг, когда бы я стала его, потому что только там мы узнали бы, что произойдет, — он вывел бы меня на другой берег истинной встречи-соединения. Но нет, Ламиа, нет, тогда этого не случилось, даже при том, что в тот момент я не была способна узнать, что произошло бы, если бы его руки и губы налетели на меня, как насильник — на свою добычу, я все равно не сделала бы первого шага к близости, моя рука не потянулась бы расстегнуть себе брюки или застежку на лифчике. Мой отказ был выслушан в молчании, в котором, казалось, потонуло все — и свет, и лица, и время, — он только ласково прикоснулся к моей щеке, опустил голову и сказал, что все понимает и что это опять его вина, вечно он все губит на корню, может, еще коньяку, или пойдем на улицу, прогуляемся, снова займемся Вероной, вернемся к прежнему уговору. Мне было так его жалко, Ламиа, никогда я не желала его меньше, чем в этот момент, и потому могла жалеть его, и быть рядом, и смотреть на себя его глазами, и ненавидеть себя, и сострадать ему, пойдем-ка на улицу, Хавьер, пока светло, восхитимся невероятным балконом Джульетты, поговорим о Шекспире, у нас так много есть о чем поговорить, и уж коли нет музыки, заменим Брамса бокалами кампари в маленьких кафе в центре, а то пойдем покупать тебе зонтик и носки, так занятно покупать носки в Вероне.

Ну, видишь, видишь, какие они глупые, Ламиа, какие нелепые, точь-в-точь кроты на свету. Сейчас, когда я вспоминаю, когда воспроизвожу наш разговор с той точностью, которую мне дает ад, принявший форму памяти, я вижу, что он пропустил самое важное, что бедняга был в таком отчаянии, так обезоружен и раздавлен, что ему даже в голову не пришло то единственное, что ему оставалось: поставить меня лицом к лицу с самой собой, заставить поглядеть на себя внимательно, как мы ежедневно, хотя и по-иному, смотрим на себя в зеркале, сорвать с меня маску условностей (в чем ты меня всегда упрекала, Ламиа), маску боязни себя самой и того, что может случиться, содрать с меня привитые мамой и папой ценности ("ну, ты же знаешь, это они и катехизис навязывают тебе нормы поведения", опять ты, разумеется), и так, безжалостно, поскольку это крайняя и самая красивая форма жалости, довести меня до крика и рыданий, раздеть меня иным способом, не снимая с меня одежды, подтолкнуть к прыжку, чтоб я взмолилась, чтобы потеряла голову, и тогда он сорвал бы с меня маску женщины Мирей, чтобы мы, наконец-то, увидели истинное лицо Мирей-женщины, и я бы решилась — но

уже не по правилам игры — сказать ему: убирайся отсюда сейчас же, или же почувствовать, что у нас с ним впереди многомного дней, чтобы тонуть друг в друге, чтобы пить друг друга и ласкать, целовать губы и все, все, каждую пору, в этих играх из сладких судорог, шепотов и сплетений на том, другом берегу, куда он не способен был перебросить меня. Что мы потеряли, что выиграли? Постель-рулетка, где я все еще сидела, красное или черное, любовь лицом к лицу или со спины, блуждание рук и языка, запахи изнеможения и вспотевших волос, нескончаемый разговор кожи. Я перечисляю, а, по сути, ничего этого не знаю, Ламиа, ты не захотела мне этого дать, а я не умела искать у других женщин, я была раздавлена и унижена давней девичьей неумелостью, дурацким — не по доброй воле — началом, случившимся однажды летом в провинциальной глуши; разочарование так и не прошло, а свербило незаживающей язвой в памяти, и однажды вечером я испытала страх уступить скрытому желанию и полный паралич воли, когда можно было сделать только одно — поддаться непреодолимому влечению, которое накатывало на меня зеленой волной, как в тот миг, когда я увидела эту девушку, пьющую чай на террасе, подойти к ней, смотреть на нее, а потом положить ей руку на плечо и сказать, как это делаешь ты, Ламиа, просто сказать: я хочу тебя, пойдем.

Но как они глупы, Ламиа, эти мужчины, в миг, когда он мог открыть меня, точно шкатулку, хранящую прекрасные цветы, словно бутылку, в которой дремлет вино, он снова зажался, вежливый и покорный, всепонимающий (понимающий то, что надо было не понимать, Ламиа, а смести ослепляющим шквалом несправедливых оскорблений и поцелуев, не говоря уж об эротических ласках и прочих сексуальных приемах, которых у тебя-то в избытке), а он все понимал и понимал, презренный пес, жалкий недотепа, способный только еще раз описать то, что не сумел прожить в жизни, как уже сделал однажды после Женевы, чем доставил особое удовольствие тебе, царица самок, полновластная хозяйка своей судьбы, как ты смотрела на нас и смеялась, моя невозможная любовь, когда еще раз победила, сама того не зная, в гостиничном номере в Вероне, итальянском городе. Теперь, когда я написала, это кажется трудным и невероятным, и, тем не менее, после всего, что произошло, мы прекрасно провели остаток дня, такие уж мы есть, как видишь, а ночью в маленькой улочке набрели на тратторию, где люди были любезны и смеялись даже в минуту трудного выбора — что предпочесть — лазанью или тортеллини; добавлю еще, что мы слушали оперные арии и спорили о голосах и манерах, а потом автобус завез нас в какое-то селение, где мы заблудились. На четвертый день мы поехали в Виченцу, где осматри-

вали олимпийский театр Палладио[1], а потом я захотела купить сумочку, Хавьер помогал мне и в конце концов выбрал ее за меня, сказав, что я похожа на Гамлета из ярмарочного театра, а я сказала, что не могу быстро решать, он только глянул на меня, ничего не ответил и выбрал сам, просто велел продавщице упаковать сумочку, не дав мне времени на колебания, и я сказала ему, что он меня насилует, так и сказала, Ламиа, сказала не подумав, а он обернулся, посмотрел на меня, и я поняла, я бы хотела, чтобы он забыл, сказать ему такое было настолько ненужно и настолько в твою пользу, что я была ему благодарна, когда он вытащил меня из этой лавки, пропахшей прогорклой кожей, а на следующий день мы поехали в Мантую, смотреть работу Джулио Романо – Дворец Чая, потом был обед и кампари, ужин по возвращении в Верону, а под конец – усталое и сонное "спокойной ночи", и в коридоре, проводив меня до моего номера, он тихонько поцеловал меня, поблагодарил и поплелся к себе, а там – бессонница и, кто его знает, каким низким утешениям предался он между двумя сигаретами в коньячном похмелье.

Не случилось ничего такого, что бы дало мне право вернуться в Женеву раньше времени, хотя ничто уже не имело смысла, потому что наше соглашение походило на отчаливший корабль, и оба мы играли жалкую, галантную комедию, над которой, по сути, оба посмеивались, порою нам было хорошо, а порою мы были далеки друг от друга, хотя шли рядом, под руку, по улочкам и мостам. Наверное, и ему тоже хотелось вернуться в Лондон, поскольку черта уже была подведена и не оставалось ни малейшего предлога для того, чтобы когда-нибудь снова встретиться в Вероне, хотя, возможно, мы и могли бы заговорить об этом теперь, когда стали добрыми друзьями, как видишь, Ламиа, это мог бы быть Амстердам, месяцев через пять, или Барселона весной с Гауди и Жоаном Миро, которых бы мы смотрели вместе. Но мы не заговорили, ни он, ни я не сделали ни малейшего намека на будущее и вежливо вели себя в настоящем из пицц, вина и дворцов; и настал последний день, когда, выкурив каждый свою трубку и нагулявшись, под вечер мы заблудились в каком-то селении, а потом два часа бродили по лесным тропинкам в поисках ресторанчика и автобусной остановки. Носки были замечательные, те, что я выбрала для Хавьера, чтобы он по привычке не натянул опять свои пестрые, которые так ему не шли, и зонтик прекрасно защищал от мелкого загородного дождика, и мы шли в вечерней прохладе, пахшей мокрой замшей и сигаретами, добрые друзья из Вероны до того

1. Андреа Палладио (1508–1580) – архитектор и теоретик итальянского маньеризма.

самого часа, одиннадцати ночи, когда он должен был сесть в поезд, а я остаться в гостинице до следующего утра. Накануне ночью я приснилась Хавьеру во сне, но он мне не рассказал, я узнала об этом сне только два месяца спустя, когда он написал мне в Женеву, но на это его последнее письмо я не ответила, как ты не ответишь мне на мое, в силу неизбежной симметрии, представляющей, наверное, непреложные правила ада. Как всегда деликатный, я хочу сказать, как всегда глупый, он не рассказал мне про ночной сон, хотя он, должно быть, разъедал ему нутро, немой краб грыз его изнутри, в то время как мы поедали разные вкусности за последним обедом в полюбившейся нам траттории. Думаю, ничего бы не изменилось, если бы в тот день Хавьер рассказал мне про сон, хотя, может быть, и нет, может быть, кончилось бы тем, что я отдала бы ему свое жалкое тело, как милостыню или откупные, только чтобы он уехал не с горечью во рту от приснившегося кошмара, а с твердой улыбкой человека, который должен выглядеть благородно до последней минуты и не замарать веронского соглашения еще одной бессмысленной попыткой. Ах, Ламиа, вчера вечером я перечитала то, что написала тебе, потому что пишу урывками, проходят дни и пробегают тучи над моей хижиной, пока я пишу тебе это письмо, которое ты едва ли прочтешь, пока что перечитываю его я, а это означает посмотреть на себя иначе и увидеть себя в этом зеркале холодной и уверенной пред лицом неуклюжей несбыточной надежды. Я ни разу не изменила ей, Ламиа, ни разу не подставила ему для поцелуя холодную маску, но теперь понимаю, что в его сне в некотором роде присутствовала Женева: когда я не смогла сказать ему правды, когда его желание было сильнее его инстинкта (words, words, words?)[1], когда я два раза отдала ему свое тело попусту, чтобы услышать, как он плачет, уткнувшись в мои волосы. Это не было изменой, Ламиа, повторяю, просто невозможно было сказать ему правду в тот момент, и еще была слабая надежда, что, возможно, удастся прийти к согласию и обрести гармонию, и, как знать, когда-нибудь начать жить по-иному, не переделывая себя, не приноравливаясь, а просто сказать ему правду и верить, что он поймет, и будет любить меня такую, и примет меня такой, и тогда будет и Брамс, и путешествия, и, может быть, даже, как знать, наслаждение, да, и наслаждение. Я думаю, его беспомощность и растерянность, плюс дважды неудача, и отразились в веронском сне, когда он уже знал о том, что я живу в вечном и бесполезном ожидании тебя, моего антагонистического подобия, в ожидании твоего лица у моего лица, тво-

1. Слова, слова, слова? (*англ.*)

их губ у моих губ, в ожидании любви, которую ты в этот момент, быть может, отдаешь твоей сиюминутной добыче там, где тебя, возможно, настигнет это письмо.

Хочешь знать сон? Я расскажу его словами Хавьера, цитируя письмо не буквально, но так, как оно мне запомнилось — они, его слова, все время крутятся у меня в голове, точно назойливая муха. Итак, он рассказывает: мы лежали на постели, поверх покрывала, одетые, и было ясно, что между нами ничего не было, но меня смущал игривый тон Мирей, ее почти фривольные замечания по поводу долгого — на протяжении многих месяцев — молчания между нами. В какой-то момент я спросил, прочла ли она письмо, которое я написал ей из Лондона много спустя после нашей последней встречи, нашей последней невстречи в Женеве. Ее ответ был ужасен: нет, не прочла (совершенно очевидно, что оно ее и не интересовало); разумеется, письмо дошло, потому что в офисе ей сказали, чтобы она пошла его забрать, заказное письмо в продолговатом конверте, но она не пошла, и оно, должно быть, до сих пор там так и лежит. Она говорила все это спокойно и безразлично, и мое блаженство от того, что я снова с ней рядом, лежу на этом покрывале, не то коричневом, не то красном, начинало тускнеть от ее манеры говорить, от того, как она холодно призналась, что не пошла за письмом, не прочла его.

Сон есть сон, мелькали невразумительные обрывки, смонтированные без видимого смысла, порезанные ножницами гнездящихся в мозгу чудовищ, и вдруг мы — в Вероне, сейчас, в Сан-Дзено, но только церковь — в испанском стиле, эдакая размашистая пародия: огромные гротескные статуи между колоннами, которые надо было обходить, продвигаясь по нефу, и тут же мы вдруг снова в постели, на этот раз в этой самой церкви, за гигантским алтарем, а может, и в ризнице. Мы лежим по диагонали, босые, Мирей — отрешенная и удовлетворенная, к чему я не имею никакого отношения. В узкую дверь заглядывают какие-то женщины, их лица закутаны платками, женщины молча смотрят на нас, переглядываются так, словно не верят своим глазам, и в этот миг я понимаю, какое это чудовищное святотатство — находиться здесь в постели, я хочу сказать об этом Мирей, но вдруг вижу ее лицо и понимаю, что она не только знает это, но что именно она устроила это кощунство, и то, как она смотрит на меня и как улыбается, доказывает, что устроила это намеренно, и что с несказанным удовольствием наблюдает за сделанным женщинами открытием и переполохом, который оно, должно быть, произвело. Холодный ужас ночного кошмара: вот оно — упасть на самое дно, постичь всю глубину предательства, последнюю западню. И уже почти не нужно было, чтобы женщины заговорщически подмигивали Мирей, а она, сме-

ясь, встала с кровати и как была, босая, пошла к ним и скрылась за дверью. Остальное, как всегда, было глупо и смешно, я искал ботинки, пытался надеть, потом, кажется, пиджак, орал, как бесноватый, звал (кажется, управляющего, или кого-то в этом роде), кричал, что меня пригласили в этот город, но после всего этого мне лучше не идти на вечеринку в клуб, потому что теперь меня там, наверняка, примут плохо. Я проснулся, меня душила ярость от необходимости защищаться и другое, единственно важное: невыразимое ощущение предательства, за которым не оставалось ничего, кроме этого вопля раненого зверя, который и вырвал меня из сна.

Быть может, я поступаю скверно, рассказывая тебе то, что сама узнала много позже, Ламиа, но, возможно, это необходимо, еще одна карта из колоды, что ли. Последний день в Вероне начался мирно, с долгой прогулки, потом был обед, с прихотями и шутками, а под вечер мы устроились в номере у Хавьера в последний раз покурить, снова завязался спор насчет Маргерит Юрсенар, поверь, я была довольна, наконец-то мы друзья, соглашение выполняется, заговорили об Ингмаре Бергмане, и вот тут-то, кажется, я поддалась тому, что ты оценила бы чрезвычайно, в какой-то момент (интересно, что мне это запомнилось, хотя Хавьер сделал вид, будто не заметил того, что было полновесной пощечиной), так вот, я сказала то, что думала об одном американском актере, с которым должна была спать Лив Ульман, уж не помню, в каком фильме Бергмана, выпало из памяти, я сказала — и сопроводила это гримасой отвращения, — что он мне представляется волосатой скотиной, и я соответствующими словами описала этого самца в сравнении с белокурой прозрачностью Лив Ульман, но как, как, скажи мне, Ламиа, как могла она позволить оседлать себя этому фавну с сальными волосами, как это можно вынести, а Хавьер слушал, курил сигарету, да, в общем, стали вспоминать другие фильмы Бергмана, "Стыд", конечно, а главное "Седьмую печать", словом, с грехом пополам обошли подводные камни, и снова пошел спокойный разговор, я собиралась пойти к себе отдохнуть немного, а потом вместе последний раз поужинать (я об этом уже писала, и ты, наверное, уже усмехнулась, но пусть), прежде чем он поедет на вокзал, поезд уходил в одиннадцать.

Тут небольшой провал, Ламиа, не помню точно, о чем мы говорили, уже стемнело, лампы играли клубами табачного дыма. Помню только жесты, мимику и что мы держались немного отчужденно, как всегда перед расставанием, помню еще, что не говорили о новой встрече, что это откладывалось на последний момент, если откладывалось. Когда Хавьер увидел, что я поднимаюсь, чтобы уйти, он подошел ко мне, обнял, уткнулся лицом в мое плечо и стал целовать во-

лосы, шею, сжал крепко, зашептал умоляюще, и слова, и поцелуи — все слилось в мольбу — он не может остановиться, не может не любить меня, не может позволить мне снова уйти так. Это сильнее него, второй раз он нарушал соглашение и уничтожал все, если это все еще значило что-то, он не может смириться с тем, что я отвергаю его, как отвергаю в эту минуту, ничего не говорю, но становлюсь холодной в его руках, холодной Лив Ульман, хотя чувствую, что он дрожит, как промокший пес, как дрожат мужчины, когда их ласки чахнут на равнодушной коже. Мне не было его жалко, как жалко сейчас, когда я пишу тебе, бедный Хавьер, бедный промокший пес, ведь мы могли стать друзьями, мог быть Амстердам, или Барселона, или снова квинтеты Брамса в моей хижине, и надо было тебе все снова разрушить, потопить в жалком бормотании о недостойных надеждах, обслюнявить мне волосы и оставить следы своих пальцев на моей спине.

Я уже и забыла, что пишу тебе, Ламиа, перед глазами стоит его лицо, хотя я не хотела смотреть на него, но когда я открыла свою дверь, я увидела, что он не идет за мной, а стоит у двери, жалкий памятник самому себе, созерцающий, как рушится карточный домик под лавиной невзгод.

Я знаю, ты хочешь спросить, что я сделала, когда осталась одна. Пошла в кино, дорогая, после хорошего душа, который был мне просто необходим, пошла в кино за неимением лучшего варианта, и прошла мимо двери Хавьера, и спустилась по лестнице, и пошла в кино на какой-то советский фильм, это был мой последний поход в рамках Веронского соглашения, фильм про охотников где-то на Севере, про героизм и самоотверженность и, к счастью, ни слова про любовь, Ламиа, два часа красивых пейзажей, заснеженной тундры и людей, исполненных прекрасных чувств. В гостиницу вернулась в восемь, есть не хотелось, не хотелось ничего, под дверью нашла записку от Хавьера, так уехать невозможно, он в баре, ждет, когда пора будет ехать на вокзал, клянусь, что я не скажу тебе больше ни слова, которое было бы тебе неприятно, только приди, Мирей, я не могу уехать так. Конечно, я пошла, картина была не из лучших, вещи рядом со столиком и вторая или третья порция виски в руке, я подвинула кресло, он был очень спокоен и улыбался мне, он хотел знать, что я делала, и я рассказала ему про советский фильм, он его видел в Лондоне, хорошая тема, чтобы заполнить четверть часа культурной беседой об эстетике и политике, парой сигарет и глотком-другим. Я сидела, сколько могла, но оставалось еще больше часа до его отъезда, я сказала, что устала и что иду спать. Мы не говорили о следующей встрече, не говорили ни о чем, что я могла бы сегодня вспомнить, он поднялся обнять меня, мы поцеловали друг друга в щеку, я одна дошла

до лестницы, он остался на месте, но я слышала его голос — только мое имя — так бросают бутылку в море. Я обернулась и сказала ему *ciao*.

Два месяца спустя пришло письмо, на которое я не ответила, интересно, что в его веронском сне было письмо, которое я даже не прочла. В конечном счете, это одно и то же, но я прочла письмо, и оно причинило мне боль, снова бесполезная попытка, протяжный собачий вой на луну, ответить на него означало бы затеять еще одно междуцарствие, еще одну Верону, еще одно *ciao*. Но однажды ночью зазвонил телефон в моем доме, в час, когда в лучшие времена он звонил мне из Лондона. По звонку я поняла, что звонят издалека, я сказала обычное "слушаю", еще раз повторила, ты знаешь, что всегда чувствуется, если на другом конце кто-то молчит и слушает, как будто кто-то дышит рядом, почти физический контакт, а может, просто слышишь собственное дыхание, трубку положили и больше не позвонили. Никто не позвонил, и ты — тоже, звонят по чепухе, в Женеве столько знакомых и столько идиотских причин звонить по телефону.

А если, Ламиа, на самом деле это письмо тебе пишет Хавьер? То ли играя, то ли во искупление, а то и в последней, жалкой и трогательной надежде на то, что ты письма не прочтешь, что у тебя с ней вообще ничего нет, что это вообще другая медаль, чужая, и все это не более, чем повод для иронической усмешки. Кто может знать, Ламиа? Ни ты, ни я, ни он — он тоже не может. Получилось тройное *ciao*, каждый вернется к своим играм, он — с Эйлин по холодным лондонским правилам, ты — со своей очередной добычей, а я буду слушать Брамса у огня, он ничему не замена, а всего лишь огонь, оставляющий пепел, который мне видится хлопьями снега на жарких углях, вечером в моей одинокой хижине.

Хронопы в Мексике

I

В жизни у каждого случаются свои многозначащие встречи. Некоторые оказываются знаменательными, например, та, что произошла на дороге в Дамаск, или другая, когда некто вдруг обратил внимание на падающее яб-

локо, и даже такая счастливая случайность, как встреча швейной машинки с зонтиком на хирургическом столе. Подобных встреч, которые вводят в бессмертие Ньютона, Лотремона и святого Павла, никогда не происходит в жизни у несчастных хронопов; они по большей части встречаются с остывшим супом на столе или сороконожкой в постели. А у меня получается, что почти в каждом путешествии я встречаюсь с чистильщиками сапог, и, хотя встречи эти не имеют исторического значения, мне они кажутся символическими, потому что обычно я не чищу ботинки до блеска, но стоит мне выехать за границу, как мне тотчас же представляется, что для наблюдения нет лучшего места или объекта, чем скамеечки чистильщиков или сами чистильщики ботинок; таким образом, за границей мои штиблеты отражают земные пейзажи и небесные облака, а я, снимая и надевая их, каждый раз испытываю счастье, потому что они кажутся мне лучшим доказательством того, что я — в путешествии, где познаю массу новых и важных вещей.

Именно поэтому несколько лет назад я описал одну из моих встреч с чистильщиком ботинок и думаю, что этот довольно скромный текст в Латинской Америке читали многие, хотя действие происходило в Нью-Дели. Сейчас, вернувшись из Мексики, я чувствую, что должен рассказать еще об одной похожей встрече, подмостками для которой послужила рыночная площадь в Веракрусе жарким мартовским утром. Я прекрасно понимаю, что ревнители аттического духа сочтут не слишком элегантным, что рассказ начинается встречей с чистильщиком сапог, но меня аттические страсти с некоторых пор перестали волновать, а вот стульчик у артиста был замечательный, весь обклеен портретами спортивных идолов, а задняя ножка все время норовила отвалиться, так что клиенту следовало быть в высшей степени сосредоточенным. Моему чистильщику было лет десять-одиннадцать, но очень трудно понять возраст детей бедных, а мне кажется оскорбительным и глупым спрашивать их о возрасте, потому что именно этот вопрос абсолютно все задают детям, и детям из богатых семей — тоже, со времен Пипина Короткого, отчего этот вопрос у них уже в крови, и, отвечая, дети смотрят на взрослых с таким презрением, какого те почти всегда и заслуживают. Но в то утро задача отвечать, похоже, ложилась на меня, потому что не успел я поставить правую ногу на разукрашенный ящичек, как мой юный друг пожелал узнать, не гринго ли я (он вежливо сказал "американец"), а мой отрицательный ответ на чистом испанском привел его в замешательство. Ладно, пусть я не гринго, но я и не мексиканец. Я признал тот для многих существенный факт, что являюсь аргентинцем, и

это удовлетворило его до самого конца первого ботинка. Но, приступив ко второму, он захотел узнать, не там ли находится Аргентина, где Гватемала.

Мне тоже не легко было спросить его, видел ли он когда-нибудь карту Южной Америки. Он сказал "да", но в этом "да" было больше "нет", и было столько стыда, что заставило меня, более пристыженного, чем он, объяснять ему, рисуя в воздухе: вот она, Мексика, ниже — Венесуэла, дальше — все Бразилия, а в самом низу, видишь, континент кончается эдаким ботинком, которого тебе одному никогда не вычистить, это и есть Аргентина. (Я был учителем географии в Чивилкоу, провинция Буэнос-Айрес, с 1940 года по 1945-й, если кому-то неизвестна эта яркая страница из моего послужного списка.)

Вернувшись к первому ботинку, чтобы добиться совершенства, свойственного его искусству, мой друг призадумался, прежде чем задать последний вопрос:

— А сколько стоило такси от Аргентины до Веракруса?

Ясное дело, что все остальное не имело значения. Разумеется, я объяснил, сказал то, что следовало сказать насчет самолетов и пароходов, но в общем я уже знал, что моста нет и что ни к чему втолковывать ему этот конкретный факт, поскольку его вопрос был совсем из другого мира и показывал полное незнание всего, что находилось вне сиюминутных обстоятельств за пределами его мирка, ограниченного гуталинами и скамеечкой для чистки ботинок. Мне оставалось только посмеяться вместе с ним, отпустить пару шуточек, заплатить ему вдвое против ожидаемого, чтобы его прощальная улыбка была еще прекраснее, и уйти в сверкающих ботинках и с запорошенным сердцем.

Мы, хронопы, не склонны к морализированию, и в этой короткой истории морали тоже нет, просто я думаю о мире — и готов бороться за него, — где невозможны будут такие встречи, как эта. Латинская Америка платит страшную цену, ее душит империализм, эксплуатируя принадлежащие ей природные богатства; однако не так заметно, как распыляются ее интеллектуальные ресурсы, задавленные нищетой. Мой маленький чистильщик обладал живой любознательностью, которая питает интеллект, обнаруживает его и дает ему жизнь, но не нашлось ни одной школы, ни одной классной доски, ни одного учителя, чтобы направить эту силу, которая вращалась в пустоте. А потому снова и снова, в Нью-Дели или в Веракрусе, *Shine, shine, shoe-shine boy.* По-английски, разумеется.

Время шло, что-то происходило, но вот что происходило в Веракрусе. Добравшись до отеля "Мокамбо", о котором я в свое время расскажу — потому что хроноп может забыть обо

всем на свете, но только не об отеле "Мокамбо", — мы с женой вышли на площадь с самыми достойными гастрономическими намерениями. Со свойственной нам ловкостью уйдя от марьячи, уже целившихся своими усами в столик, за который мы могли бы сесть, мы снова вернулись на площадь и тут изумились, увидев, что купол собора освещен и сияет. Это не единственный собор, который освещают, но в Веракрусе он был освещен снаружи огромными прожекторами, установленными на площади как попало, с большим риском, что пешеходы могут запутаться в электрических проводах и добавить зрелищу пиротехнический эффект.

У изумленья, к счастью, век недолгий, однако на этот раз оно затянулось: взобравшись на купол, героические пожарники его мыли. Низвергались водопады мыльной пены, сновали щетки, и все это — среди ночи; мы смотрели на это, как на неведомое чудо, но тут старичок, торговавший жвачкой, подкатил к нам со своей тележкой и, прежде чем я успел сказать ему, что терпеть не могу жвачку, радостно возвестил:

— Завтра приезжает королева!

И, не сделав даже попытки продать нам хоть что-то, поспешил со своим известием к немецкой паре, не меньше нас изумленной пароксизмом церковной гигиены.

Позже и утром мы видели и другие действия, предварявшие визит Чабелы[1]: хозяйки, как одержимые, мели тротуары перед своими дверями, муниципальные служащие начищали уличные фонари, уборка свалилась на город, как чума на Фивы. В голову приходили разные мысли на этот счет, и дело не в том, что они были верными, а просто нам нравилось думать об этом. Мы думали, что республиканские народы на самом деле в глубине души испытывают ностальгию по монархии, и я вспомнил, что, когда в Аргентину приезжал принц Уэльский — я тогда был совсем мальчишкой, — от радости сошла с ума половина населения, начиная моими тетками, которые увешали дом фотографиями высокого гостя и прибили плакат на двери, выходящей на улицу (по которой он никак не должен был проезжать, поскольку мы жили в отдаленном предместье Буэнос-Айреса), плакат, на котором было написано WELCOME и который вверг сидевшего на углу бродяжку в глубокое размышление: "Welcome? Какой такой Wel?"

Еще мы думали, что английская королева, в конечном счете, оказалась гораздо полезнее, чем представлялось, поскольку сумела так взбодрить муниципальные власти, что они довели уборку до оргазма; и было бы элегантно, равно как и справедли-

1. Чабела (имеется в виду английская королева) — уменьшительное от Исабель, что соответствует русскому Лизка.

во, чтобы мексиканское правительство присвоило ей звание министра гигиены *honoris causa*[1]. Уверен, что Чабела отнеслась бы к этому серьезно и, взобравшись на купол собора, стала бы водить по нему пальчиком, проверяя, хорошо ли ребята выполнили свою работу; всем известно, что после непревзойденных швейцарок, английские дамы — это целое воинство, вооруженное смётками из перьев и пылесосами.

— А вы, когда приезжаете в другую страну, видите только такое?

— Нет, я вижу и отель "Мокамбо", я и по сей день вижу его по ночам в моих самых изысканных кошмарах, где надо бесконечно ходить по переходам, которые выходят к лестницам, ведущим к переходам, и так без конца. Не буду клеветать на "Мокамбо", это респектабельный отель, просто мне кажется, что его архитектору (я не знаю, кто он) этот отель привиделся во сне, прежде чем он его создал. Ему не хватает, как, впрочем, всем снам, чувства юмора, а потому этот кошмар из лестниц и переходов не имеет объяснения, поскольку, похоже, не предназначен для удовольствия и не грешит иронией; это всего-навсего неразумная система сообщения, бессмысленно удлиненный путь к бассейну, на пляж, в сад или с этажа на этаж. Порой это смахивает на "темницы" Пиранези[2], увиденные глазами пса святого Бернардо, или на гравюры Эшера[3], в которых благодаря невероятной оптической ловушке нарушаются все законы земного притяжения: видишь, например, воду, низвергающуюся водопадом с высоты замка в ров, следишь за ее течением по акведукам, и тут снова — высота замка и водопад. В "Мокамбо" никогда точно не знаешь, где находишься, начиная спускаться или подниматься по ступеням, потому что здесь все — сплошные ступеньки, которые ведут или уводят, и что ни делай, здесь все, абсолютно все, невероятно сложно, потому что сначала идет мостик, за ним — пандус, затем раздвоенная лестница, ведущая почти всегда не туда, куда кажется, и я думаю, что некоторые постояльцы этого отеля, спустившиеся на пляж в прошлом сезоне, все еще бродят, мокрые и озадаченные, в поисках своих комнат, в то время как их ожидает чудовищный счет.

Будучи друзьями лестниц, уж не знаю по какой причине, хронопы должны великолепно чувствовать себя в "Мокамбо" и, едва поселившись, могут всласть развлекаться, указывая неверный путь вновь прибывшим. А считать, сколько всего

1. За заслуги, букв.: ради почета (*лат.*).
2. Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778) — итальянский художник и архитектор; "Темницы" — серия его гравюр.
3. Мориц Корнелиус Эшер — голландский график XX века.

ступенек в отеле, тоже может быть способом проводить отпуск; есть и похуже.

(Итак, ясно, что Мексика может гордиться этим отелем, но у нас, аргентинцев, тоже есть один такой в провинции Кордоба, и необычайно возвысился он по двум причинам. Во-первых, хозяин отеля велел поставить бюсты всех президентов Республики, а под конец — свой собственный. А во-вторых, его сад украшал лабиринт из растений, а в центре, скрытом от глаз, он поместил замаскированную клетку и в клетку — льва. Я не испытываю радости, представляя ужас туристов, которые после скитаний, как в критском лабиринте, сталкивались носом к носу с хищником, а хозяин пристроил террасу, откуда родственники и друзья могли видеть внутренность лабиринта — всё, кроме льва — и направлять тех, кто сбивался с пути. И при том что наши имена не грешат разнообразием, указания вроде "Мария, налево!" или "Хосе, иди прямо, прямо!" могли относиться одновременно к восьми или десяти человекам с вполне предсказуемыми последствиями, не говоря уж о воплях в момент появления льва.)

Некоторые отелям предпочитают социологию, и в таком случае я предлагаю отправиться в местечко с волнующим названием Мандинга, недалеко от Веракруса. Там не только лучшие на свете креветки, но, имея уши, там можно услышать удивительные вещи. За соседним столиком сидела группка мужчин, только мужчин, и для них принялся петь не то трио, не то квартет, из тех, что размножились в здешних местах до безобразия. Должно быть, они выполняли просьбу сидевших за столиком мужчин, потому что, вместо того чтобы вопить, как обычно, про безответную любовь или про страшную, коварную измену какой-нибудь красотки, они взялись за такую тему и такими словами, что это показалось мне совершенно невероятным, особенно в зале, где было множество сеньор, сеньорит и даже детишек. Действие песни происходило в казарме, где иерархическая подчиненность находила такое выражение, которого я никогда не видел в военных уставах, а именно: сержант оказывал новобранцам определенного рода внимание в высшей степени интимного характера, а в следующем куплете была очередь сержанта получать его от капитана, капитан получал от полковника и так, последовательно, до самого верха. Не подумайте, что слова песни носили хотя бы налет элегантности, как у меня; там все говорилось прямо, без экивоков, если можно так выразиться, и при этом семейства, сидевшие за соседними столиками, не выказывали ни малейшего смущения.

(Заключительная деталь, которая могла бы заинтересовать эротологов: в то время как обычные песни исполняются

с надрывом, чуть ли не навзрыд, эту пели сухо, почти механически, как будто давая понять, что содержание тут гораздо важнее формы; было ощущение, что прострекотали насекомые или автоматы, и реакция слушателей мало отличалась от этой странной холодности, от этой игры масок, за которыми скрывается невесть что.)

Как-то в одном отеле мне приснился коротенький сон про марсианина. Совершенно обычный — маленький, зеленый, с двумя антеннами — этот марсианин посетил Мексику на летающей тарелке и, возвратившись на свою планету, сообщил Великим Старцам свои наблюдения. Мне запомнилось только одно: кажется, он утверждал, что боги ацтекского пантеона покинули мексиканцев так же, как греческие боги покинули Антония в великолепной поэме Кавафиса (Кавафиса помянул не марсианин, а культурный хроноп, которому марсианин привиделся во сне). Единственное божество оставалось верным верующим в него, судя по всеобщему обожанию: несомненно могущественный и ужасный Кока-Кола. В этом месте марсианин стал размахивать руками, показывая, какие там реклама и фотографии, и я, прежде чем проснуться, успел ухватить кусок его объяснений: "У него алтари повсюду, бесчисленное множество алтарей, куда ни глянь, повсюду его священный цвет, красный, а его августейшее имя — двойное. Велика, должно быть, его сила, велика и страшна его черная кровь".

Сон позабавил меня прозрачностью смысла, но чего я не ожидал — это увидеть другое великое божество среди бела дня, и я не просто увидел его еще раз, но видел его на протяжении трех тысяч километров шоссейных дорог. В Мексике начинаешь с того, что почтительно идешь в музеи, чтобы увидеть мертвых богов, и, после того как застываешь от ужаса перед изображениями Куатликуэ, на тебя наваливается исторический страх, вдруг совсем не понравится лик могущественного Тлалока. Во-первых, не сразу понимаешь, что *это* — лицо; когда же оно, наконец, выявляется во всей своей отвратительной мощи, хочется бежать и первым же самолетом улететь прочь. Но божество завораживает, и останавливаешься, смотришь снова и снова, при том что знаешь — это всего лишь фальшивые языческие идолы и т. д. и т. п. Как бы то ни было, в конце концов я сумел установить мирное сосуществование с Тлалоком и, выходя из музеев, с удовольствием думал, что уж на улице-то я его не встречу. А поскольку Кока-Кола не внушает мне ни малейшего страха, то по Мексике я смогу передвигаться, не опасаясь сил сверхъестественного характера.

Как я был наивен. Едва мой автомобиль вывез меня из столичного хаоса, и я, счастливый, расслабился, созерцая горы и первые нопали, священный ужас выскочил из-за крутого пово-

рота, и я по сей день не пойму, как меня не нашли там на дне ущелья. Прямо передо мной, рыча во всю свою мощь, точно такой, каким я видел его в музее, — Тлалок. Для других, возможно, этот жуткий бог — всего лишь радиатор грузовика, не знаю, "форда" или "доджа"; но для меня этот металлический лоб, эти фары, хромированные рейки, все эти решетки и бамперы были вылитым Тлалоком, живым и изрыгающим гибельную ярость. И на протяжении всего моего путешествия он возвращался и возвращался, я думаю, в поисках моего страха, который против моей воли принес бы ему жертву — одно неловкое движение руля. Но мы, хронопы, хотя и пугливы, но все-таки хитры и проворны, а кроме того, нас раздражает, что чудовищные языческие идолы норовят навязать нам свой закон. И каждый раз — а таких разов было много — мой руль оставался неколебим, и Тлалок фыркал бензином слева от меня, в то время как я держался крайне правой стороны, что, между прочим, было бы непонято, если бы речь шла не о дорожном движении.

II

Едва была опубликована моя первая и скороспелая статья, повествующая о волнующих приключениях в Мексике, как одна сеньора написала мне, срамя за выбор тем — чистильщик сапог и отели. Еще не отложив письма, я подумал, что, пожалуй, насчет отелей я был излишне краток и возблагодарил сеньору за ее филиппику, поскольку она напомнила мне еще об одном отеле, несправедливо забытом.

Я так никогда и не узнаю, кто меня затащил в отель "Камино Реаль", хотя мои предположения ограничиваются Карлосом Фуэнтесом и Габриэлем Гарсиа Маркесом, но скорее всего, они оба. Во всяком случае, проделано это было безупречно, потому что второй из упомянутых летел со мной в самолете Париж—Мехико и передал меня с рук на руки первому, который встречал нас в аэропорту; и через несколько минут я уже познакомился с волной.

Что касается волны, то это очень важно, потому что волна была единственной веской причиной, почему мои друзья притащили меня в этот отель, где хронопы ходят по коридорам, как потерянные, и вздыхают в отчаянии. Если бы не волна, я удрал бы оттуда в тот же вечер, но мне достаточно было увидеть ее, чтобы понять: все остальное в отеле все равно как пустяковые травки вокруг роскошного бифштекса, которые мы нетерпеливо отбрасываем вилкой. Нет на свете хронопа, который бы воспротивился этому зрелищу и не закричал: "Волна в клетке! Волна в клетке!" Вот она, смотрите, настоящая вол-

на, кристально чистая и пенистая, заточенная в круг, взмывает, как зеленая пантера, и разбивается вдребезги о самое себя, прежде чем возродиться вновь, водяной феникс, микрокосмос моря. Какое значение имело все остальное, если я мог вот так стоять рядом с волной? Какое мне было дело до гидравлического механизма, породившего ее (вследствие ошибки, скажет кто-то), если благодаря механизму или ошибке рождалась красота? О "Камино Реаль", благодаря волне тебе простится многое, странные хронопы, заблудившиеся в твоей бессмысленной архитектуре, никогда не забудут, что в самые скверные моменты они могли подойти к водоему и там, в мерцании зеленых бликов, наблюдать нечто, смутно напоминающее рождение Афродиты, этот бесконечно повторяемый волною миг, когда обнаженная дева появляется из просоленной сердцевины мифа. Сверкая и сгорая в собственных драгоценностях, юная богиня, в блеске красоты, предлагала себя и тут же отказывала, снова погружаясь в пучину, прежде чем повторить танец желания; то, что для богов вечно, нам достается лишь на время, разбитое на мгновения и блики в зеркалах.

Как к тому же не восхититься мексиканским единением поэзии, написанной много лет назад, и этой поэмой вскипающей и бурлящей воды? Мне довольно было увидеть волну в ее вращающейся тюрьме, как далекое и любимое воспоминание взорвалось вкусом солей и йода на моем нёбе; я имею в виду текст Октавио Паса под названием "Моя жизнь с волной", бурная и влажная история, в которой поэт рассказывает, как он ездил по миру с влюбленной в него волной, увлажняя подушки, затопляя альковы, как он бился с невозможным, что всегда бывает с поэтами, что всегда бывает с волнами.

А потому, сеньора, вы простите мне этот экскурс в отели, бывает, что так иногда получается.

Но, разумеется, бывает, что и не получается. Когда хронопу обнаруживает, что от лобби-бара до его номера надо одолеть дистанцию, которая заставит пропотеть даже победителя марафона, он, пожалуй, станет понимать, почему — Дорога[1], а вот почему Королевская — шут ее знает. Однако же, плохо не это, а орды меченых, я имею в виду группы американских туристов: в панике от боязни потеряться (я почти понимаю их в такой обстановке), они бродят унылыми стадами да еще вдобавок с пришпиленными к рубашкам или блузкам огромными этикетками с надписями *Джон, Билл, Энн, Бастер* или *Фред*. Пока я жил в "Камино Реаль", я терпел поражение за поражением, стараясь не встречаться с этими

1. "Камино Реаль" (название отеля) — королевская дорога (*исп.*).

ордами в коридорах; но я неминуемо натыкался на них повсюду; их не было только около волны. Там их никогда не было, а дети были, и, к счастью, на них не было этикеток, или они их потеряли; и вот мы смотрели на волну, и нам было хорошо.

Об Оахаке мне рассказывали массу вещей — туристических, этнографических, климатических и гастрономических; единственное, о чем мне не сказали ни слова, это о том, что там, помимо рынка, что мне очень нравится в Мексике, я встречусь со скоплением хронопов, самым плотным на планете, за исключением разве Стокгольма.

Смиренно признаю, что предыдущую фразу надо пояснить, и потому начну со шведской части. Уже лет пятнадцать как в столице этой благородной страны существует Клуб хронопов, основанный испанскими компаньерос и поддерживаемый солидными местными неофитами. Этот Клуб, в котором я к стыду моему еще не был, делает массу свойственных хронопам дел, другими словами, дел не очень понятных и еще менее объяснимых. Так, например, бюллетени новостей, выдержки из газет, которые присылают иногда и мне, обычно написаны на шведском, я отношусь к Клубу с симпатией, но в данном случае этого недостаточно. Я даже знаю, что у них есть футбольная команда, которая входила в Шведскую лигу и отчаянно сражалась в каких-то чемпионатах; о стиле их игры дает представление присланная мне фотография, на которой вратарь-хроноп, стоя довольно далеко от того места, где он должен был бы стоять, с глубоким удовлетворением смотрит на нападающего противников, который лепит ему здоровенный неотразимый гол.

Сказанное дает общее представление о Клубе, и, если теперь кому-то захочется вернуться в теплые края, ему придется с благодарностью вспомнить Руфино Тамайо[1]. Я был старым его почитателем, и, когда узнал, что в Оахаке есть музей, где выставлены предметы доколумбовой эпохи, подаренные и представленные им, я помчался туда стрелой. Я ожидал чудес, и я их нашел, но, кроме того, я нашел то, чего не ожидал, — еще один клуб, совершенно невероятный, за стеклом и в цвете. Я только вошел в первый зал и сразу узнал их: из витрин, помирая со смеху над моим изумлением, смотрели на меня и веселились маленькие хронопы.

Хронопом быть нелегко. Я это знаю по себе, потому что всю жизнь пытался быть им; и мне знакомы поражения, от-

1. Руфино Тамайо (1899–1991) — мексиканский художник-муралист, по происхождению из индейцев-сапотеков.

казы и предательства. Быть фамом или надейкой просто, достаточно плыть по воле волн, а жизнь сделает свое дело. Быть хронопом — это значит гладить против шерсти, смотреть против света, идти против течения, писать антироман, искать антитезу, противоречить, противоборствовать, противостоять всем и всему, что остальные принимают и что считается законом. И если быть хронопом трудно и беспокойно, не менее трудно представлять хронопов, рисовать их, ваять. Я видел очень мало изображений, глядя на которые можно было бы сказать: "Здрасте-мордасти, хроноп, хроноп". Клуб (стокгольмский) довольно давно прислал мне рисунки мальчика по имени Мигель; этот мальчик *видел*, он был одним из них. Когда Пабло Неруда приехал в Стокгольм получать Нобелевскую премию, Клуб подарил ему красного плюшевого хронопа, которого тот бережно хранил и восславил его в воззвании, которое я уже однажды упоминал, но повторю его еще раз: "Хронопы всех стран, соединяйтесь! Против дураков, догматиков, против злобных, против желтых, скукоженных, безжалостных, против микробов! Хронопы! Вперед!"

(За два года до трагедии 11 сентября эти определения Пабло, похоже, вполне применимы к Пиночету и его сообщникам; время поэтов отличается от календарного времени, но мало кто об этом знает и мало кто слушает.)

Да, хронопы вообще неблагодарны и забывчивы, но хронопы из Клуба помнили, что я был отцом их племени, и послали мне плюшевого хронопа, в точности как у Пабло, только зеленого. Этот хроноп живет у меня в доме и одним своим кичливым присутствием стирает в порошок любое изображение, которое может появиться в моем доме, включая двух довольно злобных африканских идолов, японскую куклу и три полинезийские маски (фальшивые).

Как бы то ни было, но за редчайшим исключением попытки изобразить хронопов оканчивались провалом, чему сами хронопы страшно радуются. И вот я прихожу в музей Тамайо и вижу там не одного хронопа, но целое полчище, нагло расположившееся в витринах главных залов. Сидящие, лежащие, красные, черные, стоящие, темные, поникшие, играющие, сражающиеся, спящие, розовые, одетые, улыбающиеся, голые, насмехающиеся, женщины, зеленые, мужчины, поющие дети, синие. (На самом деле я не знаю, видел ли я там синих хронопов или поникших, но вроде бы видел. Часто бывает, что ошибки памяти восполняют ее провалы.)

О чудесный маленький народ, я всегда буду хранить тебя в моем сердце. Остальной музей — без сомнения, замечательный — для меня ничто в сравнении с обретенным мною ми-

ром хронопов. Я долгие годы ждал Матту, Топора, Оски[1], художника, который смог бы на плоскости или в пространстве сделать то, что я сделал с помощью слова; и я не знал, что это уже сделано и что это я через столько столетий после анонимных мексиканских художников просто добавил голос к этим немым формам. Странный, чудесный дар удачи: еще раз мне привелось проникнуть в самые глубины Мексики, в которой я никогда раньше не был, но которая всегда присутствовала в моих текстах, в моих кошмарах и озарениях. Я не доверяю легковесным экстраполяциям, которыми полны столькие книги очерков, издающиеся в наших странах, но, встречаясь с такими вещами, я как никогда остро чувствую, что быть латиноамериканцем — это больше чем быть мексиканцем, или аргентинцем, или панамцем, что наша кровь бьется в венах всего континента как единая, какой она в конце концов станет, единой и только нашей.

— Ба, — говорит хроноп, третий на верхней полке второй витрины, — не надо дифирамбов и не впадай в мессианство.

— Ты прав, — соглашаюсь я. — Коль скоро мы развлекаемся, в кои-то веки...

— И потом, — говорит хроноп, — воспользуйся лучше тем, что смотритель зазевался, и сорви с нас этикетки.

— Нельзя, сынок, — бормочу я, чувствуя себя худшим из фамов. — Вы — часть культуры, а сами знаете, без этикеток вас ни один ученый муж не признает.

Их ярость и презрение огорчают меня, но кончается тем, что они все это забывают и снова смотрят на меня с симпатией; а кроме того, я стараюсь не читать этикеток, чтобы не обидеть их, и потому не мог бы теперь сказать, кто из них кокомекас, а кто ацтехукос, ольмесокос или тласкалсонтлес. Этот, который, похоже, чешет брюхо, он жил раньше или позже этого, который пляшет в свое удовольствие, а в его огромных глазах застыло время? Я так и не узнал ни их хронологии, ни происхождения; невозможно удержать в памяти такие, например, этикетки: "Культура поздней предклассической фазы — Найарит"; этот текст я прочел на почтовой открытке. Мне больше нравится придумывать для них диковинное происхождение, вроде того, как много лет назад я придумал мексиканское племя мотеков. Конечно, такие придумки всегда разбиваются о тех, кто свято верит, что всё совсем не так, а если так, то на то есть своя причина; в данном же случае один французский писатель утверждал, что мотеки

1. Роберто Мата (1911—2002) — чилийский художник, Роланд Топор (1938—1997) — французский художник, писатель, кинематографист, Оски — трудно сказать, кого имеет в виду Х. Кортасар, аргентинского карикатуриста Оскара Конти (Оски) или аргентинского актера Гусмана Оски.

так называются потому, что герой моего мексиканского рассказа ездил на мотоцикле. В такой ситуации остается только посыпать голову пеплом.

Я совершенно уверен, что, когда опубликуют эти непреходящие заметки, сеньора, о которой я рассказывал, напишет мне еще одно возмущенное письмо; на самом деле, вместо рассудительного анализа национальной реальности, легкомысленная мешанина из музейных фигурок, чистильщиков сапог и отелей. Так, сеньор, не делают. Потому что суровая реальность нашей страны...

Сеньора, дорогая сеньора, хроноп не игнорирует реальности вашей страны, его страны и всех стран, которые составляют реальную действительность стольких миллионов латиноамериканцев. Скажу вам одну вещь, и это вовсе не секрет: если страна бьется над своими загадками, это нормально. В хорошей мексиканской библиотеке содержатся все вопросы по поводу этих загадок — ответы, сами знаете, всегда относительны и зависят от многомерной оптики, различных формул, подходов и прочих мудреных вещей, — а потому не мне, заезжему визитеру, отвечать на эти вопросы. Я предпочитаю рассказывать о вещах, которые тоже — реальность, но рассказывать не впрямую, а как бы увиденных с разных точек зрения. Например, завтрак, почти на рассвете, на краю дороги с водителем грузовика, для которого разговор с аргентинцем — это сплошные танго и Либертад Ламарке[1]. Или на площади Сан-Кристобаль с ее церковью увидеть девочку лет шести или семи, которая несет на руках спящего братишку, и угадать на ее лице усталость взрослого человека, высыпать ей в ладонь пригоршню монет и сказать: "Купи себе конфет". И уже издали, стараясь не глядеть на нее, угадать в ее глазах недоверие и увидеть, как она перебирает монетки с изумлением и на лице ее рассветает улыбка, точно заря. Такие вот вещи, вроде бы ничего не значащие.

Потом хроноп покидает Мексику и в самолете с удовольствием думает о подарках, которые ему надарили друзья и которые, аккуратно уложенные в чемодан, летят вместе с ним. Кроме сарапе, кожаных сандалий гуараче, фосфоресцирующей бутылки текилы, он везет с собой идола из обсидиана, аэроплан, сплетенный из прутьев, пузыречек ртути (купленный им самим, скажем правду) и несколько номеров фотоновелл, которые показались ему особенно привлекательными. Дома с этими подарками и покупками он будет счастлив, по-

1. Либертад Ламарке (1908–2000) — знаменитая исполнительница танго, певица, актриса театра и кино.

тому что другие хронопы позавидуют его богатствам, а это приумножает удовольствие от любого путешествия.

Плохо, однако, что, приехав домой, он открывает чемодан и обнаруживает, что бутылка текилы разбилась, и мало того, что запах жуткий, почти все, что было в чемодане, уже никуда не годится. Слезы катятся из глаз, жальче всего фотоновеллы, которых он уже не сможет читать, но один из присутствующих друзей утешает: "Не бери в голову, теперь опишешь все это, и выйдет еще лучше, хорошее воспоминание лучше любой реальности". Хроноп смотрит на него с негодованием, что за чушь, никакая литература на свете не может сравниться с доброй бутылкой текилы, не говоря уж о фотоновеллах.

О *пользе изучения языков*

Эта коротенькая история правдива, хотя такой и не кажется, но виновата в том литература, которая с самых своих истоков тщится выдать кошку за зайца, а зайца за кошку, так что если какому-то писателю вздумается написать о том, что было на самом деле, то ему придется стараться до седьмого пота, чтобы люди в это поверили. Прекрасный пример — Габриэль Гарсиа Маркес; сейчас, когда он занимается почти исключительно исследованием и описанием процессов исторических и политических, многие считают, что он все еще говорит о Макондо, и, следуя за ним в Анголу или Вьетнам, ждут, что на каждой странице, того и гляди, встретят полковника Аурелиано Буэндиа. Это учит нас с Габо серьезнее относиться к тому, что мы пишем, хотя, быть может, уже и поздно: во всяком случае, я клянусь, эта история дошла до меня как подлинная, а то, что она в какой-то мере польская, почему-то делает ее еще более серьезной. Ничего от себя не добавляя, рассказываю эту историю, потому что она мне понравилась и потому что, несмотря на довольно ужасный конец, она педагогична и бодрит.

Герои этой истории (они живут в селении, название которого невозможно произнести) в своих сельскохозяйственных далях мечтали когда-нибудь совершить путешествие в Париж, где ждал их дядюшка-часовщик, собираясь приютить и показать им Эйфелеву башню и прочие достопримечательности города. Юзеф и Анна в поте лица трудились, копили деньги на

путешествие, произвели на свет Юрека, белокурого малыша, который осложнял их планы, но скрашивал жизнь, купили в кредит здорово подержанный автомобиль и в один прекрасный день отбыли, получив прежде четкие наставления парижского дядюшки, который в свое время узнал, что за пределами родной страны невозможно никого заставить понимать по-польски, а потому указал им наилучший способ решения этой проблемы. Надо было просто добраться до ворот французской столицы, оставить машину на стоянке и на метро (план метро прилагался) доехать до его дома, не мучаясь в автомобильных пробках и в средневековом лабиринте улиц.

Путешествие счастливой пары по следующим одна за другой автодорогам не представило больших лингвистических трудностей. Едва добравшись до города и успев восхититься им, Юзеф с Анной завели машину в огромный гараж, где в обмен на свои улыбки и односложные восклицания получили нечленораздельное бормотание и зелененький талон, потом спустились в метро без вещей, но с Юреком, эта последняя деталь важна, как станет ясно впоследствии.

Старый дядюшка поджидал их в своей скромной квартирке, и были слезы, и объятия, и тосты, и водка, как положено. Когда пришло время забирать машину, чтобы привезти свои вещи и подарки от семьи, Юзеф вручил дядюшке зеленый талончик, и дядюшка, глянув на него, стал таким же зеленым, как талончик, и бросился вниз по лестнице, племянник — за ним следом. Всю дорогу в метро Юзеф пытался понять, что произошло, но единственное, что, наконец-то, сказал дядюшка, это как раз, чтобы тот ничего не говорил, и что Пресвятая Дева, и что святой Тадеуш, и весь небесный синклит и т. д. и т. п. Они прибежали в гараж, и после диалога, из которого Юзеф понял только отчаяние дядюшки, на которое дежурный сторож отвечал жестикуляцией во французско-итальянской манере, их привели во двор, забитый тракторами и ужасными машинами. При свете луны и тусклых неоновых трубок перед ними громоздились десятки металлических кубов самых разных цветов; один из них был автомобилем Юзефа и Анны, подвергнутый процессу прессовки, гордости французской технологии, призванной убрать с дорог все автомобили, которые уже невозможно продать, а может быть, и приумножить славу скульптора Сесара, который покупает, ставит на них свою подпись и перепродает эти впечатляющие кубики, где вещий глаз художника раскрывает необычайную красоту выхлопной трубы, или руля, или бампера, подпавших под роковые законы эстетики и механического пресса.

Видеть плод своей многолетней мечты и жесткой экономии превращенным в огромный кубик — ужасное испытание для любого человека, если только он не Сесар. Однако после

криков и причитаний у Юзефа с Анной нашлось время подумать, что не следует слишком сетовать по поводу злосчастного недоразумения, поскольку в тот момент, когда они добрались до Парижа, малыш спал крепким сном в машине на заднем сидении, и они обсуждали, не стоит ли закутать его получше и оставить в машине, пока они будут искать дядюшку. Все оставшиеся в машине вещи уже навечно стали частью куба — все, включая колбасы, бутылки и прочие подарки; каждый раз, когда я вижу в музее куб Сесара, я со всех сторон тщательно осматриваю его, не промелькнет ли где в плотной, многоцветной металлической магме намек на связку сосисок или на женскую шляпку.

Итак, все пришло к своему жутковатому финалу: через два совершенно ужасных дня Юзеф с Анной покинули город, потерявший для них всякий смысл, поездом вернулись в Варшаву, и их история вместе с ними стала воспоминанием, воспоминанием настолько болезненным, что постепенно обернулась vox populi, и в Польше ее рассказывают до сих пор; когда я был там на конгрессе в защиту народа Чили, именно эту историю рассказали мне, желая немного развлечь. Однако, несмотря на все, история эта имела замечательные последствия: польские власти, узнав, что эпизод стал широко известен, использовали его как убедительный аргумент в пользу введения второго языка во всех школах страны. В наше время, когда автомобиль занимает самое высокое положение на шкале ценностей, как на Востоке, так и на Западе, без сомнения, польские руководители психологически попали в самое яблочко. Итак, хотя я не думаю, что Юзеф с Анной еще раз поедут в Париж, другим, возможно, повезет больше, например, маленькому Юреку, когда настанет его пора путешествовать.

Окна в необычное

ФОТОГРАФИЮ склонны связывать с документом или художественной композицией; оба эти предназначения иногда смешивается в одно: документ — красивый, или его эстетическая ценность содержит в себе ценность историческую или культурную. Между этими двумя предназначениями или намерениями проскальзывает иногда необычное, как кошка, которая выскакивает на сцену во время представления, или воробышек, который однажды — я тогда был молод — долго летал над головою Йегуди Менухи-

на, когда тот исполнял Моцарта в театре в Буэнос-Айресе. (Кстати, это не так уж необычно; Моцарт — прекрасное доказательство, что человек может заключать союз с птицей.)

Бывает, намеренно ищут нечто исключительное, а бывает, что оно появляется само, неожиданно, и проявляется, только когда фотография проявлена. Как оно появляется, неважно, и если это вторжение (которого не искали) вдруг оказывается самым красивым и самым сильным, то пусть этот фотограф, подобный громоотводу, притягивающему к себе молнии, идет на улицу в надежде его найти; любой вызов, брошенный силам, не подчиняющимся никаким законам, будет вознагражден, и не обязательно приятным сюрпризом, порою это может привести и в ужас.

Скажи мне, как ты фотографируешь, и я скажу тебе, кто ты. Одни всю жизнь коллекционируют вполне предсказуемые изображения (как правило, те, что вызывают зевоту у друзей, которым они демонстрируют на экране бесконечные диапозитивы), а другие схватывают неуловимое, намеренно или, как потом скажут люди, благодаря случайности. Кое-что знал об этом Бранкузи[1], когда молодой и никому не известный художник, румын, как и он сам, пришел к нему в студию брать уроки. Прежде чем согласиться учить его, Бранкузи дал ему "кодак" и попросил сделать фотографии Парижа и принести ему. Удивленный этим avant la lettre в духе дзен, молодой человек сделал фотографии на свой лад, и Бранкузи одобрил их, ему, похоже, этого было довольно, чтобы понять, что этот паренек, Виктор Браунер[2], тоже avant la lettre, из "опережающих время". Однако ни тот ни другой не знали, что на одной из этих фотографий парижских улиц был фасад отеля, где годы спустя, однажды ночью, в парах алкоголя, стакан, брошенный скульптором Домингесом, выбьет Брауперу глаз. В этом случае необычное сработало как карамболь в бильярде, оно скользнуло в образ, который лишь на первый взгляд имел эстетическое назначение, на самом же деле предварял действительность и фиксировал (видоискатель, а за ним — глаз) участь, о которой даже не подозревали.

С тех пор как в далекой юности, прошедшей в аргентинской пампе, я начал фотографировать, ощущение фантасти-

1. Константин Бранкузи (1876—1954) — румынский скульптор-абстракционист.
2. Виктор Браунер (1903—1966) — румынский художник; живя в Париже, был близок к сюрреалистам. Его знаменитый "Автопортрет с выбитым глазом" (1931) стал реальностью в 1938 г. — в пьяной ссоре художнику выбили именно этот, левый глаз.

ческого постоянно поджидало меня в тот чудесный момент, когда на чувствительной бумаге, плавающей в кюветке, в каждой малости повторялось таинство творения, таинство всякого рождения. Негативы могут читать профессионалы, но только изображение в позитиве заключает в себе ответы на те вопросы, какими являются фотографии, когда тот, кто фотографирует, по-своему задает их окружающему миру. Не было у меня дара схватить камерой необычное, а потому за исключением редких и маленьких неожиданностей, мои фотографии всегда были милым повторением того, что я искал в момент, когда фотографировал. Именно поэтому и еще потому, что я обречен писать, я заглушил разочарование своими фотографическими опытами, взявшись писать, и однажды написал "Слюни дьявола", не подозревая, что необычное поджидало за пределами рассказа, чтобы вернуть меня к фотографии в тот год, когда Микеланджело Антониони превратил мои слова в образы "Blow up". И здесь необыкновенное запустило свой медленный бумеранг: мои надежды и моя тоска фотографа, не обладающего властью над необычными силами, проявляющимися, как правило, в мгновениях, пробудило в режиссере желание показать, как фотография, в которой проскользнуло неожиданное, может вонзиться в судьбу того, кто фотографировал, не подозревая, что именно он ухватил. В этом случае исключительное не проскочило наружу, в реальность; я не сумел ухватить его в фотографии, но взамен я получил потрясающее возмещение: другой человек, а именно Антониони, обратил написанное мною в образы, и бумеранг вернулся ко мне после медленного, непредвиденного полета длиною в двадцать лет.

Меня не слишком привлекают фотографии, в которых необычный элемент показывается средствами композиции, контрастов разнородного, короче, искусственно. Если необыкновенное удивляет, то и оно само должно одновременно, в тот же момент, удивиться тому, кто его заметил. Условия игры заключаются во внезапности и неподготовленности, а потому фотографии, которые меня больше всего восхищают, бывают плохого качества в техническом отношении: нельзя терять время, когда странное вдруг выглядывает на уличном перекрестке, в игре туч или из-за приотворенной двери. Необыкновенное не придумывается, оно дается как благо, и в этом смысле фотография ничем не отличается от любви и от литературы — пространств, в которых всегда выбирают нечто необыкновенное и исключительное.

Как и в жизни, необыкновенное может проявляться, не отличаясь резко от обыкновенного. Мы знаем, бывают момен-

ты, когда что-то вдруг выбивает нас из колеи, или выпадает из привычных рамок, будь то обычное ощущение deja vu или мгновенное соскальзывание, которое происходит вне или внутри нас и неким образом вводит нас в атмосферу смазанной фотографии, где рука слегка выходит из самое себя, чтобы чуть тронуть стакан, который, в свою очередь, медленно выскальзывает, точно балерина, чтобы занять другое место в пространстве. Бывают такие фотографии, на которых все само по себе обычно: снимки с дней рождения, фотографии уличных демонстраций, боксерских поединков, университетских церемоний. Смотришь на них с равнодушием, к которому нас приучили средства массовой информации: ну еще одна фотография, повседневная рутина газет и журналов. И вдруг на фотографии, где Жак Марше пожимает руку нормандскому крестьянину или где банкир с Уолл-стрита празднует серебряную свадьбу в до безобразия роскошно декорированном зале, глаз, умеющий видеть (но кому же незнакомы эти короткие мгновения, проскальзывающие в непрерывном потоке времени и пространства?), ловит чудовищно алчный взгляд, который затерявшийся в глубине зала официант вонзает в даму, затененную шляпой с перьями; или с трепетом различает в просвете двери нечто, похожее на фату новобрачной, а дверь ведет в мрачный зал суда, где судят за кражу лошадей. За свою жизнь я видел много таких фотографий; подобным же образом в детстве на гравюрах, иллюстрировавших Жюля Верна и Гектора Мало[1], я открывал уголки, загадочным образом проявлявшие необыкновенное, уголки чудес: чуть дрогнувшая линия превращала тривиальную сцену в укромное место встреч, в западню, где караулили незнакомые формы, другие судьбы, иные причины жизни и смерти.

И наконец фотография, возможно, дает аргументы тем, кто в прошлом веке верил, что глаза убитого сохраняют последнее изображение убийцы, наступающего с поднятым кинжалом в руке. Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что в одном из эпизодов о Рокамболе кто-то фотографирует глаза мертвеца и получает изображение, которое выдает виновного, во всяком случае помню — это было одним из страхов моего детства. Быть может, поэтому на каждую фотографию я смотрю так, будто она может дать мне ответ или ключ к ситуации за пределами этого времени; этот улыбающийся жених у алтаря, не он ли станет убийцей женщины, которая

1. Гектор Мало (1930–1907) — французский писатель.

сейчас смотрит на него влюбленными глазами? В некотором роде рассматривание любой фотографии бесконечно, поскольку позволяет, как все на свете, множество прочтений, а необыкновенное почти всегда кроется в самом прозаическом и самом невинном. Мы находимся на no man's land[1], где количество комбинаций не имеет границ, как и воображение того, кто вошел на территорию этого бумажного, ориентированного на иное зеркала, и единственное различие между видеть и смотреть, между бегло просматривать и задержать внимание — то же самое, что различие между тем, чтобы жить, все принимая, и жить, все время задавая себе вопросы. Фотография — это всегда вызов, всегда открытие, всегда "может быть"; необычное ждет того, кто умеет пользоваться ключами, кто не принимает того, что ему подают, и предпочитает, как жена Синей Бороды, отпирать запретные двери в силу привычки и бестрепетности.

Обычный художник верит, что его снимки максимально точно отразят выбранную им сцену, свет, персонажей и фон. А вот мне почему-то всегда хотелось противоположного — чтобы фотография резко развенчала или обогатила реальность, чтобы в ней проскользнул элемент необычного, который вдруг превратит юбилейный ужин в коллективное выражение ненависти или зависти, либо, еще более бредовый вариант, в железнодорожную катастрофу или в папский собор. Кто же в таком случае может быть уверенным в верности изображений на бумаге? Достаточно поднести их поближе к глазам, чтобы почувствовать: чего-то там чересчур или, наоборот, не хватает, поэтому привычные центры тяжести смещаются; так на школьных групповых фотографиях, где пытаются a posteriori показать блистательное присутствие Ромуло Гальегоса или Алена Фурнье, другие лица выглядят гораздо более выразительно, и это ужасно, но единственный способ выделить наименее значительного, наименее интересного персонажа из всей группы — пометить его крестиком.

Камеры "полароид" умножают смятение того, кто обнаруживает вторжение необычного в ожидаемое изображение. Нет ничего более увлекательного, чем видеть, как рождаются краски, формы, как на бумаге выступает из глубины силуэт, лошадь, мотоцикл или приходской священник, как медленно проявляются детали, как изображения обретают себя, будто борются за то, чтобы определиться и скопировать то, что они есть вне камеры. Все принимают результат, и лишь немногие чувствуют, что изображение — не совсем то же са-

1. Здесь: на неизведанной территории (*англ.*).

мое, что аура фотографии показывает иное, открывает иные отношения между людьми, перекидывает мосты, которые способно наводить лишь воображение. В одном моем рассказе (уже ясно, что я не фотограф) персонаж, фотографировавший картины в духе *naifs*, написанные никарагуанскими крестьянами, при показе диапозитивов в Париже обнаруживает, что результат не тот, которого он ожидал, что изображения в гораздо более ужасной и крайней форме отражают повседневную реальность латиноамериканской драмы, преследования, пытки и смерть, которые насадили там свои кровавые штаб-квартиры. Как видите, мое ощущение необычного в фотографии не слишком легко проверить. Но разве именно это не есть признак необычного?

Беатрис Сарло
Потаенный Буэнос-Айрес

Перевод Бориса Дубина

Вступление

Начав думать об этой книге[1], я решила не отказываться ни от литературы, ни от прямого, документального подхода, а соединять их так, как они соединяются все последнее время у меня в голове. Пусть маршруты книги пролегают по разным, но пересекающимся пространствам: реальному городу и воображаемым городам. Первое, в чем я утвердилась, был, скажем так, метод. Второе — уточнение моего предмета: это Буэнос-Айрес в его культурном единстве. В смысле экономики, социальной жизни, транспорта город сегодня неотделим от агломерации. Однако в терминах культуры, и, в частности, городской культуры, мы все еще можем говорить о Буэнос-Айресе в его исторических границах. План книги сложился почти сразу, и я писала ее по порядку, чтобы доказать себе, что могу придерживаться избранного сюжета. Первая глава посвящена shopping center и уличным торговцам: товарооборот задает формы использования городского пространства и вносит решающее обновление в публичную жизнь. Когда я писала о shopping center в 1994 году, эта тема была в Аргентине новинкой; те несколько страниц в книге "Сцены из жизни в эпоху постмодерна" кажутся мне теперь отдаленным и приблизительным наброском, хотя я узнаю в них предчувствие того, что неотвратимо последовало поздней. Сегодня я думаю, что shopping center придал типовые формы всем разновидностям потребительского поведения, по крайней мере — он изменил наше воображение; с другой стороны, передвижная торговля стала определяющей для уличной жизни, которая с середины девяностых годов приобрела у нас совершенно особую напряженность. "Торговая столица" и располагается в

© Beatriz Sarlo, 1998, 2009
© Борис Дубин. Перевод, 2010

1. Имеется в виду книга "Город как зрелище. Торговля и городская культура" ("La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana", 2009). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

пространстве между shopping center и уличными ларьками.

В городе-рынке есть свои маргиналы и отщепенцы: вторую главу я посвятила "городу неимущих". Тут необходимо уточнение. Применительно к Буэнос-Айресу этнография города предпочитает, как правило, представлять бедняков их собственными словами в сопровождении немногословных описаний, чтобы избежать классической проблемы и не выдавать себя за другого. При этом не учитывается, что подобные описания – это все равно способ "говорить за другого", отнюдь не лучший и никак не более понятный. Бедняк ведет себя ровно так же, как этнограф: он не знает всего, что говорит, и не говорит всего, что знает. В этом мы одинаковы. Этнография города соревнуется с журналистикой, нередко используя ее как источник, поскольку репортеры создают документы более подробные и живые, более близкие и чуткие к реальности, чем академические исследователи.

Я пошла другой дорогой и выбрала ее сознательно. Четыре года я кружила по городу, пытаясь видеть и слышать все, но не трогая клавишей диктофона. Если я что и брала с собой, то лишь записную книжку да цифровую камеру, и сделала сотни снимков, кое-какие из них я публикую в книге без пояснений. Моей задачей было увидеть и понять бросающиеся в глаза черты новой бедности, которая открывается через смысловую силу мелочей. По словам Кристины Бюси-Глюксман[1], "барочное пристрастие к поверхности" дает возможность охватить взглядом все целое и, вместе с тем, добиться "такой выписанности деталей, когда зрение становится знанием".

С той же перспективой я подошла к "городу приезжих". В третьей главе я отстаиваю тезис, который прежде очень помог мне понять Буэнос-Айрес: наша столица всегда была городом приезжих, прибывших издалека или не очень, сегодня это латиноамериканцы, аргентинцы из провинции, иммигранты из Азии, вчера – беглецы из Европы. Я старалась задавать вопросы, которые связали бы между собой эти города разных иммигрантов. И, прежде всего, старалась не поддаться предрассудку, заставляющему приписывать любой их поступок целенаправленному конструированию идентичности. Эти поступки, эти предместья, эти празднества, эти ярмарки – лишь знаки на плаву, которые сбиваются в кучу, цепляются друг за друга и расплываются в разные стороны. Все эти формы повседневной жизни вовсе не упираются в идентичность, как если бы приезжие и бедняки только и существовали в беспрерывном процессе самоидентификации, словно они не такие, как мы, и словно их идентичность не так

1. Кристина Бюси-Глюксман – современный французский философ, автор нескольких книг об эстетике барокко и, в частности, об особой роли взгляда в ней.

же прерывиста, как наша. И даже если они дискриминированы, стигматизированы расистами, их "я" не есть некий монолит, это посредник между ними и окружением, но посредник субъективный, текучий и, главное, включающий в себя язык. У "города приезжих" множество голосов и почерков, я старалась оставаться внутри него, сохраняя перспективу новых мигрантов, не говорящих на испанском языке Рио-де-ла-Платы, и обращалась к литературе первой трети XX века, чтобы услышать, как это многоголосие звучало тогда.

Литература присутствует во всей книге, но в четвертой главе я специально включаю в работу фрагменты стихов и прозы, а также фотографию и живопись. Я искала не просто образы Буэнос-Айреса, а идеи и модели города — формы, которые помогают увидеть этот город через творчество тех или иных художников; я работала с текстами, которые дышат любовью к городу, и теми, которые его ненавидят или не понимают. Кроме того, я задавалась вопросом, что именно литература или живопись открывают в городе: из чего искусство создает свой город, с какими зданиями и товарами оно входит в теснейший контакт, который составляет самый центр произведения, так что оно как будто и вправду прикасается тут к внешнему миру.

В последней главе тоже исследуются образы города, точнее говоря — его нынешний образ. Здесь я задаюсь вопросом о смысловых моделях, которые вырабатываются в городе и передаются его жителям или гостям. Речь не о том, в чем своеобразие этого города, — это вопрос лишний и ответить на него вряд ли возможно, а о том, какие своеобразные черты этот город считает своими, убеждая в этом других и самого себя. Речь о "неподражаемости", "особенности", "неповторимости", какими они предстают в словаре туристических гидов или самих портеньо, когда они обмениваются мнениями будь то о кварталах культурных памятников, вроде Палермо, будь то об утративших всякую материальность компьютерных городах.

Когда я перечитала то, что получилось, я не без удивления увидела, что даже на последних отрезках такой длинной жизни, как моя, до такой степени очевидны долги, которые наделала в начале. Я бы не написала эту книгу, если бы не прочитала когда-то и не продолжала перечитывать по сей день Ролана Барта. Пережить хотя бы малейшую часть того интеллектуального наслаждения, которое дает Барт, — вот то, чего я пожелала бы моим читателям.

Город-рынок

Линьерс[1]. *Фотоснимок.* Ларьки торговцев высятся над сточными решетками улиц вокруг со-

1. Линьерс — район на юго-западе Буэнос-Айреса, назван в честь военачальника и администратора конца колониальной эпохи Сантьяго де Линьерса-и-Бремона.

бора Святого Каэтана. Идущие в церковь здесь — под охраной выставленных вещей, которые, говоря крылатым, но верным словцом, скрашивают им ожидание. И это не коммерческое развлечение, чуждое благочестию: вещи будут напоминать верующим этот день в течение всего года, — что-то вроде камушка, поднятого богомольцем с дороги, ведущей к святому месту.

Прилавки торговцев поражают пышностью каждого образчика и всех их вместе, складывающихся в запутанное множество. Словно те запаянные в стеклянный шарик альпийские домики с островерхими кровлями, на которые, стоит его встряхнуть, посыплется снег, церковные сувениры здесь вызывают улыбку, такие они домашние, такие семейные. Это украшения, чтобы поставить на полочку, выудив из уличной выставки, где они высятся пестрой, поражающей взгляд кучей. Пластиковый искусственный глаз, откуда выглядывает святой, Богородица или Иисус: любая вещь, вплоть до пресс-папье со святым Каэтаном, оборачивается на улице театральной стороной. Улица — это сцена для всего обыденного.

В лавочках — груды выеденных огнем жестянок с остатками угля, который жгут по ночам, чтобы согреться. В ларьках свалены одеяла, попоны, накидки, тряпки, кастрюли, бидоны, термосы. Это паломничество, но остановившееся, в отличие от движущихся богомольцев, — оно с самого начала застыло на месте. Двойная вереница верующих и торговых ларьков кажется стенописью с изображением длинного религиозного кортежа, который направляется к паперти. В августе, ближе к празднику святого Каэтана, продавцы устраиваются лагерем прямо под уличными прилавками. Спит чей-то ребенок; сочетание цветов в его убежище поражает взгляд, и выбившаяся из-под одеял волна гладких светло-каштановых волос напоминает рекламную картинку. Невольный advertising, как будто все здесь выполнено в едином стиле, хотя это всего лишь наш взгляд придает стильность тому, что сложилось само собой. На красном одеяле — мелкий геометрический узор, различимый только вблизи; желтое одеяло — более губчатое и мягкое, в условную клетку. На самом деле, это не одеяла, а два куска ткани, части занавеса или чего-то еще. Схваченные в железные скобки ларька, повисшие на них, они составили некую сцену в испанском духе. И, тем не менее, невозможно, чтобы такая свобода была придумана заранее. Если тут обнаруживается декоративный замысел, то за него отвечает только случай: перед нами непредвиденная встреча двух прямоугольных кусков ткани, на которых, как в парагвайском гамаке, на улице среди бела дня, под прилавком с религиозными побрякушками, в двух шагах от церкви спит ребенок.

Тот факт, что соединение двух кусков напоминает испанский флаг, придает увиденному еще кое-что, какую-то абсурдную цыганщину, хотя все знают, что никакого флага у цыган нет, – нечто напоминающее о корриде или танце, вроде мифа об Испании работы Голливуда или Мериме. Верно одно: видя соединение красного с желтым, трудно отделаться от ассоциаций с флагом, – доказательство того, что увиденная реальность не может сопротивляться навязанному смыслу, который поглощает все, вплоть до цвета, текстуры тканей, их соединения, повисшего и вместе с тем плывущего в пространстве...

Город неимущих

Террасы. На углу Карабобо и Кастаньярес стоит четырехэтажный дом. Сначала в нем был только один этаж, но потом он стал расстраиваться по вертикали и горизонтали частями разного размера. По мере того как здание росло, оно суживалось, но не со всех сторон равномерно, а изгибаясь или, лучше сказать, избегая здравосмысленного соответствия полов и потолков, но оставаясь при этом параллельным линии первого этажа, как будто бы вместо беспорядка плоскостей оно на свой лад придерживалось градостроительного регламента в духе кубизма.

Точно так же дом отличается от прилегающих улиц, которые перекрещиваются с улицей Карабобо от самого проспекта Эвы Перон. Он был бы на месте где-нибудь в зоне Вилья-де-Ретиро, или 1–11–14 (самой большой в городе), или, еще лучше, там, где окраина сходится с предместьем. Три надстроенных этажа – разной формы, наполовину оштукатуренные, с окнами без рам и террасами без балюстрад, но с цветочными вазонами и распорками для сушки белья, железными решетками, банкетками и шезлонгами. Все это выглядит неуклюже и высится с откровенным видом природы, разросшейся сама по себе, – непрочное чудище, которое еще предстоит довершить, хотя постройка вполне материальна и возведена не на один день.

Ощущение непрочности связано с незавершенностью здания. Но не той незавершенностью, которую завтра устранят, а своего рода *основополагающей незавершенностью.* Такое впечатление остается от любых недолговечных построек, будь они из листового железа, дерева, картона, пластика. Но когда незавершенное выстроено из кирпича, качество незаконченности приходит в противоречие с прочным материалом постройки. Вспоминаю фразу: "Дома бедняков всегда недоделаны", – ее бросил один задиристый политик, чтобы оправдать собственное неучастие в демонстрациях. И это верно: дом незавершен, хотя, постелив крышу, ставят решетку

для жарки, а крестовину над крышей увенчивают антенной или красной тряпицей, знаком удачи.

Четырехэтажное здание на проспекте Кастаньярес хранит свою неполноту как главную особенность. Нижний этаж (он единственный завершен) совсем потерялся рядом с выросшими над ним неоконченными, но обжитыми сооружениями, как будто он — всего лишь фундамент, который не должен бросаться в глаза, и у него нет ни малейших оснований быть замеченным или разрушить дух незаконченности, воплощенный в верхних этажах. Судя по мешкам с цементом на крыше последнего из них, строительство и впрямь не завершено.

Глядишь, вырастет еще этаж, еще одна крыша-терраса, где будет сохнуть белье (простыни, простыни) и скапливаться рамы для окон и дверей, пригодные для будущего расширения и говорящие о том, что ничего здесь нельзя принимать за окончательное.

В нижнем этаже незаконченного дома — обувной магазинчик и киоск, где торгуют съестным. Два этих помещения как бы отделены от остальной постройки, поскольку они завершены и работают, — кажется, что ближе к почве дом теряет свои основные особенности, которые проявляются только на высоте.

Время стройки здесь понимают как потенциально бесконечное, а это соединяется с идеей, что средств — будь это технические орудия, недостающие умения или материальные ресурсы — всегда не хватает. Отсюда постоянная потребность в расширении. Ничто и никогда не приводит к цели, поэтому дом всегда должен быть, в принципе, растяжим. Казалось бы, ограниченность ресурсов понуждает скорее закончить стройку, однако она, наоборот, поддерживается в двойственном состоянии вечного перехода от еще не завершенного этажа к уже начатому следующему...

Приезжие в городе

Приправы и снадобья. Женщина торгует снадобьями, белыми, серыми и черными камушками, чаем, мазями в круглых разноцветных баночках, которые можно купить в зеленных ларьках по всему городу. Между делом забавляя дочку, мягко объясняет: "Это для чистой кожи. Сначала нужно заварить на этих травах большой котел кипятку и протереть им все тело. Потом попросить кого-нибудь — пусть оставшейся водой начертит на земле крест. И вся кожа станет чистая. Стоит четырнадцать песо". Слушательницы обещают прийти за покупкой на следующей неделе.

Разрешает сделать несколько фотографий. Пластиковые бидоны с соком из сухофруктов — персиков или слив, крендельки, пончики и пироги, они больше и сочней, чем наши из

пампы, в них больше зеленого лука. Товары не разложены по полу, как на улицах других кварталов Буэнос-Айреса, а мощными потоками, растительными глетчерами как бы извергаются из глубины помещения на тротуар. Геометрически уложены штабелями, как в Кочабамбе и Оруро, Ла-Кьяке или в боливийских лавочках Жужуя[1]. Фрукты и зелень — не в ящиках, но и не разбросаны повсюду, а дисциплинированно лежат отдельными горками.

Сейчас уже никто не удивляется пирамидам юкки и манго, связкам жгучего перца или мешочкам приправ. Боливийки давно торгуют этим по всему миру, и так же, как в соответствии с циклами кулинарной моды, на поверхность когда-то вдруг вырвалась страсть к перуанской кухне, боливийские специи превратятся однажды в сокровище, за которым станут гоняться молодые повара, получившие профессиональную выучку в Барселоне.

Улица Хосе Леона Суареса в самом центре Линьерса, за перекрестком с улицей Рамона Фалькона, это вовсе не хаос, не вулкан экзотических ароматов, не куча грязи. Товары из глубины лавок с постоянным помещением и кассовым аппаратом изливаются до самых тротуаров. Улица переполнена народом, снующим туда-сюда, но бродячих торговцев на всей этой боливийской ярмарке куда меньше, чем на нескольких квадратных метрах в квартале Реколета или в парке Столетия Революции.

Палочки, кубики, треугольники, шарики пористой массы всех цветов в больших пластиковых мешках, нагроможденных в таких количествах, что размах торговли трудно даже вообразить, — этих мешков тут больше, чем всего другого. Острое непривычно соединяется с разноцветным: эти кусочки спекшейся массы (сало, мука, сыр, соль) раскраской скорее напоминают шоколадные драже или карамельки детского праздника. Так же острое и разноцветное соединяются в пластиковых мешочках с приправами, связках жгучего перца и паприки. Товары на тротуарах выписывают бесконечный котильон в пространстве, где прохаживаются покупатели. Круглые белые или фиолетово-розовые сухие лепешки между прозрачными упаковками арахиса, изюма и чипсов, лимоны, мамончилло с бархатным желтым бутоном в центре; корни и порошок имбиря, дрок, большие стручки зеленой фасоли, разноцветные бобы, чечевица, орехи, сверкающие связки, хрустящие кучки. Повсюду керамические копилки в виде свиньи, украшения для именинных пирогов, сувениры трех цветов боливийского флага, чтобы вручать их приглашенным на праздник. Всё в огромных количествах, с фаб-

1. Кочабамба, Оруро — города в Боливии, Ла-Кьяка, Жужуй — города в Аргентине.

ричными марками, без малейших претензий на ловкую ручную работу, как в других столичных кварталах. И только в последней лавке ярмарки, где продают билеты в Боливию и туры по Боливии, где меняют валюту и всюду прикноплены афишки с цветами боливийского флага, старуха с падающей на плечо косой торгует глиняными горшками и горшочками, которые, может быть, куплены оптом и все-таки наводят на мысль о кустарном промысле, об изделиях, вышедших прямо из рук безымянного умельца.

Торговля бусами, снизки латунных колокольчиков и чеснока, плюшевые звери, желтые медведи с красными и зелеными ленточками, миниатюры из зернышек искусственного хрусталя, куклы в сомбреро из всех районов Боливии. Есть свое великолепие, своя откровенная радость в этих прилавках, где нагромождено все, что выглядело бы безвкусным кошмаром, не будь оно в то же время знаком изобилия и роскоши. Вид этих мелочей – аллегория семейного достатка, обеспеченного небольшой надбавкой, которая позволяет расходы за пределами грубой необходимости. Манекен в маскарадном костюме, спрятавшийся между двух гигантских зверей желтого цвета. Все сияет, аккуратно расставленное и завернутое в пленку, словно эта кукла, черноволосая круглощекая барби в белом сомбреро с позолоченной бахромой.

Под навесом с настенной росписью, где святая Роса Лимская (видимо, эта перуанская святая поднесена строителями как дар в честь добрососедских отношений между всеми приезжими?) и Богоматерь Копакабаны изображены с Луханской Богоматерью и святым Каэтаном по бокам, торгуют одеждой неведомых и поддельных марок. Звучит кумбия[1]. Напротив, в галерее, меню ресторана на первом этаже предлагает полный набор блюд боливийского нагорья. Там тоже звучит кумбия. На улице – два ресторанчика ("Хамуй" и "Пирожки"), тропическая эстрадная музыка и штабеля круглого хлеба. На телеэкранах всех лавочек – боливийские эстрадные певцы. Поле славы разрастается на глазах.

Не пахнет ни жиром, ни жареным. В воздухе – волны пряностей и растительных ароматов, волны музыки, волны шепелявящей испанской речи. Турагентства, обмен валюты. На одной из дверей читаю: "Купившим тур в Ла-Кьяку, Вильясон, Санта-Крус, Поситос, Жужуй и Сальту наше заведение предлагает: 1) пирожок, 2) сок мокочинче[2]". Раздумываю над словом "мокочинче". Поле семантики тоже не стоит на месте.

1. Кумбия – народный танец, распространенный в Колумбии и Панаме.
2. Мокочинче – сок абрикоса или персика с корицей и гвоздикой; это слово можно приблизительно перевести как "клоповая слизь".

У лавок раздают визитные карточки — благодарю и сохраняю. Дон Амадео, любовный приворот, гарантированный результат с использованием колдовства индейских шаманов. Донья Клара, карты таро, чтение по священным листьям коки, индейские заговоры. Донья Дора, угадываю имя любовника или любовницы мужей и жен, очищаю от сглаза и гарантирую процветание дома, торговли, предприятия. Индеец Ятири, духовно-душевные консультации, развод, ревность, измена, андийские церемонии и ритуалы. Брат Хуан Доминго, индейское колдовство, рекомендации, заговоры. Вот так же гадают по картам таро и читают будущее по линиям руки у нас в Реколете.

Торговый центр

Перевод Светланы Силаковой

Во многих городах вообще нет никакого "центра". Я имею в виду центр как конкретный географический объект с особыми приметами — район, где находятся памятники, перекрестки определенных проспектов с определенными улицами, театры и кинотеатры, рестораны, кондитерские и пешеходные зоны, где неоновые вывески сияют сквозь пелену дождя — тоже сияющего, с металлическим отливом, омывающего фасады. Можно было спорить, за какой улицей "центр" заканчивается, но никто не усомнился бы, что центр всего один: там все было иное — зрелища, звуки, время работы магазинов. Из спальных районов в "центр" выбирались по особым случаям: в праздничные дни, или чтобы сходить в ресторан, или сделать покупки, или просто побывать в центре, взглянуть на него хоть одним глазком. Между тем нынче Лос-Анджелес — бескрайний город без центра — уже не кажется нам таким непостижимым, как в 60-х. Процесс "лос-анджелизации" начался во многих городах Латинской Америки, и Буэнос-Айрес — не исключение.

Жизнь современного горожанина связана преимущественно с жилыми микрорайонами (и с так называемыми очагами аудиовизуальной культуры). Не то было в 20-е

© Светлана Силакова. Перевод, 2010

годы, когда поездка "в центр" обещала целый спектр желаний и опасностей, была экспедицией по вечно изменчивой территории. Теперь из районов проживания среднего класса в центр не выезжают. Мы преодолеваем меньшие расстояния не только потому, что город перестал разрастаться вширь: мы сами тоже перестали колесить из района в район. Зажиточные кварталы обзавелись собственными центрами, где с чистотой и порядком дело обстоит лучше, чем в былом "центре", и полиция бдительнее, и улицы освещены лучше, а материальных и символических благ предлагается больше.

Посещение центра и посещение торгового центра — разные вещи, хотя слово "центр" употребляется в обоих случаях. Разница прежде всего в пейзаже: торговый центр, какова бы ни была его архитектура, — это миниатюрное подобие "города услуг"[1], где нет места каким-либо крайностям урбанизма. Нет места непогоде, от которой в пассажах и торговых рядах XIX века можно было укрыться лишь ненадолго; нет места шумам, которые нельзя запрограммировать централизованно; нет места игре света и тени, возникающей при совмещении разнородных, взаимоисключающих источников света, которые соперничают между собой, или усиливают, или просто игнорируют один другой; нет места разномастности, между тем как в городе здания отличаются по высоте, театры или кинотеатры бывают вдвое-втрое выше других построек, а застекленные поверхности — втрое или вчетверо шире стандартных витрин; устранены знаменитые памятники, которые в силу своей неизменности, красоты или уродства превращались в самые яркие знаки городского текста; устранено изобилие гигантских надписей, венчающих здания, растянутых вдоль фасадов на десятки метров, начертанных на тентах, и огромных букв на десятках стеклянных дверей, и надписей на гербах или на блестящих металлических табличках, и слов на притолоках ворот, и афиш, и транспарантов, и объявлений — рукописных и печатных, и дорожных указателей. Словом, устранены все те порожденные игрой случая или замыслом архитектора черты, которые являются (или прежде являлись) отличительными признаками города.

Сегодня торговый центр, в противоположность вышеописанному пейзажу "центра", являет собой самодостаточный звездолет, где все предопределяет эстетика розничного потребления. Собственно, все торговые центры одинаковы — хоть в Миннеаполисе, хоть в Майами-Бич, хоть в Чеви-Чей-

1. Под "городом услуг" подразумевается город, где преобладает сектор услуг, в противоположность городу-промышленному центру. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

зе или Ньюпорте, хоть на Родео-драйв в Лос-Анджелесе, хоть на перекрестке улиц Санта-Фе и Коронель-Диас в Буэнос-Айресе. Если ты прилетишь с Юпитера и приземлишься в торговом центре, то лишь по рисункам на банкнотах и языку продавцов, покупателей и зевак сможешь догадаться, в какую страну тебя занесло. Неизменность международных брендов и товаров унифицирует пространство, пространство, лишенное свойств: ты совершаешь межзвездный перелет в мир "Кашарель", "Стефанель", "Фьоруччи", "Кензо", "Гесс" и "Макдоналдс" на чартерном звездолете под пестрым флагом всех брендов мира.

Звездолет может стать для тебя как раем, так и адом. Воздух очищается кондиционерами, восстанавливающими его для повторного использования; температура приятная; источники света такие как надо и не спорят друг с другом — ведь игра бликов и теней всегда может показаться зловещей; прочие угрозы нейтрализуются камерами видеонаблюдения, передающими информацию в panopticum[1], где дежурит охрана. Словно на борту звездолета, можно, не выходя наружу, совершать все действия, которые поддерживают в тебе жизненные силы: ешь, пей, отдыхай, потребляй товары и символы по неписаным, но кристально ясным инструкциям. Словно на борту звездолета, легко потерять ориентацию в пространстве: вид с данной точки настолько похож на вид с точки напротив, что только знатоки, выучившие назубок все до мельчайших деталей, либо те, кто ориентируется по карте, могут сказать, где именно находятся в тот или иной момент. Впрочем, зачем знать точное местонахождение? В отличие от улиц и пассажей, по торговым центрам не ходят из пункта А в пункт Б, а прогуливаются, заранее настроившись смиряться — пусть не всегда и не до конца — с западнями слепого случая. Те, кто не смиряется, изменяют своим присутствием сущность торгового центра — пространства, на игровой доске которого все негаданные продвижения вперед, отступления и повторные проходы продиктованы стратегией маркетинга.

Торговый центр, если он хороший, поддается полному упорядочиванию, но одновременно должен создавать впечатление, будто маршрут избирается свободно: потребление течет чинно. Те, кто приезжает в торговый центр, чтобы зайти, достичь заранее намеченного пункта, приобрести товар и немедленно вый-

1. Здесь слово "паноптикум" обозначает, видимо, концепцию идеальной тюрьмы английского социолога Иеремии Бентама (1748–1832), где за всеми заключенными мог одновременно наблюдать один надзиратель, оставаясь для них невидимым. Предполагалось, что у узников возникнет ощущение, будто их постоянно контролируют и, следовательно, они будут вести себя безупречно.

ти, не соблюдают предназначения этого пространства, во многом подобного ленте Мёбиуса: в торговом центре переходишь с одной плоскости на другую, с одной поверхности на другую, даже не замечая границ. Именно поэтому там трудно заблудиться: он не приспособлен для отыскивания конкретных мест и, следовательно, на его территории, организованной безо всяких иерархий, не осознаешь, что сбился с дороги. Торговый центр — не лабиринт, из которого надлежит найти выход; напротив, сравнение с лабиринтом — обманчиво. Торговый центр — самодостаточный звездолет, где если и можно не найти искомое, то уж потеряться никак нельзя. В торговом центре способен заблудиться только совсем маленький ребенок, и то лишь потому, что непредвиденное происшествие разлучило его со спутниками. А разлука с человеком и поиски товара — явления разного порядка.

Подобно звездолету, торговый центр равнодушен к окружающему его городу. Город для него — всегда лишь то, что вовне, а что там вовне — неважно: хоть автострада, за которой тянутся лачуги предместья, хоть широкий проспект, хоть жилой микрорайон, хоть пешеходная зона. Когда люди находятся внутри торгового центра, никого из них не должно интересовать, параллельна или перпендикулярна городской улице витрина, где он приметил искомое; лишь бы не забыть, на какой полке хранится желанный товар. В торговом центре не только отключается чувство пространственной ориентации, но и полностью исчезает городская география. Торговый центр не похож на звездолет тем, что закрывается глухими стенами от панорам внешнего мира. Точно в казино Лас-Вегаса (а у Лас-Вегаса торговые центры переняли многое), день и ночь неразличимы: время стоит на месте, а если и идет, то лишено свойств, как и пространство торгового центра.

Для торгового центра город не существует. Собственно, он и выстроен взамен города. Поэтому торговый центр забывает об окружающем пространстве: он не просто наглухо отгораживает свои помещения от видов на окрестности, но и вторгается, точно свалившись с неба, в квартал игнорируемого им города; он приземляется в чистом поле, или у автострады — в местах без урбанистического прошлого. Если же торговый центр занимает пространство, несущее на себе отпечаток истории (реконструированный рынок, верфь, пакгауз или — это уже реконструкция в квадрате — старомодный торговый пассаж), то историческая архитектура используется лишь как декорация. Почти всегда, даже при установке на "сохранность исторического облика", торговый центр втискивается в лакуны памяти города, так как символизирует новые обычаи и не

обязан блюсти традиции: там, где процветает потребление, ветер перемен дует в полную силу.

Торговый центр – одно сплошное будущее: он насаждает новые привычки, становится точкой отсчета, приучает город к своему присутствию, а людей – к функционированию в своем пространстве. Торговый центр можно отнести к категории "проектов, предвосхищающих будущее": со временем торговые центры станут все обширнее, пока не уподобятся плавучим заводам, откуда нет необходимости сходить на берег, поскольку на борту предусмотрено всё (собственно, уже сейчас таковы некоторые отели-торговые центры-спа-центры-культурные центры Лос-Анджелеса и, естественно, Лас-Вегаса). Торговые центры-деревни, торговые центры-музеи, торговые центры-библиотеки и школы, торговые центры-больницы...

Говорят, что процесс розничного потребления воспитывает в человеке гражданственность и, следовательно, торговые центры можно считать памятниками новой гражданской доблести: агорой, храмом и рынком сразу – как древнеримский форум. На форумах можно было найти и ораторов, и аудиторию, и политиков, и объект их манипуляций – плебеев; в торговых центрах граждане тоже играют разные роли: одни делают покупки, другие просто глазеют и восхищаются. В отличие от универмага XIX века, торговый центр обнажает не истоки капитализма, а его широчайшее практическое воплощение.

В противоположность реальному городу – детищу конкретных эпох – торговый центр предлагает свою модель миниатюрного города услуг, который надменно дистанцируется от традиций и окружающего пространства. На миниатюрный, кукольный город торговый центр похож тем, что выглядит ирреально: ведь он строился слишком быстро и не знал колебаний, полярных крайностей, корректив и сносов, влияния более глобальных проектов. История отсутствует, а если и присутствует в виде отдельных элементов, нет жаркого конфликта между натиском дня сегодняшнего и сопротивлением минувшего. История низводится до роли служанки, превращается в банальную декорацию: фетишисты от реставрации сохраняют отдельные стены, но это лишь пустые скорлупки. Поэтому торговый центр идеально сочетается с эстетикой так называемой постмодернистской архитектуры. В торговом центре, где стараются сохранить исторический облик зданий, с историей обращаются парадоксальным образом – видят в ней сувенир, а не материальное воплощение их верности себе и истории, которые вечно конфликтуют с днем сегодняшним.

Итак, история эвакуирована, превращена в "деталь", и у

торгового центра развивается амнезия – но так и надо, ведь без амнезии он не станет приносить прибыли. Если бы следы истории слишком бросались в глаза и не исчерпывались бы чисто декоративными функциями, торговый центр погряз бы в конфликте функций со смыслами. Для торгового центра единственная семиотическая машина – та, что служит его коммерческим задачам. История, наоборот, фонтанирует смыслами, в сохранении которых торговый центр не заинтересован, ибо в его пространстве знак дороже содержания.

Торговый центр как артефакт полностью вписывается в гипотезу современного кочевничества: любой, кто хоть раз в жизни пользовался услугами одного торгового центра, сумеет воспользоваться услугами другого, пусть даже в чужом далеком городе, не зная ни языка, ни обычаев. Массы временных кочевников, путешествующие по туристическим маршрутам, обретают в торговом центре уют родимого очага, где устранены межкультурные и языковые барьеры. После странствия по незнакомым городам торговый центр – оазис, где практически все как на родине; передышка от сладостной, но утомительной экзотики, пространство привычное, хотя и с интригующими обертонами (турист осознает, что как-никак находится "за рубежом"), но во всех странах одинаковое. Без торговых центров и Club Mediterranée[1] массовый туризм был бы немыслим: обе эти институции создают ощущение защищенности, словно в собственном доме, но не вполне подавляют сознание отдаленности от дома. Когда чуждое пространство, где ты лишен языка, кажется зловещей пустыней, торговый центр успокаивает нервы своей привычностью.

Но это не единственный, да и не важнейший вклад торгового центра в современное кочевничество. Собственно, идеальная машина торгового центра, продуцирующая сближение всего со всем, уже сама по себе дает простор для внетерриториальных скитаний. Точки отсчета – универсальны: логотипы, аббревиатуры, вывески и этикетки не требуют знакомства с какой-либо культурой, которая появилась прежде культуры потребления или отлична от нее. Итак, торговый центр порождает внетерриториальную культуру, в которой никто не может почувствовать себя чужаком: даже те, кто потребляет меньше других, отлично функционируют в торговом центре и смекалисто используют его в непредусмотренных целях; машина терпит эти способы несанкционированного использования, покуда они не

1. Она же "Club Med". Сеть пансионатов в разных странах мира, действующих по принципу "все включено" (в цену путевки). Существует с 1950 г., принадлежит одноименной французской компании.

транжирят энергию, которой торговый центр манипулирует. В зажиточных районах я видела, как жительницы предместий, присев на бортики вазонов с цветами, в двух шагах от уставленных яствами ресторанных столиков, кормили грудью младенцев, а ребятишки постарше бегали меж витрин, потрясая двухлитровой пластиковой бутылкой кока-колы; я наблюдала, как люди достают домашние бутерброды из пластиковых пакетов с логотипами мировых брендов, пакетов, которые наверняка используются вновь и вновь, с тех пор как покинули магазин, следуя правилу "законного" первичного использования. Эти посетители, на которых машина торгового центра не рассчитывает (но, впрочем, и не изгоняет их, а если и изгоняет, то не очень усердно), — пришельцы с иной территории, но внетерриториальность торгового центра их привечает: таков занятный парадокс свободы, свойственной плебею. Торговый центр верен принципу "потребление — явление всеобщее" и ни перед кем не закрывает своих дверей.

Внетерриториальность торгового центра выгодна неимущим; бедняки не могут поселиться в чистом безопасном районе города с хорошей инфраструктурой, по которому можно было бы ходить в любое время суток; государство забросило предместья, а рынок туда не пришел ввиду их крайней нищеты; добрососедские отношения в общинах захирели, солидарность ослабла, насилие сделалось рутиной. Но торговый центр — гиперболизированное и сконцентрированное выражение всех черт, которые диаметрально противоположны миру бедняков. Вдобавок торговый центр внетерриториален, и, следовательно, в него можно попасть без визы. По идее, внетерриториальность торгового центра могла бы нарушить то, что средний и высший классы считают своими правами; однако интересы разных классов не конфликтуют, так как потоки посетителей разведены по разным дням недели и времени суток. Неимущие приходят в торговый центр по выходным, когда люди не самые бедные, а также настоящие богачи предпочитают другие маршруты. В зависимости от часа и дня пространство полностью изменяется, проявляя свою транссоциальность, которая, если верить некоторым теориям, станет огненной вехой на повороте к эпохе постмодерна.

Детей и молодежь внетерриториальность торгового центра тоже завораживает, позволяя дрейфовать в океане товарных знаков. Торговый центр предоставляет богатый антураж для фетишистского преклонения перед лейблами, поскольку в нем — хотя бы теоретически — есть всё, и, более того, востребованы излишества, которым подивились бы самые эрудированные знатоки. В антураже есть нечто от Диснейленда: совсем как в

Диснейленде, ни один персонаж не пропущен, и всякий персонаж снабжен атрибутами своей славы. Торговый центр – выставка всего, о чем только мечтается.

Это пространство, не содержащее ни единой отсылки к городу, переполнено отсылками к некой неокультуре, причем новичок может усвоить ноу-хау, просто пребывая в этом пространстве. Потребление, поощряя свободу выбора (даже если это лишь выбор болельщика между эдакими воображаемыми командами), вкладывает в человека знания, которые, с одной стороны, обслуживают динамику потребления, а с другой, созвучны юношескому стремлению к антиинституциональной свободе. Лучше всех торговый центр знают подростки. Подросток дает выход несентиментальной сентиментальности, наслаждаясь выставкой товаров и свободой передвижения, которая обусловлена управляемой беспорядочностью. Бренды и лейблы, из которых складывается пейзаж торгового центра, вытесняют свод прежних хиреющих гражданских или религиозных символов. Кроме того, мальчикам, помешанным на компьютерном хайтеке, торговый центр предлагает пространство, словно бы выдержанное в этом стиле. (Правда, в варианте периферического города хайтек – скорее эстетический прием, чем примета его реального функционирования.) Что до прочих особенностей торгового центра, то он сочетает живописное изобилие полного собрания лейблов с кое-какими линиями "народных промыслов/экологически чистых/стопроцентно натуральных товаров", то есть предлагает весь спектр стилей подростковой эстетики. Индустриальный китч и компакт-диски.

Торговый центр утвердился в урбанистической культуре на редкость быстро по сравнению с другими метаморфозами образа жизни даже в нашем столетии – эпохе недолговечных товаров и непостоянных ценностей. Вы скажете, что эта перемена – не коренная, да и не столь масштабная. Но я убеждена, что в торговом центре воплощены основные черты грядущего или, лучше сказать, того, что уже наступило всерьез и надолго: в городах, все более расколотых и разобщенных, торговый центр – этакое бомбоубежище на случай атомной войны – стопроцентно отвечает духу эпохи. Там, где институции и общественная жизнь больше не способны создать вехи, которые считались бы непоколебимыми, воздвигается памятник, опирающийся именно на молниеносность товарооборота. Торговый центр – зеркало, где отражен кризис публичного пространства, затрудняющий формирование смыслов. Это зеркало переворачивает реальность: в его зазеркалье денно и нощно струится упорядоченный поток не смыслов, но знаков.

Мигель Витаглиано

Десять тысяч шепотов с Борхесом

Эссе

Перевод Юлии Лариковой

I heard ten thousand whisperin'
and nobody listenin'
I heard one person starve, I heard
many people laughin'

Bob Dylan[1]

I

3 января 1983 года, в четыре часа пополудни, я взял интервью у Борхеса. Подтверждение тому — запись в моем ежедневнике. Мне было 22 года, я изучал в университете литературу и хотел стать писателем; Борхесу исполнилось 83, и он уже почти ничего не видел, этот великий писатель XX века. Я знал (так мне казалось), кто мой собеседник.

Лето, жара, в центре города нечем дышать. Борхес жил в доме на улице Майпу, неподалеку от пешеходной Флориды, средоточия буэнос-айресского космополитизма. Фанни, домработница, предложила мне подождать в гостиной. Она помогала матери Борхеса, Леонор Асеведо, с 1957 года, а в 1975 году, когда та умерла, взялась ухаживать за писателем. Так они и жили вдвоем в этой некогда изысканной квартире, которая теперь остро нуждалась в ремонте. Облупилась штукатурка на стенах. Протерлась обивка диванов. Эта квартира не показалась мне достойной своего хозяина, но разве могло найтись место внешним эффектам в жилище того, кто разбил вдребезги иллюзию самобытности, "национального колорита"? В работе "Аргентинский писатель и традиция" Борхес заявил: национальный облик литературы определяется не выбором тем, а формой их художественного воплощения. Всякому дому, как и всякой

© Miguel Vitagliano, 2010
© Юлия Лариковa. Перевод, 2010

1. Шепот десяти тысяч в глухой тишине
Смерть человека и хохот толпы.

Из песни Боба Дилана "A Hard Rain's Gonna Fall". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Редакция журнала "Иностранная литература" благодарит автора за безвозмездно предоставленное право публикации этого материала.

стране мира, присущ особый запах, однако ощутить его можно, лишь разорвав все связи с этой реальностью. Зачем вынуждать аргентинскую литературу говорить о гаучо и танго, зачем отрезать ей пути в мир? "Или быть аргентинцами — рок, а раз так, нам никуда от этого не деться, — писал Борхес, — или же это не более чем притворство, маска". И все же это был дом Борхеса. На балконе висела железная клетка, но канарейки внутри не оказалось. Под клеткой на полке стояла банка из-под мармелада из сладкого картофеля[1], в которой теперь зеленела луковица. Должно быть, это Фанни сохранила привычки жителей окраины города, столь нехарактерные для центра Буэнос-Айреса.

Даже солнечным днем в квартире царил полумрак. Дверь отворилась, и появился Борхес. Одетый в желто-бурый костюм, который будто светился в сумраке комнаты, он медленно продвигался под руку с Фанни, свободной рукой опираясь на трость. Желтый с его оттенками — единственный цвет, который он различал, несмотря на слепоту. Именно желтый, как я позднее узнал, произвел на него впечатление еще в детстве, когда он завороженно наблюдал за бенгальским тигром в зоологическом саду. Борхес полюбил это животное и до конца дней не оставлял попыток разгадать тайну его полос; стоит вспомнить "Письмена Бога" (1949) или "Золото тигров" (1972). Писатель протянул мне руку: усталый старик здоровался с двадцатилетним парнем, сплошным комком нервов. С меня как будто сдернули маску. Борхес оделся — так я решил — для фотосъемки, а я принес только диктофон, да еще и сомневался, что мне пригодится эта запись. Я готовил для газеты заметку о необходимости введения литературоведения в университетах — еще один политический жест против военной диктатуры (1976–1983), — и редактор поручил мне узнать мнение Борхеса. По молодости я не верил, что в области литературной критики Борхес способен сказать свое веское слово; мне хватало работ Барта, Кристевой, Шкловского и Бахтина.

— Я буду краток, не хочу отнимать у вас время, — сказал я и выпалил заготовленный вопрос.

— Зачем нам быть краткими? И так все мимолетно кругом, — пробормотал Борхес и тут же поинтересовался, кто мои преподаватели. Рисоваться было бесполезно: он сразу понял, что я просто студент, хоть и пытаюсь выдать себя за профессионального журналиста — это ремесло я считал первым шагом к писательству. Затем он продолжил: — Когда я читал лекции по английской литературе в Университете Буэнос-Айреса, я говорил студентам: не тратьте драгоцен-

1. Сладкий картофель (батат) — корнеплод, из которого аргентинцы готовят традиционный десерт.

ное время на изучение критиков, читайте непосредственно книги. Не понравилось, смело берите другую. В списке из семи или восьми книг каждый найдет хотя бы одного созвучного себе автора.

— Вы не считали важным делать упор на истории литературы?

— Я считаю ошибкой, почти повсеместной в наше время, изучать литературу в рамках ее истории. Верно, что мы живем в историческую эпоху. Как сказал Шпенглер, мы насквозь историчны, потому-то нам так трудно понять, что есть вещи по природе своей иные. Я всегда повторял своим студентам, что могу научить их не английской литературе, а лишь любви к этой литературе. Уходя на пенсию, я предложил нескольким из них вместе изучать англосаксонский. Эти встречи проходили в Государственной библиотеке, в моем директорском кабинете. Поскольку к тому времени я уже ослеп, изучение этого средневекового языка обещало открыть мне нечто новое. Я думаю, следует обучать удовольствию, которое литература доставит скорее, чем ее история.

— У вас есть рассказ "Зеркало и маска", в котором человеку из древнего королевства Ирландии открывается дар наслаждения красотой.

— Забавно! Меня часто спрашивают об этом рассказе, а я его почти забыл. Он об одном короле, верно?

— Король поручает молодому поэту сочинить хвалебную песнь в честь сражения, в котором Ирландия одержала решающую победу.

— Припоминаю. Раз мы коснулись Ирландии, взгляните на эту трость, я привез ее как раз оттуда. Это обычный посох кустарной работы, какие были в ходу у ирландских пастухов. У него и имя кельтское: Шиллела. Обопритесь на него, смотрите, какой он устойчивый.

Я смущенно повиновался.

— Сподручная вещица, правда?

— Правда.

— Она достойна внимания еще и потому, что похожая трость появляется в одном рассказе Джеймса Джойса.

Так я получил в дар эту косвенную встречу с автором "Улисса". Двойная честь для меня — держать в руках трость Борхеса с мыслью о Джойсе. Я было возгордился, но тут же раскаялся: ведь для него я оставался просто студентом.

II

В "Книге песка" (1975) помимо притчи о короле и поэте есть рассказ "Другой". В нем описана воображаемая встреча самого Борхеса, каким он был в том 1969 году в Бостоне, с молодым Борхесом 1918 года, студентом Университета в Женеве, где они с семьей жили в годы Первой мировой войны. Этому молодому Борхесу, у которого уже тогда начались серьезные проблемы со зрением, другой Борхес со-

общает, что его ожидает в будущем: "Ты сможешь видеть одну только желтую мглу да еще отличать свет от тени. Но не бойся. В постепенной слепоте трагедии нет. Это похоже на долгий летний вечер"[1]. Один запоем читает Достоевского и Уолта Уитмена и вынашивает цикл стихов под названием "Красные псалмы"; другой, консерватор в своих политических взглядах, читает юноше строки далекого прошлого: "Не знаю точно, сколько книг ты напишешь, но их будет слишком много. Будешь писать стихи — они принесут тебе одинокую радость — и фантастические рассказы"[2].

Мне пришла в голову эта последняя фраза, когда Борхес повел разговор об истории испанского стихосложения. Я понимал, куда он клонит: встреча языков и наречий поверх политических границ как доказательство тщеты национальных притязаний. Я не мог сосредоточиться; в тот момент я надеялся избежать этой темы, направить беседу в русло борхесовской прозы, которую и сейчас люблю больше, чем его стихи. Но сладить с Борхесом было не так-то просто.

— Лопе де Вега подшучивает над отсылками Гонгоры к античным сюжетам и ставит в пример современной испанской лирике прозрачность Гарсиласо де ла Вега. Он забывает при этом, что Гарсиласо привез одиннадцатисложный стих из Италии. А стих этот слишком труден для слуха испанцев. Простому человеку под силу лишь восьмисложный стих. Уж я-то знаю, ведь я дружил с народными импровизаторами, *пайядорами*.

— Так вот почему восьмисложник вошел в народную поэзию. "Мартин Фьерро" написан восьмисложным стихом, — заметил я почти машинально.

— Но ведь у молодежи сейчас в принципе нет стихотворного слуха, — оборвал меня он, — молодежь просто не слышит метр. Причина, видимо, в том, что сейчас все хотят писать верлибром. Однако верлибр сложнее, чем принято считать. Потому что стоит нащупать метрическое единство, как остается только воспроизводить его дальше. По принципу сонета. А верлибр, на самом деле, устроен сложнее. Еще Стивенсон заметил, что проза по форме совершеннее стиха. Пишущий прозой не останавливается на одной теме, он продвигается на слух от одной темы к другой. Обратите внимание: "В некоем селе Ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго, чье имущество заключается в фамильном копье..."[1]

1. Х. Л. Борхес. История ночи / Перевод Б. Дубина. — СПб.: Амфора, 2001, с. 241—247.
2. Там же.

1. Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламаческий / Перевод Н. Любимова. — М.: Художественная литература, 1988.

Каждая следующая фраза завлекает нас, жителей этого мира, во вселенную "Дон Кихота". Сервантес сообщает читателю что-то новое в каждой фразе.

III

"Дон Кихота" Борхес впервые прочел в детстве. Он набрел на это издание Гарнье в библиотеке своего отца. Книга потерялась в 1914 году при переезде семьи в Европу. Годы спустя, по возвращении в Буэнос-Айрес в 1921-м, ему удалось достать такую же. В интервью "Борхес, дни и времена" (1984) писатель признался Марии Эстер Васкес, что бережно хранит именно это издание, рядом с которым, по его ощущению, все остальные "Кихоты" – апокрифы. Неслучайно в центре дебютного борхесовского рассказа – проблема романа Сервантеса. Прежде, помимо работы над стихотворными произведениями и эссе, Борхес публиковал в журналах отдельные вещи из цикла "Всемирная история бесславья" (1935), однако именно "Пьер Менар, автор 'Дон Кихота'" (журнал "Юг", май 1939) был впервые задуман как полноценный рассказ.

Полученная в 1938 году травма – Борхес ударился головой об оконную раму – вызвала заражение крови, от которого он едва не погиб. Пройдет не один месяц, прежде чем он поправится и вернется к чтению, а позднее к письму. Испугавшись, что болезнь отняла его поэтический дар, Борхес откладывает на время сочинение стихов, решив испытать себя в жанре рассказа. Уловка эта, в случае чего, позволила бы ему списать неудачу на простительную неопытность в новом для себя жанре. Вот в таких-то обстоятельствах родилась история Пьера Менара, француза графомана, оставившего после себя единственное свидетельство, заслужившее упоминания в некрологе: он подчистую переписал роман Сервантеса и не просто присвоил себе этот труд, но и вдобавок к тому рассудил, что книга его превосходит оригинал, поскольку, заключая в себе роман испанского классика, также предлагает комментарий к нему. Вот она, типично борхесовская ирония в адрес всей истории литературы: *mise en abîme*[1] как отрицание самой возможности творчества из ничего.

Конечно, другой на моем месте порасспросил бы Борхеса об этих тонкостях; но я двадцать семь лет назад не сумел сделать этого. Лишь догадался уцепиться за его упоминание "Дон Кихота" и высказать сокровенную мысль: а не считает ли он, что Сервантес учит нас в своей книге тому, как

1. Риторическая фигура, известная со времен античности, состоящая в том, что один повествовательный сюжет помещается внутри другого по принципу матрешки. В рассказе Х. Л. Борхеса "Пьер Менар, автор 'Дон Кихота'" использован именно этот прием.

нам следует держаться перед лицом истории?

– Один из персонажей заражается помешательством Дон Кихота и в конце концов укладывает героя на обе лопатки. Вам не кажется, что цель писателя – взрастить в каждом читателе Дон Кихота и таким образом изменить действительность?

– Не думаю, что смысл "Дон Кихота" в том, чтобы изменить нашу эпоху. По-моему, нам показывают, что есть другие способы быть счастливыми.

– Разве счастье – не в том, чтобы сделать мир лучше? – возразил я, забыв о почтительности.

– Да, мир нуждается в улучшении. Возможно, вы с вашей молодостью имеете основания думать, что он изменится.

– И вы, Борхес, вы тоже! Что в этом такого?

– Шопенгауэр сказал, что естественный предел человека – сто лет. Эта, в общем-то, чушь не лишена остроумия. Смерть от рака или любой другой болезни – такая же нелепость, как участь упавшего с лестницы или угодившего тигру в пасть. Все умирают до срока по причине болезни, то есть по чистой случайности. Про себя не знаю, от какой болезни умру. Предпочел бы от остановки сердца.

– Но если история не управляет нашими поступками, значит, для поэта нет времени, он бессмертен.

– А кто знает, есть время или нет его? "О смерть, приди беззвучно / на острие стрелы приди!" Правда красиво? Это строчка из "Нравоучительной эпистолы Фабио". Педро Энрикес Уренья (Санто-Доминго, 1884 – Буэнос-Айрес, 1946) както раз напомнил мне ее. Он читал блестящие лекции в Университете Ла-Платы, с тех пор как обосновался в Аргентине (1924). А умер он, спеша на поезд, который довозил его каждое утро до Университета. Его брат Макс, тоже преподаватель, погиб при схожих обстоятельствах. Любопытно, правда?

IV

1983 год. На экране комик пародирует Борхеса. В следующем номере он изображает тренера аргентинской сборной по футболу[1]. Скоро его артистический репертуар пополнит фигура министра иностранных дел при новом демократическом правительстве[2]. В этом же году,

1. Сесар Луис Менотти – легендарный тренер аргентинской сборной-победительницы чемпионата мира по футболу, проходившего в Аргентине в 1978 году, в самый разгар диктатуры. Радость от победы была омрачена жестокими политическими расправами. Военные власти пытались использовать спортивные успехи страны для укрепления собственных позиций. Об этом подробнее: Gilbert A, Vitagliano M. El terror y la gloria. La vida, el fútbol y la política en la Argentina del Mundial del 78. Editorial Norma, 1998.
2. Данте Капуто – выдающийся национальный политик, министр иностранных дел Аргентины в правительстве Рауля Альфонсина (1983 – 1989).

продержавшись у руля семь лет, военная диктатура, не сумев оправиться от поражения Аргентины в войне с Англией за Мальвинские острова (1982), сворачивает свою деятельность; демократические выборы назначены на октябрь 1983-го. Борхеса и до, и после знала вся страна, и, хоть читали его мало, он был на виду. Его портреты мелькали на страницах журналов, его часто звали на телевидение. Реальный Борхес и его медийный образ, казалось, подменяли друг друга, точь-в-точь как двойник *Doppelgänger* из его рассказов. Журналисты желали знать мнение слепнущего писателя о футболистах, о правописании, о направлении ветра. Борхес отвечал на любые вопросы; ироничный и франтоватый, он показывал публике в трагическом зеркале чинимый ею фарс. Он смахивал на мастера перформанса, переодетого мудрецом Терезием, в стране, которую заносило на виражах ее ада.

За месяц до интервью у Борхеса вышла новая книга, "Девять эссе о Данте". И я решил, что это удачный повод побеседовать с Борхесом о "Божественной комедии":

— В начале поэмы мы встречаем несомненно живого Данте. Да, поэт задумал оставить греховную жизнь, но поквитаться с жизнью не входило в его планы. И вот в конце поэмы Данте попадает в Рай. Что же получается, Данте умер?

— У меня не возникло такого впечатления, — процедил Борхес; впервые за время разговора на его лице отразилось нетерпение. — Данте сейчас в Раю.

— Я, наверное, ошибся.

— Оттого, вероятно, что, как говорил Шопенгауэр, изображать или воображать Ад тем проще, что мы в нем живем. Небо, напротив, отдалено от нас. В течение дня нас посещает хотя бы минутная грусть, правда ведь? Вот центральная мысль "Улисса", где Джойс описывает один день из жизни двоих дублинских обывателей.

— Понятно. Но все-таки в какой момент по сюжету Данте умирает?

— Вы о смерти? Что вы, оказаться в Раю — это счастье. Другой вопрос, верил ли сам Данте в то, о чем писал? В одном месте он говорит, что никому не дано предугадать волю Провидения, а между тем Данте пытается это делать на протяжении всей поэмы. И все равно, кто бы что ни думал, я считаю, что красота — важная вещь. Ее-то мы и должны искать в книгах. Важно ее найти.

— В рассказе "Зеркало и маска" поэт в конце концов создает произведение совершенной красоты. Тогда король протягивает ему кинжал, и поэт убивает себя, а сам король покидает дворец и становится бродягой. Оба, король и поэт, перешли черту, прикоснулись на миг к абсолюту, и путь назад оказался для них закрыт.

— Это славная история. Пора бы ей уже состариться и

уйти на покой. Вообще-то, вы — первый, кто о ней со мной заговорил.

Я промолчал. Остерегся напомнить ему, что час назад он заявил мне прямо противоположное. Видимо, истинный смысл его слов ускользал от меня. Король дарит поэту зеркало, чтобы тот вгляделся в себя, прежде чем переправить написанное, затем — маску, чтоб скрыл свое лицо, берясь снова за труд, и, наконец, кинжал. Я не успел поделиться с Борхесом своими соображениями, так как за ним пришли, и он засобирался куда-то в город. Мы расстались на том, что нужно встретиться снова. Я предложил себя в качестве чтеца, и Борхес, повторяя про себя мою фамилию, ответил, что можно попробовать почитать "Неистового Орландо". Я так и не набрался храбрости позвонить ему. Двадцать семь лет спустя я слушаю кассету с записью того дня. Мой голос звучит как-то странно, и все кажется странным. Раздается бормотание Борхеса: "То, что принято называть разговорным стилем, на самом деле только *кажется* таковым. Ведь в обычной речи мы проглатываем фразы, запинаемся, а для крепкой прозы это не годится". Невольно улыбаюсь. Изношенная пленка рвется, приходится с бережностью, в быту мне не свойственной, разобрать кассету и вставить ленту в другой корпус. Время не стоит на месте, и мне особенно не из чего выбирать: я достаю из секретера кассету со старыми песнями Боба Дилана. Голос Борхеса спасен, а я начинаю писать, иногда поглядывая на дождь за окном.

Буэнос-Айрес, июль 2010

Наталья Ванханен
Аргентина манит негра

Хоть я и называюсь испанистом, это ничего не значит: в голове крепко засели детские формулировки и выскакивают при нажатии соответствующей кнопки — такое устройство. При слове "Аргентина" выпрыгивает палиндром "Аргентина манит негра", а к хвосту его тотчас примагничивается "а роза упала на лапу Азора" — просто так, по наличию многочисленных "а". Фраза "Le metro de Buenos Aires est très coquet" из учебника французского языка — автор Може — уже более оригинальна и индивидуальна. Так она и всплывает не сразу. Поэтому когда мне ни с того ни с сего в разгар дежурной уборки вдруг позвонили:

— Поедете в Аргентину? На три дня? — я в ответ сразу: — Аргентина манит негра, le metro de Buenos Aires est très coquet.

Там обиделись.

А ведь могла бы вспомнить что-нибудь посерьезнее. Ну, хоть свои переводы аргентинской поэтессы Альфонсины Сторни. Дело давнее, но ведь было же. Или стихи Гарсиа Лорки о страданиях галисийских эмигрантов в Буэнос-Айресе:

Где шумит Буэнос-Айрес
Над большой рекой
Ла Платой,
Влажным ртом в волынку
дует
Ветер северный крылатый.

Тоже кстати мой перевод. Или, скажем, как вскоре после Университета делала в издательстве "Художественная литература" сборник "Аргентинские рассказы". Там вообще была драма. В "Худлит" меня взяли младшим редактором. Это, по идее, такой бодрый секретарь-Фигаро, который всем во всём должен помогать. Он считывает рукописи, ведет их учет, бегает отправлять почту, приглашает авторов на редсовет, покупает сотрудникам помидоры, заваривает чай и т. д. А если он будет со всем этим хорошо справляться, ему когда-нибудь дадут делать книгу, и тут наступит блаженство. Словом, как в сумасшедшем доме: когда научитесь плавать, вам в бассейн водичку пустят. Плавать я никак не научалась: считывала неаккуратно, авторов в телефоне по голосам не различала, переписку директора с главным бухгалтером по-

© Наталья Ванханен, 2010

чему-то засылала в Португалию — это по тем временам вообще был политический выпад непонятного свойства. Так что книгу мне очень долго не давали. И вдруг, годика каких-нибудь через три, подарок — на, делай "Аргентинские рассказы". Редактируй то есть. И случилось так, что этой-то книге и суждено было открыть родному советскому читателю аргентинского классика, знаменитого Борхеса. Об этом в "Литературной газете" рассказала несколько лет назад Элла Владимировна Брагинская, замечательный переводчик-испанист. Она была составителем книги, а ее повествование, так сказать, вид изнутри и сверху. Поэтому я всё-таки добавлю два слова — вид снизу — для полноты картины: чтоб понятно было, чем, наверное, в дальнейшем руководствовалось провидение, посылая меня на три дня в Аргентину.

С мечтой подарить Борхеса русской словесности уже тогда, в середине семидесятых, носился молодой переводчик Борис Владимирович Дубин. Носился он совершенно напрасно: на самом верху Борхеса не только не читали, но и не одобряли. А тут такой случай — книжка рассказов. Туда можно Борхеса незаметно подсунуть, как птенца в гнездо, глядишь, никто и не заметит, и полетит он потом на равных с другими птенчиками. Зато можно будет в дальнейшем книгой потрясать, говоря: "Вот, 'Худлит', самое авторитетное издательство СССР, напечатал, значит и другим можно!"

Такой вот стратегический ход. А мне что? Я ни про какой скандальный ореол вокруг Борхеса понятия не имею. Беру дубинский перевод рассказа "Сад расходящихся тропок" и редактирую наравне с другими. Очень даже хороший рассказ, говорю, интересный. И вдруг — бомба. Маленькая такая, но очень взрывоопасная бомбочка. Журнал "Иностранная литература" публикует крошечную заметку, петитом: *аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес принял премию от Пиночета.* Нехорошо вообще-то сделал — мы за Чили все очень переживали. Я бы лично не стала от Пиночета ничего принимать. Так бы прямо и сказала: чем я так провинилась перед мировой литературой, что нравлюсь диктатору Пиночету? Но то я, которой Пиночет, собственно, ничего и не предлагал. Борхес же решил этот вопрос иначе и поставил московского младшего редактора перед фактом.

Я — к переводчику: — Боря, — говорю, — твой Борхес принял премию от Пиночета. Скандал будет. Что же нам теперь делать?

А Дубин смотрит на меня так отстраненно-туманно и говорит: — А вот этот вопрос каждый решает для себя сам, на своем месте.

И я понимаю: либо я бегу вверх по лестнице, к директору, с ябедническим криком

"Борхес принял премию от Пиночета!" — либо делаю вид, что ничего не знаю, и тогда за мной сверху довольно скоро сами придут. Выговор в "Худлите" получали и за более мелкие оплошности. И тут меня осеняет радостная мысль: "Меня выгонят!" Дело в том, что втайне я мечтала, чтобы меня выгнали. Дома категорически возражали против моего ухода из редакции: "Такое издательство! Где ты такую работу еще найдешь?! Не ценишь своего счастья!"

Между тем редактирование аргентинских рассказов не принесло обещанного блаженства, а заваривать чай мне надоело.

Вот так в Советском Союзе впервые был напечатан Борхес, и им действительно потрясали, что и дало свои положительные результаты. Сомневаюсь, что в моем поведении можно усмотреть хоть какое-то гражданское мужество.

Чтобы закончить эту историю, скажу: меня не выгнали. Только однажды пригласили на партсобрание. Когда беспартийного приглашают на партсобрание, это — для тех, кто не знает, — ничего хорошего. Мой случай разбирался под занавес, в рубрике "А теперь о неприятном". Однако зам. главного почему-то смягчил удар — на редкость добрый поступок, если учесть, что большим либералом он не слыл, скорее наоборот. Сказал: редактора злополучной книги мы даже не будем называть по имени, так как он очень молодой и неопытный. Тут я открыла рот и выпучила глаза, пытаясь подтвердить свою неопытность. Думала даже пустить струйку слюны в доказательство врожденного идиотизма, но спохватилась, сообразив, что и так, кажется, обойдется. Потому что одно дело хотеть, чтобы тебя выгнали, а другое — когда тебя выгоняют на самом деле.

Так что Аргентина для меня не звук пустой. Правда, когда тебя зовут на край света на три дня, поневоле подумаешь: это чья-то не очень удачная шутка. Потом все как-то разъяснилось: лететь предлагают на Международную книжную ярмарку и там надо будет прочесть свои стихи по-русски и по-испански — по-русски, потому что много наших эмигрантов разных волн, а по-испански, потому что всё-таки Аргентина. Чтение небольшое, где-то на полчаса, а остаток времени на сцене будет играть фольклорный ансамбль "Терем" из Петербурга. Лететь восемнадцать часов, чтобы там полчаса послушали твои стихи? В этом есть что-то величественное, подумала я.

И все-таки поинтересовалась:

— А за три дня я там хоть что-нибудь увижу?

— Вам покажут площадку, — был ответ.

Мне представилась песочница с навесом-грибком.

Просто я не сразу сообразила, что речь идет о месте, где мы будем выступать. Заманчивая перспектива...

Пересадка с самолета на самолет была в Милане. В "Duty free" давали недорогой "Лимончелло", но надо было торопиться. Поразило, какую пропасть народа вбирает "боинг": вот только что тут была огромная очередь, которую и просторный зал не вместит и вдруг — раз! — всех мгновенно всосало. Прямо какая-то труба пылесоса.

Моей соседкой справа оказалась общительная молодая девушка откуда-то из Малайзии, не говорившая ни на одном из известных мне языков. Соседом слева был очень предупредительный и тихий мужчина, за весь полет не произнесший ни слова. Языков он, видимо, не знал и разговаривать со мной, заведомо иностранкой, не пытался. Когда среди ночи ему понадобилось выйти, и я сделала попытку встать, чтобы его выпустить, он успокоительно запротестовал жестом — мол, не надо, не надо, не беспокойтесь, — как был, в носках, бесшумно вскочил на подлокотник, пробежал по спинкам кресел и спрыгнул в проход. Точно так же он вернулся назад. "Цирковой", — с уважением решила я про себя. Так мы и пролетели, абсолютно молча, при необходимости объясняясь жестами почти сутки, а перед самым приземлением к нему из другого салона зашел друг. "Ну, як ты тут, Петро?" — спросил он. Оказалось, они наши, украинские, моряки, едут работать в Антарктику — там наших кораблей полно. Может, я тайну какую государственную разглашаю? Бывает.

Так как весь полет мои соседи молчали, я общалась исключительно с большим экраном в головах нашего салона. Засыпала ли, просыпалась — сразу взглядывала: где мы сейчас? Экран давал карту мира, и над ней скользил маленький серебристый крестик — наш самолетик, такой хрупкий, беззащитный. Малюсенький такой "Боинг". Все относительно.

Испания, Африка — както быстро они промелькнули. Вот и последний крупный населенный пункт в нашем полушарии — Дакар. Дальше — Атлантика. Надо же, оказывается Африка — наш родной континент! Кто бы мог подумать, в первый раз это понимаю. Дальше — океан, неизвестность. Как было написано на камне в одной португальской деревушке: "Здесь кончается суша и начинается море". Я когда это прочла, страшно, помню, разволновалась. Даже озноб пробрал.

Атлантика была бесконечной. Летишь и думаешь: внизу-то вода! А вдруг мы упадем? Ничего, я отлично плаваю. И сама себе: ты что, "Титаник" не смотрела, как он там разламывается пополам, и всех утягивает в воронку? Ничего, я умею плавать, выплыву. И

мой сосед выплывет, вон он какой ловкий. Хотя, если человек хорошо прыгает, это еще не значит, что он хорошо плавает. Вот с малазийкой хуже. У нее на лбу написано, плавать она не умеет. Как ее тогда вытаскивать? Всё! Сплю, сплю. Открой глаза, будь начеку — внизу-то вода! Нет, сплю.

Когда нос самолета на экране ткнулся в бразильский берег, обрадовалась: всё! земля, скоро посадка. Не тут-то было. Полет по кромке океана вдоль Бразилии был нескончаемым. Даже Атлантика померкла. "Сан-Пауло самый густонаселенный город на континенте", — сообщал экран. Там что-то страшное в этом Сан-Пауло. Двадцать миллионов? Двадцать пять? "Плотность населения на квадратный метр..." Не помню. Ошеломляющие какие-то цифры. Как они там живут? Жара, духота, а они стоят на своем квадратном метре вплотную друг к другу, все в поту. А вдруг мы на них свалимся? Уж лучше бы мы плавали в океане!

В последний раз по поводу нашей безопасности мне пришлось поволноваться перед самым приземлением, когда нам выдали миграционные листки — въездные декларации, которые надо заполнять: где родился, с какой целью летишь... Заполнять надо было по-английски. Моряк, и малазийка бросились ко мне за помощью. С моряком все было просто: село Н. под Киевом. А вот с малазийкой вышла какая-то путаница. Я никак не могла разобраться в ее паспорте. На одной строчке сказано — проживает в Лондоне, на следующей что-то совсем другое. С местом рождения вообще беда, я и слов-то таких не знаю... Помучившись, я попыталась объяснить — не справляюсь, попроси еще кого-нибудь, но она только улыбалась во все свое круглое лицо и весело отмахивалась смуглой детской ручкой: пиши, мол, пиши хоть что-нибудь, это же не важно, пустая формальность!

Холодный пот меня прошиб, когда я увидела дату ее рождения. День и месяц у нас совпадали, только год был, конечно, другой, совсем недавний. А я за всю жизнь всего одного человека встретила с такой же датой. Знаю, правда, еще троих, с которыми познакомиться, по различным причинам, не имела чести. Это Сент-Экзюпери, Огюст Роден и актриса Людмила Гурченко. Заглянула в паспорт молчаливого моряка. И увидела день и месяц рождения моей матери. Это уж слишком! Таких совпадений просто так не бывает. Что бы это могло значить? Что-что! Упадем, вот что! Это в основном и бывает при посадке!

Может сложиться впечатление, будто я какая-то чересчур мнительная и трусливая. Честное слово, это не так. Просто я маме сказала, что еду на три дня на дачу к под-

руге — зачем ей лишний раз волноваться? А если мы паче чаяния свалимся, она узнает, что я ей соврала. Она этого страшно не любит — тогда мне вообще неизвестно, как выпутываться!

Слава Богу, все кончилось благополучно. Правда не совсем и не для всех.

Прилетели мы таким ранним утром, что оно еще и не наступило. И тут же, прямо в аэропорту мою малазийку арестовали. Надели наручники и увели прямо с паспортного контроля. Продолжая улыбаться, она помахала мне маленькой ручкой. Господи, неужели это из-за того, что я неправильно заполнила ей декларацию? Неужели это я виновата? И так всяких прегрешений за жизнь хватает, а тут еще это на моей совести! Я уж себя утешала, как могла.

Зачем же сразу предполагать самое худшее? Может, у нее просто чемодан был полон наркотиков? Или она удушила в колыбели младенца, хоть и не похоже. Может, она вообще Мата Харри?

Мне, в отличие от малазийки, повезло меньше: меня вообще никто не встречал. Два часа я назойливо приставала к незнакомым мужчинам. Мол, вы случайно не меня ждете? И вижу, что у него в руках табличка с другой фамилией, а все равно лезу: а вы случайно... Некоторые шарахались. Потом я утомилась и затихла — все-таки очень хотелось спать. Через два часа появился прилетевший из Питера квартет "Терем", и за нами приехали. Я так обрадовалась, что даже забыла обидеться. Совсем как моя собака. Оставишь ее на целый день без воды, без еды, да еще закроешь по рассеянности в темной ванной. Явишься к вечеру, а она так рада!

У музыкантов были разные инструменты, но воображение поразил один — гигантская, в рост человека, балалайка. Никогда ничего подобного не видала.

А теперь самое главное. Если меня в лоб спросят: "Что вас поразило в Аргентине?" — я без запинки отвечу: "Дождь". Хотя, казалось бы, дождем нас не удивишь.

Это был какой-то вечный неизбывный фон нашего пребывания. Сильнее, слабее, он шел все время. Уже в Буэнос-Айресе нам сказали: "Сегодня еще пустяки. Не дождь, а так. Вот вчера лило — это да! Из-под капотов вычерпывали. Что вы хотите, осень — апрель!"

И хотя теоретически я знала, что в южном полушарии оно так и есть, однако лишь теперь прониклась этой мыслью по-настоящему. То есть когда собираешься переводить аргентинского поэта и читаешь у него "апрель", понимай, что речь пойдет об осенней тоске или о закате любви, о болезни, старости, печали, но уж никак не о первых цветочках и птичках. И еще дождь у них играет в настроении ту же роль, что

у нас снег. Это таинственный, примиряющий с неизбежным знак конца года.

— Вот, — радостно обращаясь к "Терему" сказала я, — приехали! Сейчас на мир посмотрим. На Аргентину то есть.

— Чего тут смотреть-то? — откликнулся кто-то из музыкантов. — Ничего тут нет интересного.

Вот, думаю, счастливцы. Ничего, кроме собственного выступления, не интересует — мне бы такую целеустремленность! Но чего нет, того нет.

Автобусик бежал в столицу. Вокруг стелилась довольно грустная — апрель! — равнина в серой завесе дождя. Время от времени мелькали беленькие, явно не старинные, церкви.

Номер в гостинице оказался без окна. С лампой дневного света. Глаз радовала только цветная гравюра на античную тему с красивыми юношами и девушками. Я ее даже сфотографировала.

С улицы доносился грохот дождя по карнизу, шипели шины, разбрызгивая воду. Сейчас потолок разверзнется и оттуда ливанёт хорошенько, как в фильмах Тарковского. Наши монтируют выставку, выступление завтра, нельзя терять ни часа, скоро домой, "где шумит Буэнос-Айрес"... Я совсем немного поспала, часа три. И вышла под дождь. Кстати, любопытно бы подсчитать, сколько раз фраза "Он вышел под дождь" встречается у аргентинских писателей. У Кортасара, у Борхеса. Уверена, любопытная была бы статистика.

Мне повезло. К подъезду подкатил городской экскурсионный автобус, и я в него прыгнула. Ура! Заплатить несколько аргентинских песо и...

А кстати, в какой стране больше инфляция: в той, где ходят одни только очень старые купюры или там, где одни только свеженапечатанные? Я-то в этом ничего не понимаю. В Аргентине у денег вид, как правило, потрепанный. Не такой, конечно, как в Египте, где до бумажки страшно дотронуться, а каирские торговцы на рынке, к моему ужасу, держали пачки этих кишащих микробами банкнот во рту, чтоб не спёрли чего ненароком! Нет, в Аргентине деньги, конечно, не такие старые, но и не новенькие, как у нас...

Итак, я еду! Какой божественный момент! Никто в целом свете не знает, где я! Что тут божественного? Не знаю. Переход в другое измерение что ли.

Мы ехали по могучему, стройному, красивому городу правильной планировки, со следами финансового процветания вековой примерно давности. Сужу по помпезным банковским зданиям, похожим на мадридские. Я не буду прибавлять "сквозь дождь". Каждый может сам подставить эти слова к любо-

му месту моего рассказа, для полноты картины.

Самый центр, широченный проспект 9 Июля — шире нашей Тверской, по-моему. Многочисленные кафе. Мелькают приметы стиля модерн начала века XX. Очень богатый, местный, колониальный модерн. Европейский город с белым в основном населением. Похоже, Аргентина, вопреки расхожему мнению, не столь уж и манит негра. Париж гораздо разноцветнее, не говоря уж о Лондоне. Дальше улицы становятся более древними, дремучими что ли. Это старинный район Сан-Тельмо. Встречаются и сохранные дома XVI столетия, и совсем руины, и выбитые пустыри — не утрудились, не сберегли, наверняка было тут что-то очень интересное, а теперь монстеры какие-то плющеобразные вьются по щербатым стенам, дрыхнут бродячие собаки, бомжи перетаскивают с места на место нескончаемое количество своих вещей. Вы замечали, что больше всего вещей у бедняков? У миллионера только упаковка бумажных платочков да банковская карточка во внутреннем кармане пиджака, а у этих тюки, мешки. У нас и отечественные примеры, конечно, найдутся, не надо далеко ходить, но всё же рекордсменкой по количеству нажитого добра была одна бездомная мадридская старуха с улицы Ареналь. Я наблюдала, как она около часа переносила свои мешки и сумки с солнечного угла улицы в тенистый. Она только так и передвигалась, с тюками. Возьмет два, перетащит, потом еще. Будь она пауком, роскошную бы сплела за это время паутину.

Мелькнули купола русской православной церкви — не почудилось ли?

А вот и район, какого в Европе не сыщешь. Ла Бока, то есть устье. Это портовая зона. По настоящему-то весь Буэнос-Айрес — порт, но в фешенебельной части города оно как-то забывается, хотя все жители столицы шутливо называют себя *портеньос* — портовые ребята. В анамнезе самого что ни на есть интеллектуального портеньо, как бы он это ни скрывал, обязательно наличествуют две вещи: футбол и танго. Ла Бока — родина и того, и другого. Здесь прошло детство футбольного гения Диего Марадоны. Здесь находится стадион, носящий его имя. Болельщикам-пилигримам разрешают к чему-то там приложиться (боюсь наврать — к его футболке что ли?), совсем как к туфле святого Петра в Ватикане.

Ла Бока поражает раскраской домов, какой вообще в серьезном взрослом городе быть не может. Разве что в Диснейленде. Маленькие, в кажущемся беспорядке раскиданные домики раскрашены в ярко-красный, ярко-синий, ярко-желтый, ярко-зеленый цвета. Розовый тоже в

большом почете. Не улица, а рассыпанная упаковка детских фломастеров.

Причем не то, что каждый дом своего собственного цвета, а так: верхняя часть стены желтая, нижняя — фиолетовая, а двери голубые и белые. Вид очень веселый и декоративный. Даже слишком. Трудно поверить, что вся эта красота возникла от тоски и безнадежности. Портовый район Ла Бока был самым бедным, заброшенным и бесперспективным. Чтобы как-то поднять настроение, кто-то придумал раскрасить поярче серые будни его обитателей. И вот что получилось. Теперь здесь полно туристов, особенно по выходным, когда на местных улочках бушует блошиный рынок. Обалдевшие от нереальности окружающей среды иностранцы кочуют из кафе в кафе, наслаждаются песней и танцем танго.

Танго тоже появилось на свет тут, в Ла Бока, в восьмидесятых годах позапрошлого века. Долгое время только тут и танцевали этот чувственный до полного неприличия танец моряка, который после полугодового плавания сошел на берег и увидел в таверне красивую девушку нестрогих правил, — увы! — недавно обрученную с другим таким же моряком. И теперь ему надо отбить ее у того моряка при помощи интенсивных и обольстительных телодвижений. Отбить и увлечь за собой. Только в 20-х танго перекочевало на подмостки модных кафе в центре Буэнос-Айреса, где его затанцевала молодежь из хороших семей, а позже голос Гарделя разнес его мелодию по всему миру.

В начале нашей поездки по городу экскурсовод попросила разрешения сфотографировать, каждого по отдельности, всех четверых своих экскурсантов, у которых любопытства было больше, чем воды в местных тучах. Сказала: "Это бесплатно, потом будет сюрприз".

Вот он сюрприз — стоит перед моим компьютером и сейчас. Это я с розой в волосах, в красном, с разрезом, платье для исполнения танго страстно обнимаю литой чугунный, тоже красный, фонарный столб на фоне разноцветного дома в форме куска торта, у которого срезан острый уголок. Над дверью дома надпись красивыми красными буквами: "Caminito. Tango." Бесплатный сюрприз обошелся мне в сорок долларов. А что было делать? Нельзя же было отказаться и бросить себя в таком виде в самом злачном районе города! На самом деле я рада. Мне приятно вспомнить тот день и прочитать над своей головой кокетливое с наклоном "Буэнос-Айрес".

"Caminito" — это и название улицы, и кафе, а главное — легендарное старое танго. Песня-танго. "Caminito" — это "дорожка", "тропка". Вот, что там поется: "Дорожка, ко-

торую стёрло время, где прошли мы вместе с милым, теперь я иду здесь одна, по заросшей дорожке". Ох, что-то мне это очень напоминает! Ну конечно: "Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки". Появилось это танго в 20-х, на 20-е же приходится и большой наплыв выходцев из России. Не возьмусь утверждать, что танго изобрели русские, но много есть разных неожиданных сближений, совпадений в культурах — таких загадочных совпадений! И в аргентинских танго, и в португальских фадо так много от русского романса. Или наоборот?

Русский след в Аргентине вообще довольно заметен. Купола православной церкви мне не померещились, это был собор Святой Троицы в районе Сан-Тельмо. Поставили ее при Николае II. К нему обратились, и он откликнулся. Теперь в храме в благодарность сияет серебряная доска: "Царю Николаю, мученику". А тогда специально из России даже привезли землю, так что стоит православный храм на русской земле, хоть и в Буэнос-Айресе.

Вообще-то портеньо, сами в большинстве своем католики, долгое время полагали, что русские не христиане, а исповедуют иудаизм. Объяснялось это заблуждение тем, что после черносотенного разгула 1905 года в Аргентину перебралось множество российских евреев. Они принесли с собой три русских слова: "pogrom", "samovar" и "rasputin". Эти слова вошли в испанский язык, хотя украсил его, на мой взгляд, один только "самовар". Вдобавок "pogrom" вошел во множественном числе — "pogroms", что для русского уха звучит как-то подобострастно, будто угодливый лакей отвечает строгому барину:

— А что это у вас там, любезный, за шум?

— Погром-с.

Что касается путаницы с вероисповеданием, то, в конце концов, Аргентина далеко — простительно и не знать, что там, в этой заснеженной России, исповедуют. А вот, ради интереса, разговор моей русской подруги с европейцем — испанским священником:

— Ты католичка?

— Нет, православная.

— Ну, раз ты не христианка, я тебе объясню, в чем суть святого причастия.

Но это к слову.

Что говорящих по-русски в Буэнос-Айресе очень много, я убедилась в день нашего выступления. Конференц-зал в русском павильоне оказался огромным. Когда мне, как и обещали в Москве, "показали площадку", я ужаснулась: это пространство ни за что не заполнится! Но оно заполнилось. Целиком! Многие даже стояли по бокам, в проходах. Слышалась русская и украинская речь, часто — русская с призвуком украинско-

го говора. Ну и испанская, само собой.

Почему-то очень долго не начинали. Зал набит, но чего-то ждут. Потом все встали: звучал гимн Республики Аргентина. Меня предупреждали — аргентинцы большие патриоты. Не важно, что страна, так сказать, сборная мира по выживанию. Всё равно все большие патриоты. Похоже, так оно и есть, во всяком случае, публика пела гимн со словами! Наизусть! Потом заиграли наш гимн... Вообще-то мы не виноваты, что в нем слова три раза переписывались. "Нас вырастил Сталин на верность народу" или как? А-а, ладно, кончилась музыка...

Опять чего-то ждали. Пятнадцать минут. Двадцать. Полчаса. "Сейчас все разбегутся", — паниковала я. Но никто не разбегался.

Меня попросили:

— Читайте поменьше. Уже времени нет.

— Сколько? — спросила я, припомнив полет над Атлантикой. — Сколько читать?

— Не больше двадцати минут.

— А почему не начинают?

— Два российских чиновника, из начальства, поехали водопады смотреть. Их ждут.

Наконец на сцену взбежал ведущий и выкрикнул восторженным тоном: "У нее дар! Я даже не знаю, откуда у нее это!! Наверное, от Бога!!!" Я с интересом слушала, ожидая выхода местной иллюзионистки, но он вдруг назвал мою фамилию. Спокойно — видимо, здесь такой стиль!

Уже когда я стояла на сцене, сзади шепнули:

— Читайте пятнадцать... нет... десять... да, лучше десять минут.

Вот тут-то мне бы и нависнуть над залом и выкрикнуть гневно в микрофон во весь голос:

— Не для того я летела к вам, дорогие слушатели, восемнадцать часов! Не для того врала про дачу родной матери! Не для того страдала за Борхеса на партсобрании! Не для того, кстати уж, писала стихи, черт меня побери совсем! Не для того наконец, боясь пропустить рейс, не купила я в Duty free любимый свой "Лимончелло" по очень, между прочим, доступной цене по сравнению с ценами у нас в Выхино — а ведь как он мне тут после дождя-то пригодился бы, сами сообразите! — не для того, чтобы мое выступление сокращали до жалких десяти минут из-за того, что какие-то там важные дядьки поехали смотреть знаменитый водопад Игуасу, которого я никогда в жизни не увижу, если, конечно, не попрошу в вашей замечательной стране политического убежища! А я этого не сделаю, потому что не только вы тут все патриоты, но и исконно русский человек Ванханен тоже, между прочим, большой патриот, хоть и не знает слов своего гимна. А ведь если бы я поехала на водопады, я бы, может,

написала оду, как Державин, а эти все равно ничего не напишут — и бессмысленно было переводить на них ваш государственный бензин!.. А читать я вам буду, сколько сочту нужным. Час по крайней мере, потому что для того, чтобы понять немножко поэта, уж час-то своей жизни надо ему уделить. И — вот увидите — вы совершенно об этом не пожалеете!..

Вот что надо было бы им тогда сказать — до сих пор жалею, что не сказала! Но ведь для этого надо быть Владимиром Владимировичем Маяковским или Львом Давидовичем Троцким — да помню я, помню, что мы не в Мексике, какая разница! Надо быть Евгением Александровичем Евтушенко наконец! А я — не они.

Поэтому я молча обиженно кивнула, прочитала пять стихотворений и спустилась в зрительный зал, опасаясь, что неведомо зачем удержанный в рамках приличия темперамент того и гляди разорвет меня в мелкие клочья.

Села, взяла себя в руки и приготовилась слушать квартет "Терем".

Музыки очень ждали. Это было заметно по тому, как в зале оживились, заерзали, нетерпеливо захлопали, особенно при виде большой балалайки.

И выступали ребята виртуозно — ясно, что настоящие артисты. В них играло всё — от выражения лица до светового зайчика на носке ботинка. И все же они сделали одну серьезную, непоправимую ошибку: они играли *не то*.

Если бы хоть чуть-чуть, хоть самую малость они интересовались чем-нибудь еще, кроме своих струн и палочек, они учли бы, что к ним придут эмигранты, за сто лет не утратившие языка нашей общей родины; те, у кого в глазах, если приглядеться, отчетливо проступает отражение пшеничного поля с синими брызгами васильков, с сухим пыльным большаком, по которому прошла когда-то девчонкой их покойная бабушка, не раз повторявшая потом своим аргентинским внукам: — Глядите, глядите, Митенька, Машенька, в самовар: вон она, тропочка-то в поле, так и вьется! Вы уж ее, миленькие, не забудьте!

Эти люди пришли сюда погреться. Может, даже всплакнуть. Им хотелось в чистом виде услышать любимую "Калинку" или "Во поле береза", а не виртуозный музыкальный стёб на тему, как обработал бы эти песни Рахманинов, если бы он был не классическим пианистом, а леворучным балалаечником. Поэтому ребятам, конечно, хлопали, но, наверное, чуть меньше, чем они привыкли. Однако после концерта все равно радостно окружили, хвалили, расспрашивали. А в моей жизни в этот момент появились Рене и Беатрис.

Беатрис потом призналась: "Мы подумали — там

полно народу, а этой, может быть, одиноко, вот и решили подойти, ободрить. И вообще нам понравилось. Жалко, что мало".

Рене прекрасно говорит по-русски. Он испанец, гуманитарий, закончивший Московский университет. Жил в Москве, потом вернулся домой, в Испанию. Дальше поехал работать в Мексику, но там разразился кризис. Перебрался в более благополучную Аргентину, но кризис нагнал его и здесь. С трудоустройством непросто, жить нелегко. Беатрис работает на радио, ведет культурную программу. Я смотрю на ее очень длинные, мелко вьющиеся, светлые волосы, светлые же глаза и тонкий профиль и говорю, что она похожа на итальянку. Она смеется: совсем не похожа, но догадались вы правильно — отец по происхождению итальянец. Нет, говорю, похожа, похожа — есть такие портреты флорентинок эпохи Возрождения. Прямо удивительно, какой сохранившийся тип. А я-то думала, что он чуть-чуть придуманный, воображенный художниками.

Мы больше не расстаемся, и у меня начинается новая жизнь. Утром — стоит ли говорить, что идет дождь? — Рене заходит за мной в гостиницу, и мы отправляемся познавать Буэнос-Айрес так, как и следует познавать город — пешком. Болтаем то по-испански, то по-русски. Москву конца семидесятых Рене вспоминает с радостью: веселое, бесшабашное студенческое время, общежитие на Ленинских горах. У нас обнаруживаются общие знакомые. А тот, что сейчас делает, а этот где? Господи, и это беседа на другом конце света! Говорят же, что к определенному возрасту через каждые десять человек можно встретить знакомого или знакомых знакомого. В моем случае, кажется, через три человека. И до чего же все-таки един мир! Только бы об этом потом не забыть...

Рене мечтает переводить Чехова. Здесь Чехова вообще очень любят, но Рене уверен, что знает особый ключ к нему: "Конечно, Чехов в значительной мере переведен, но мне все кажется недостаточно тонко, не так! Я бы сделал совсем по-другому и знаю, как. Вот только, кто закажет новый перевод? В Аргентине некому его заказать. Здесь вообще — кризис. Может, в России кто-нибудь найдется, как думаешь?"

Мы заходим в знаменитое "Кафе Тортони". Это как "Куполь" или "Ротонда" в Париже, как "Греко" в Риме. Здесь встречались поэты, писатели, художники, музыканты. Вон их портреты — по стенам. Смотри-ка, Лорка! А вон там, за дальним столиком, прямо вживе сидят Борхес и моя Альфонсина Сторни. Восковые фигуры, конечно. Вот так встреча! А возле них стоит, кажется, Гардель. Это старейшее заведение Буэнос-

Айреса, существует с 1858 года. До чего здесь добротно, уютно, до чего основательно. Кажется, сами коричневые мраморные колонны пахнут шоколадом; в воздухе аромат хорошего кофе; лампы, плафоны в стиле art deco.

Потом... правильно, выходим под дождь. Как это вы догадались?

Мы идем мимо Каса Росада — это Дом правительства. Переводится как Розовый дом. У нас и у американцев Белый, а тут — Розовый.

— Слушай, Рене, а в Буэнос-Айресе есть попугаи?

— Есть. В клетках.

— Нет, так чтоб по улицам летали? Здесь же юг.

Я вчера правда видела двух ярко зеленых птиц. Они клевали что-то в сквере, в компании воробьев, а потом улетели — вспугнула нечаянно.

— Это тебе со страху почудилось. У нас их нет. Разве что улетели у кого. Хотя, может, из Бразилии занесло?

Еще одно чисто местное явление — выгуливатель собак. Есть тут такая профессия. Идет парень, а вокруг него буквально клубятся крупные собаки, штук по десять-пятнадцать, на коротких поводках. Издали кажется, что надвигается многоголовый дракон. Непонятно, как парень умудряется их вести. И куда? По дороге собаки не успевают справить нужду. Вот один ухитрился с грехом пополам, а остальные? Если этим и ограничивается прогулка, как они живут? Надо расспросить Рене поподробнее.

А вот Кафедральный собор. Никогда бы не подумала. Похож на светское здание, на Большой театр. Только колонн больше. Впрочем, у нас тоже есть собор с колоннами — Казанский. Собор Буэнос-Айреса старинный; строительство начато еще в XVI веке.

В нем часовня-усыпальница с торжественным мраморным надгробием. Траурно горят факелы, сменяются в почетном карауле гренадеры. Здесь покоится национальный герой Аргентины генерал Хосе де Сан-Мартин, борец за освобождение от испанского господства. Его в Латинской Америке чтут наравне с Боливаром, но здесь — больше, чем Боливара. Здесь он почти святой. Есть день памяти Сан-Мартина, орден Сан-Мартина. Генерал умер во Франции, в Булони, но прах его был перевезен в родную Аргентину.

Поразительно, сколько мы успеваем за один день. Очень выручают дешевые по нашим меркам такси. Я не могу обойтись без Национального музея и правильно делаю! Какое же богатство, какое собрание европейских шедевров. К концу мы с Рене почти падаем от усталости. Это примерно то же, что обойти за раз Третьяковку. Не хватает сил и времени на собственно аргентинскую живопись. И очень жаль — такой прекрасный полупримитивизм попадается, так я это люблю!

Вечером мы встречаемся с Беатрис и втроем гуляем по знаменитому кладбищу Реколета.

Как-то неудобно применять к кладбищу эпитет "роскошное", но другой подобрать трудно. Этот огромный город мертвых еще и архитектурно-скульптурный музей. Черный, белый, серый мрамор; каменные венки, урны, кресты, ангелы, склепы. Целые скульптурные группы, разыгрывающие настоящий спектакль — только без движения. Гигантская немая сцена под открытым небом. У надгробия Эвиты Перон, молоденькой жены президента Перона, рано ушедшей из жизни и оставшейся женщиной-легендой, всегда лежат цветы. Хоть букетик, да есть. Мы самые поздние посетители. За нами увязываются тощие местные кошки и три бродяги. Бродяги то пропадают из виду, то вдруг неожиданно высовываются из-за какого-нибудь ангела в натуральную величину: ку-ку. Это начинает беспокоить Рене. Мы с Беатрис над ним посмеиваемся — брось, Рене, отобьемся! — но он уже нервничает всерьез: легкомысленные женщины, вам-то что, а я за вас отвечаю!

Тоненький, изящный Рене, любящий Чехова, как же ты мучился, пока мы рассматривали надгробья — все это время ты, оказывается, представлял себе голливудскую драку, свою схватку с тремя верзилами!

Вечером я обсыхаю у моих друзей дома.

— Сдай ты обратный билет, — говорят они в один голос. — Оставайся еще на пару недель. Живи тут. Поедем на водопады — не представляешь, какая красота!

— По-моему, мой билет нельзя сдать.

— Нет такого билета, который нельзя сдать, — уверенно говорит Беатрис.

Вот это я хочу запомнить, это мне очень пригодится! Нет такого билета...

Что еще случилось за эти три дня? Случился вечер поэзии. Какой-то невыразительный, не запомнившийся. Зато после случился ночной портье. Он заваривал себе чай поздно ночью под лестницей в нашей гостинице.

— Хотите чаю?

— Да, очень.

— Значит, стихи слушали и не понравилось? — он поправляет очки, подвязанные веревочкой. Высокий, лысоватый, тихий. У него тоже в роду были какие-то русские. Жил с мамой, но ее больше нет. Он достает обтрепанную тетрадку. В ней, карандашом, стихи. И эти стихи мне нравятся. Помню — про вымирающую деревню. Надо же, по всему миру одно то же: уходят старики и гибнут деревни. "Моя деревня, как засохшее дерево. На засохшем дереве никто не живет". Звали его Франсиско.

Потом я летела назад. Вдоль берегов Бразилии, через Атлантику. Думала: вот

бы нашелся спонсор, чтобы Рене мог перевести Чехова. Вспоминала тамошних русских и еще одну аргентинку, поэтессу Луису Футурански, живущую в Париже. Я когда-то познакомилась с ней в Испании.

Вот, Луиса, думала я, теперь чуть-чуть представляю твой Буэнос-Айрес.

Предки Луисы были из-под Кишинева. Они тоже бежали в Аргентину от "pogroms". Когда ее бабушка умирала, она целый час говорила на никому не понятном языке. Они знали, что это русский. Потом она замолчала и сказала уже по-испански: "Большое спасибо, что вы меня выслушали". Это были ее последние слова...

Самолетик на экране тыкается в африканский берег. Ура! Дакар!

Дакар — мы дома!

Le metro de Buenos Aires est très coqeut.

Я хлопаю себя по лбу. Господи, а метро-то, метро! Я же его так и не видела!

Ладно, значит, останется на следующий раз. Вместе с водопадами Игуасу.

2010

Аргентинская литература на страницах "ИЛ"

1960

Туньон Рауль Гонсалес — *Добрый день, сеньора Луна!* Стихотворение. Перевод Савича [1]

Поэты Аргентины. Рауль Гонсалес Туньон. Хосе Педрони. Перевод М. Самаева и М. Кудинова [12]

1967

Варела Альфредо — *Слово борцам!* Отрывок из поэмы. Перевод и вступление Риммы Казаковой [1]

Роблес Виктор Гарсиа — *Строфы надежд.* Стихи. Перевод Юрия Исаева [3]

1970

Кортасар Хулио — *Две новеллы.* Перевод и вступление М. Былинкиной [1]

1971

Варела Альфредо — *Стихи.* Перевод и вступление Риммы Казаковой [3]

1974

Тимосси Хорхе — *Последняя битва президента Альенде.* Перевод и вступление В. Волкова [5]

1976

Техада Гомес Армандо — *Стихи.* Перевод и вступление Сергея Гончаренко [3]

1978

Кортасар Хулио — *Две новеллы.* Перевод М. Былинкиной [9]

1981

Кансани Ариэль Д. — *Стихи.* Перевод и вступление Владимира Резниченко [1]

1982

Кортасар Хулио — *Рассказы.* Перевод А. Борисовой [5]

1984

Борхес Хорхе Луис — *Стихи разных лет.* Перевод Б. Дубина. Вступление И. Тертерян [3]

Костантини Умберто — *О богах, человечках и полицейских.* Роман. Перевод Владимира Максимова [3]

1985

Сориано Освальдо — *На зимних квартирах.* Роман. Перевод Валерия Будылдина [6]

1986

Сориано Освальдо — *Ни горя, ни забвенья.* Роман. Перевод А. Минина. Вступление Маргариты Былинкиной [10]

Из аргентинской поэзии. Ариэль Кансани, Рафаэль Альберто Ариэта, Артуро Капдевила Хосе Гонсалес Карбальо. Перевод Сергея Гончаренко [12]

1988

Сабато Эрнесто — *Туннель.* Повесть. Перевод И. Глущенко. Вступление В. Земскова [6]

Борхес Хорхе Луис — *"Моя жизнь служит литературе".* Из интервью разных лет. Составление и перевод Н. Богомоловой [10]

1990

Борхес Хорхе Луис — *Страшный сон.* Перевод и вступление И. Петровского [3]

Кортасар Хулио — *Страшные сны.* Перевод и вступление И. Петровского [3]

Борхес Хорхе Луис — *Стихи.* Перевод и послесловие Б. Дубина [12]

1992

Борхес Хорхе Луис — *There Are More Things...* Рассказ. Перевод В. Левина [3]

Борхес Хорхе Луис — *Три стихотворения.* Перевод и вступление Бориса Дубина [8—9]

Поссе Абель — *Райские псы.* Роман. Перевод Н. Богомоловой [8—9]

1993

Кортасар Хулио — *Рассказы.* Перевод И. Глущенко [3]

1994

Кортасар Хулио — *Книга Мануэля.* Роман. Перевод Е. Лысенко [3]

1995

Портрет в зеркалах. *Хорхе Луис. Борхес* [1]

Борхес Хорхе Луис — *Из "Книги вымышленных существ".* Перевод с английского Е. Лысенко [6]

1996

Бьой Касарес Адольфо — *Дневник войны со свиньями.* Роман. Перевод Е. Лысенко. Вступление Мих. Рощина [4—5]

Кастильо Абелярдо — *Triste la Ville.* Рассказ. Перевод Э. Брагинской [11]

1998

Борхес Хорхе Луис — *Христос на кресте.* Стихотворение. Перевод Павла Грушко [5]

Борхес Хорхе Луис — *История ангелов.* Перевод В. Кулагиной-Ярцевой [5]

Лосано Хосе Хименес — *Последняя роза. Подслушанное и другие стихи.* Перевод и вступление Павла Грушко [5]

Мартинес Томас Элой — *Святая Эвита.* Роман. Перевод Е. Лысенко [10]

1999

Кортасар Хулио — *Жизнь Эдгара Аллана По.* Перевод Н. Богомоловой [3]

Литературный гид. *Борхес, или История бесконечности* [9]

2001

Литературный гид. *Хулио Кортасар, или Самый великий хронопп* [6]

2002

Борхес Хорхе Луис — *Стихи и миниатюры разных лет.* Перевод и вступление Андрея Щетникова [12]

2003

Поссе Абель — *Пражские тетради.* Роман. Перевод Е. Лысенко [4]

Пуиг Мануэль — *Поцелуй женщины-паука.* Роман. Перевод Антона Ильинского. Борис Дубин *Я как другой: инвенция для двух голосов* [6]

Портрет в зеркалах. *Мануэль Пуиг* [10]

2004

Пуиг Мануэль — *Крашеные губки.* Роман. Перевод А. Казачкова [2]

2005

Поссе Абель — *Страсти по Эвите.* Перевод Н. Беленькой [1—3]

Борхес Хорхе Луис — *Из поздних книг и посмертных изданий.* Перевод Бориса Дубина. Борис Дубин *Пространство под знаком лабиринта* [10]

2007

Паулс Алан — *Меньше нуля.* Перевод Бориса Дубина [7]

2008

Хуаррос Роберто — *Стихи.* Перевод и вступление Эсмиры Серовой [4]

2009

Кортасар Хулио — *"Поговорим-ка о Евгении Гранде".* Письма издателю и другу Франсиско Порруа. Перевод с испанского, вступление и примечания Эллы Брагинской [8]

Мануэль Пуиг
Manuel Puig
[1932–1990]. Аргентинский прозаик, драматург и киносценарист.

Автор романов *Предательство Риты Хейворт* [*La traición de Rita Hayworth*, 1968; рус. перев. 1991], *Любовь в Буэнос-Айресе* [*The Buenos Aires Affair*, 1973; рус. перев. 1993], *Ангельский пол* [*Pubis angelical*, 1979], *Будь проклят навеки тот, кто прочтет эти страницы* [*Maldición eterna a quien lea estas páginas*, 1980] и др., а также нескольких пьес, сценариев, статей о литературе и кино. В *ИЛ* опубликованы его романы *Поцелуй женщины-паука* [2003, № 6] и *Крашеные губки* [2004, № 2].
Роман печатается по изданию *Cae la noche tropical* [Barcelona: Editorial Seix Barral, 1993].

Леополдо Брисуэла
Leopoldo Brisuela
[р. 1963]. Прозаик, поэт, журналист. Лауреат премий *Фортабат* [1985], первой премии *Эделап дэ куэнто* [1996], *Кларин дэ новела* [1999] и *Конекс Диплома аль Мерито* [2004].

Автор романов *Ткань на воде* [Tejiendo agua, 1985], *Англия. Легенда* [*Inglaterra. Una fábula*, 1999], *Лиссабон. Мелодрама* [*Lisboa. Un melodrama*, 2010], сборника стихов *Волшебник* [*Fado*, 1995], книги *Как написать рассказ* [*Coto se escribe un cuento*, 1992], сборника рассказов *Мы, уходящие дальше всех* [*Los que llegamos más lejos*, 2002] и др.
Текст публикуется по изданию *El placer de la cautiva* [Buenos Aires: Temas Grupo Editorial, 2000].

Андрес Ривера [настоящее имя **Маркос Рыбак**]
Andrés Rivera [Marcos Rybak]
[р. 1928]. Прозаик, журналист. Лауреат Национальной премии по литературе [1992], премии *Конекс Диплома аль Мерито* [2004] и др.

Автор романов *Те, кто не умирают* [*Los que no mueren*, 1959], *Нечего терять* [*Nada que perder*, 1982], *Этот вечный сон – революция* [*La revolución es un sueño eterno*, 1987], *Рабыня* [*La sierva*, 1992], *Земля изгнания* [*Tierra de exilio*, 2000] и др., сборников рассказов *Субботнее солнце* [*Sol de sábado*, 1962], *Встреча* [*Cita*, 1965], *Воспитание убийц* [*Cría de asesinos*, 2004] и др.
Перевод рассказов *Campo en silencio* и *Willy* выполнен по изданию *Mitteleuropa* [Buenos Aires: Alfaguara, 1993].

Густаво Ньельсен
Gustavo Nielsen
[р. 1962]. Писатель, архитектор. Обладатель первой премии литературного конкурса в Буэнос-Айресе [1993], второй премии Национального фонда искусств [2003] и др. Как архитектор получил

Автор романов *Цветок ацтеков* [*La flor azteca*, 1997], *Любовная болезнь* [*El amor enfermo*, 2000], *Аушвиц* [*Auschwitz*, 2004], *Сердце Доли* [*El corazón de Doli*, 2010], сборников рассказов *Выжженный пляж* [*Playa quemada*, 1994], *Слепая вера* [La fe ciega, 2009] и др.
Рассказ взят из одноименного сборника *Марвин* [*Marvin*. Alfaguara, 2003].

первую премию в Международном конкурсе за проект монумента жертвам Холокоста [2009].

Андрес Неуман
Andrés Neuman
[р. 1977]. Поэт, прозаик, журналист. Лауреат премий имени Антонио Карвахаля [1998], имени Гарсиа Лорки [1999], издательства Гиперион [2002] и др.

Автор романов *Барилоче* [*Bariloche*, 1999], *Жизнь в окне* [*La vida en las ventanas*, 2002], *Путешественник века* [*El viajero del siglo*, 2009], сборников рассказов *Тот, кто ждет* [*El que espera*, 2000], *Последний миг* [*El último minuto*, 2001], поэтических книг *Правила ночи* [*Métodos de la noche*, 1998], *Тобогган* [*El tobogán*, 2002], *Песнь антилопы* [*La canción del antilope*, 2003], *Вглубь мистики* [*Mística abajo*, 2008] и др.
Публикуемые тексты *Justino*, *Dodecálogo de un cuentista* и *Nuevo dodecálogo de un cuentista* взяты из сборника рассказов *Свечение* [*Alumbramiento*. Barcelona: Páginas de Espuma, 2006].

Хуан Хельман
Juan Gelman
[р. 1930]. Поэт, журналист. Лауреат Национальной премии Аргентины [1997], премий имени Хуана Рульфо [Мексика, 2000], Пабло Неруды [Чили, 2005], королевы Софии [Испания, 2005], Сервантеса [Испания, 2007].

Автор нескольких десятков книг, в том числе *Скрипка и прочие разности* [*Violín y otras cuestiones*, 1956], *То, во что мы играем* [*El juego en que andamos*, 1959], *Одинокие бдения* [*Velorio del solo*, 1961], *Комментарии* [*Comentarios*, 1978], *Свидания* [*Citas*, 1980], *Под чужими дождями* [*Bajo la lluvia ajena*, 1980], *Письмо к матери* [*Carta a mi madre*, 1989], *Распахнутая тьма* [*La abierta oscuridad*, 1993], *Я должен сказать: "Люблю"* [*Debí decir te amo*, 1997] и др.
Стихи взяты из разных сборников.

Антонио Порчиа
Antonio Porchia
[1885–1968]. Поэт.

Автор единственной книги афоризмов *Голоса* [*Voces*, 1943], переведенной на основные европейские языки.
Текст публикуется по изданию *Voces* [Editorial I.N.A.M., 1999].

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик, культуролог, социолог, преподаватель социологии культуры в Институте европейских культур РГГУ, руководитель отдела социально-политических исследований Аналитического центра Юрия Левады.

Автор книг *Слово – письмо – литература* [2001], *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004], *На полях письма* [2005], многих статей по социологии культуры. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1; 2003, № 10; 2004, № 12].
В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], миниатюры Х. Л. Борхеса [2005, №10], эссе Ч. Милоша [1992, № 8], Э. М. Чорана [1996, № 4], С. Сонтаг [1996, № 4], И. Бонфуа [1996, № 7], Ф. Лежёна [2000, № 4], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9; 2005, № 12] и др.

Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], имени Анатоля Леруа-Больё [1996], имени Мориса Вакс-махера [1998], премии Андрея Белого за гуманитарные исследования [2005], Международной премии имени Ефима Эткинда [2006], кавалер национального ордена Франции *За заслуги* [2009].

Хулио Кортасар
Julio Cortázar
[1914–1984]. Аргентинский прозаик, поэт, эссеист, переводчик. Лауреат премии Кеннеди [Аргентина], премии Медичи среди зарубежных писателей [Франция], кавалер *Золотого Орла* на фестивале в Ницце, кавалер ордена Независимости культуры Рубена Дарио [Никарагуа], кавалер ордена Марка Твена.

Автор романов *Экзамен* [*El examen*, 1950], *Счастливчики* [*Los premios*, 1960], *Игра в классики* [*Rayuela*, 1963], *62. Модель для сборки* [*62, modelo para armar*, 1968] и др., сборников рассказов *Бестиарий* [*Bestiario*, 1951], *Конец игры* [*Final de Juego*, 1956], *Том, кто здесь бродит* [*Alguien anda por ahí*, 1977], *Мы так любим Гленду* [*Queremos tanto a Glenda*, 1980] и др. Многие произведения Х. Кортасара переводились на русский язык. В *ИЛ* напечатан литературный гид *Хулио Кортасар, или Самый великий хронопт* [2001, № 6], его рассказы [1970, № 1; 1978, № 9; 1982, № 5; 1993, № 3], роман *Книга Мануэля* [1994, № 3], эссе *Жизнь Эдгара Аллана По* [1999, № 3], письма издателю и другу Франсиско Порруа [2009, № 8].
Перевод рассказов *Manuscrito hallado junto a una mano*; *Ciao, Verona*; *Un cronopio en México* и эссе *El favor del bilingüismo*; *Ventanas a lo insólito* выполнен по книге *Найденные рукописи* [*Papeles inesperados*. Madrid: Alfaguara, 2009].

Беатрис Сарло
Beatriz Sarlo
Критик и аналитик культуры, социолог литературы и массовых коммуникаций, исследователь особенностей латиноамериканской модернизации, главный редактор авторитетного культурологического журнала *Пунто де Виста* [1978–2008]. Лауреат премий издательства Каса де лас Америкас в номинации *Эссе* [2000], имени Хосе Доносо [2000], *Платиновый Конекс* за эссеистику [2004] и др.

Автор книг *Империя чувств. Проза в аргентинской периодике, 1917–1927* [*El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulación periódica en la Argentina, 1917–1927*, 1985], *Мартин Фьерро и его критики* [*Martín Fierro y su crítica*, 1994], *Борхес, писатель на краю* [*Borges, un escritor en las orillas*, 1995], *Семь эссе о Вальтере Беньямине* [*Siete ensayos sobre Walter Benjamin*, 2000], *Борьба идей, 1943–1973* [*La Batalla de las ideas, 1943–1973*, 2001], *Прошлое. Культура памяти и перипетии субъективности* [*Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo*, 2005], *Об аргентинской словесности* [*Escritos sobre literatura argentina*, 2007] и др.
Эссе *La Buenos Aires secreta* взято из книги *Город как зрелище. Рынок и городская культура* [*La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana*. Buenos Aires: Siglo veintiuno, 2009], эссе *El centro comercial* — из газеты *La Jornada Semanal* [México, 22 de marzo de 1998].

Мигель Витаглиано Miguel Vitagliano [р. 1961]. Прозаик, профессор теории литературы в Университете Буэнос-Айреса. Лауреат Главной премии Института Гёте в Буэнос-Айресе [1993], премии имени Анны Зегерс [1996].

Автор романов *Такие глаза* [*Los ojos así*, 1996], *Свободное небо* [*Cielo suelto*, 1998], *Триумфальный полет* [*Vuelo triunfal*, 2003], *Воспитание чувств* [*La educación de los sentidos*, 2006], *Другой я* [*El otro de mí*, 2010] и др., нескольких сборников критических статей и эссе.
Публикуемый текст написан специально для этого номера.

Наталья Юрьевна Ванханен Поэт, переводчик с испанского. Лауреат премии *Иноллитл* [2000].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Переводчики

Александр Израилевич Казачков [р. 1954]. Переводчик с испанского.

В его переводах выходили произведения М. Пуига, Х. Л. Борхеса и Б. Касареса. В *ИЛ* опубликован его перевод романа М. Пуига *Крашеные губки* [2004, № 2], книги А. Монтерросо *Черная Овца и другие басни* [2007, № 7] и фрагментов книги Х. Бенета *Тринадцать басен с половиной и басня четырнадцатая* [2009, № 12].

Надежда Марковна Беленькая Переводчик с испанского и каталанского языков.

В ее переводе опубликованы романы Ж. Марсе *Двуликий любовник*, А. Переса-Реверте *Учитель фехтования* и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны эссе и рассказы Х. Кортасара [2001, № 6], рассказы М. Родореда [2002, № 3], книга А. Поссе *Страсти по Эвите* [2005, № 1—3].

Татьяна Александровна Ильинская Переводчик с испанского.

В ее переводе выходили *Письма отшельника* Густаво Адольфо Беккера, философская проза Мигеля де Унамуно. В *ИЛ* опубликован ее перевод главы из книги О. Паса *Сыны праха* [2003, № 5].

Павел Моисеевич Грушко [р. 1931]. Поэт, драматург, эссеист, переводчик с испанского, каталанского и английского языков.

В его переводе издавались произведения Л. де Гонгора-и-Арготе, Л. де Веги Карпио, Х. Р. Хименеса, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки, Р. Альберти, Х. Марти, Х. Лесамы Лимы, Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара, Дилана Томаса, У. Х. Одена, Р. Уилбера, Р. Пенна Уоррена и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Людмила Петровна Синянская
Литературовед, переводчик с испанского. Член Союза писателей Москвы. Живет в Испании.

В ее переводе выходили произведения А. Карпентьера, П. Неруды, Г. Гарсиа Маркеса, М. Варгаса Льосы, М. Отеро Сильвы, Х. К. Онетти, Х. Л. Борхеса, М. В. Монтальбана, К. Рохаса, Л. Сильвы, А. Буеро Вальехо и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премий *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург, 1996], имени А. М. Зверева [2007] и *Иноллитл* [2008].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Э. Энрайт, М. Фигераса и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Делилло *Мао II* [2003, № 11—12] и *Падающий* [2010, № 4], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7] и Д. Эггерса [2007, № 12], эссе Т. Пинчона [1996, № 3], путевых очерков П. Теру [2007, № 12] и Л. Даррелла [2007, № 12], автобиографических заметок М. Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4], *Писем из путешествий* Р. Киплинга [2008, № 11] и др.

Юлия Анатольевна Ларикова
Лингвист, преподаватель испанского языка МГИМО, журналист.

Автор статей *Концепт "город" в литературе: лингвокультурологический аспект* [2009], *Несколько слов о русском аргентинском языке* [2010] и др.
В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины аргентинского художника Мигеля Д'Арьенцо *Салон Мариано Акоста* [1993].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко.
Дмитрий Черноглев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова.
Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10/7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.10.2010
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 1333.
Тираж 8000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

**Work published within the framework of "Sur"
Translation Support Program
of the Ministry of Foreign Affairs,
International Trade Worship
of the Argentine Republic.**

Роман Мануэля Пуига "Падает тропическая ночь"
издан в рамках программы поддержки переводов "Sur",
осуществляемой Министерством иностранных дел и
Центром международной торговли
Аргентинской республики.

---

[11] 2010

"МОЙ ЯЗЫК - ЭТО МОЯ РОДИНА": РОМАН ЖУАНА ПОНСА "БАРБАРОССА" / РАССКАЗЫ КИМА МУНЗО, АЛЬБЕРТА САНЧЕСА ПИНЬОЛЯ И ДР. / СТИХИ КАТАЛОНСКИХ ПОЭТОВ / "МОЯ СТРАНА" ЖУЗЕПА ПЛА, "ПОТАЕННАЯ СТОЛИЦА МОДЕРНА. БАРСЕЛОНА - МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ" АЛЕКСЕЯ МОКРОУСОВА И ДР. В РУБРИКЕ "СТАТЬИ, ЭССЕ"

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2010, №10, 1-288

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 10010
9 770130 654770